РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт лингвистических исследований

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Institute for Linguistic Studies

ACTA
LINGUISTICA
PETROPOLITANA

TRANSACTIONS
OF THE INSTITUTE FOR LINGUISTIC STUDIES

Vol. 21, part 2

Editor-in-chief Evgeny V. Golovko

2025

ACTA LINGUISTICA PETROPOLITANA

ТРУДЫ
ИНСТИТУТА ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Том 21, часть 2

Главный редактор Е. В. Головко

2025

УДК 81
ББК 81.2
А38

Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований. 2025. — Т. 21. Ч. 2. — 296 с.

Acta Linguistica Petropolitana. Transactions of the Institute for Linguistic Studies. 2025. — Vol. 21. Pt. 2. — 296 p.

Материалы выпуска доступны в электронном виде по ссылке:
https://alp.iling.spb.ru/ru/issues.html

Адрес журнала: 199004, Санкт-Петербург, Тучков пер., д. 9,
Институт лингвистических исследований РАН,
редакция журнала «Acta Linguistica Petropolitana.
Труды Института лингвистических исследований»

Телефон: + 7 812 328-16-11

E-mail: acta_linguistica@iling.spb.ru

Сайт: https://alp.iling.spb.ru/

Свидетельство Роскомнадзора ПИ № ФС 77-60965 от 05.03.2015

ISSN 2306-5737
DOI 10.30842/alp23065737212

Содержание

Contents

Acta Linguistica Petropolitana. 2025. Vol. 21.2. P. 9–31
DOI: 10.30842/alp23065737212931

Геминация (тройной контактный повтор) местоимения «Я» по данным НКРЯ

Е. В. Маркасова
Пекинский университет (Пекин, Китай);
markasovaelena@yandex.ru;
ORCID: 0000-0002-9231-1476

О. А. Митрофанова
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Россия);
o.mitrofanova@spbu.ru; ORCID: 0000-0002-3008-5514

Аннотация. Статья посвящена описанию тройного контактного повтора местоимения *Я* в русском языке по корпусным данным. Фигуративное использование местоимения *Я* становится возможным вследствие синхронной активизации в русском языке *Я*-конструкций и конструкций тройного повтора. Цель работы — описать функции конструкции «*я, я, я*» в разных речевых ситуациях, требующих от говорящего фиксации внимания на собственной идентичности, «самости». Тройной повтор местоимения *Я* может служить для описания погруженности в психологические состояния, различающиеся режимами «*Я*-для-себя» (размышления о своей идентичности, медитация) и «*Я*-для-других».

Ключевые слова: троекратный повтор, геминация, грамматика конструкций, корпусные методы, фигура речи, самопрезентация.

Gemination (triple repetition) of the pronoun «I» in the Russian National Corpus

Elena V. Markasova
Peking University (Beijing, China); markasovaelena@yandex.ru;
ORCID: 0000-0002-9231-1476

Olga A. Mitrofanova
St. Petersburg State University (St. Petersburg, Russia); o.mitrofanova@spbu.ru;
ORCID: 0000-0002-3008-5514

Abstract. Formation of the "personality" concept in the first third of the 19th century gave rise to the new grammatical ways of self-presentation in the Russian language. The article is devoted to corpus-driven description of Russian pronominal geminations with the pronoun *I* treated as triple contact repetitions. The figurative use of the Russian pronoun *I* becomes possible due to simultaneous activation of *I*-constructions and geminations. The purpose of the study is to describe the functions of *I, I, I* constructions in various speech situations that cause the speaker to focus on his own identity, «self». The triple repetition of the pronoun *I* in a written text can serve to convey an imitation of the reported speech, hesitation of a different nature (depending on the reason for blocking the ability to speak), a description of immersion in psychological states that differ in the modes of *I-for-myself* (reflections on one's identity, meditation) and *I-for-others*. The experiments are performed on the dataset which includes 247 contexts of *I*-geminations in the Russian National Corpus (RNC). The research procedure comprises several stages, namely, frequency evaluation of *I*-geminations in RNC, as well as linguistic analysis of the germination functions in the main and poetic corpora. According to RNC evidence, the chronological framework of the study embraces the period from 1836 to 2021. We considered only the functions of *I*-geminations used in the nominative case, since the data size of contexts with geminations in the oblique cases is insufficient for empirical verification of our hypotheses. The quantitative analysis proves that the use of *I*-geminations is not accidental. Unlike verb and noun phrases, gemination, by virtue of its partial affiliation, cannot serve to describe monotonous actions or large-scale objects and phenomena. Self-geminations (with the exception of imitative ones) describe a person getting stuck in certain states and searching for himself, rather than focusing on external objects. It is impossible to talk about the influence of meter and rhythm on the perception of gemination, since the number of poetic examples is negligible.

Keywords: triple repetition, gemination, construction grammar, corpus-driven techniques, figure of speech, self-presentation.

1. Введение: терминология, методология, материал

Термин «геминация» используется в работах по фонетике и словообразованию для обозначения удвоения согласных, но в исследованиях по риторике и стилистике может обозначать и двойной, и тройной контактный повтор. Противоречащая этимологии (лат. *gemino* ‘удваиваю’) трактовка лингвистического термина «геминация» как *троекратного* контактного повтора слов, словосочетаний, предложений [Хазагеров, Ширина 1994: 289; Москвин 2007: 188; Свиридов 2012; Копнина 2014] распространилась в русистике в XXI в. Вторую жизнь этот термин обрел вследствие роста употребления тройных повторов в поэзии и прозе конца XX — начала XXI вв., поскольку терминологические системы зависимы от появления новых объектов и возможности наблюдения за ними [Маркасова, Митрофанова 2024: 42].

Наше исследование не связано с существующими школами изучения риторических фигур, в основе работы лежит синтез традиционной риторики и терминологии с современными количественными методами, корпусным подходом, дискурсивным анализом, лингвистикой конструкций.

Анализ данных НКРЯ показал, что «геминации относятся к эмфатическим конструкциям, они в основном используются как для выделения отдельных аспектов ситуаций, описываемых в текстах, так и для усиления эмоционально-оценочных компонентов значений троекратно повторяющихся слов. Это позволяет предположить, что слова, тяготеющие к использованию в геминациях, имеют явный или скрытый субъективно-модальный компонент в значении, который и формирует семантику геминации как особой лексико-грамматической конструкции» [Маркасова, Митрофанова 2024: 49].

Эта риторическая фигура может передавать ощущение масштабности, длительности, монотонности процессов, служить для описания фиксации внимания на чем-либо, погруженности в определенное состояние (душевный подъем или эмоциональный спад). Принято различать геминации лирически-медитативного («*Все нас из дому гонят дела, дела, дела...*» Б. Окуджавы) и патетического плана («*Вставайте! Вставайте! Вставайте!*» В. Маяковского) [Свиридов 2012]. Эффект обусловлен и семантикой повторяющихся элементов, и ритмом, и метром.

Геминация, будучи общеязыковым явлением, зарегистрированным во всех подкорпусах НКРЯ, в текстах разных стилей, совмещает в себе признаки как парадигматических, так и синтагматических отношений. В нашем исследовании применен конструкционный подход к анализу геминаций, предполагающий взаимообусловленность лексического значения слова и его сочетаемостных свойств, что обосновывается общностью семантических признаков ядра конструкции и контекста [Апресян 1995]. Геминации — разновидность микросинтаксических, а конкретнее, характеризующихся нестандартной сочетаемостью в синтагматической цепочке сочинительных конструкций с лексически тождественными частями [Иомдин 2006]. Корпусно-ориентированный анализ геминаций опирается на предположение о неслучайности сочетаемости и выбора лексем в конструкциях [Stefanowitsch, Gries 2003]. В работе используется не только частотный анализ, но и оценка коэффициента геминантности *G*, который позволяет определить значимость троекратных повторов на уровне корпуса и рассчитывается по формуле:

$$G = n / N,$$

где *n* — общее число геминаций в корпусе, *N* — объем корпуса в словоупотреблениях.

По данным исследования [Маркасова, Митрофанова 2024], самые высокие значения коэффициентов геминантности, рассчитанных без учета частеречной принадлежности целевых слов, отдельно для знаменательных и для служебных слов, наблюдаются в поэтических текстах. По представленности геминаций за поэтическими корпусами следуют корпусы устной речи и прозаических текстов.

Рост частотности геминаций в поэзии конца XX в. — начала XXI в. сопровождается снижением лексического разнообразия элементов этой конструкции [Маркасова, Митрофанова 2024]. В XXI в. происходит изменение частеречного наполнения геминации: на фоне общего роста их номинативности увеличивается количество местоименных геминаций.

Продолжая исследование частеречного наполнения геминации в русском языке, мы описываем троекратный контактный повтор местоимения *Я*. Обращение к такой узкой теме обусловлено не только

тем фактом, что местоимение *Я* является центром коммуникации и точкой отсчета для всей системы личных местоимений, но и ростом «Я-конструкций» в русском языке XX–XXI вв. [Маркасова 2024; Ли Юэчуань, Маркасова 2025]. Мы предполагаем, что фигуративное использование местоимения *Я* отвечает общей тенденции активизации этого типа конструкций. Цель нашей работы — выяснить, сохраняются ли функции геминации, характерные для знаменательных частей речи, если структурообразующим элементом является местоимение *Я*, которое «не обозначает никакой лексической сущности» [Бенвенист 1974: 295].

Как и в предыдущей работе, мы используем термины «геминация», «тройной повтор», «троекратный повтор» как синонимы и говорим лишь о контактных повторах типа *слова, слова, слова*, выбранных из Национального корпуса русского языка (НКРЯ, URL: http://ruscorpora.ru). Любые виды двойного повтора и случаи дистантного тройного повтора не учитываются. Вопрос о тройном «песенном» повторе и примеры с *Я* — существительным (типа *его убогое Я*) мы не рассматриваем.

Исследовательская процедура включает в себя два этапа, что отражено в структуре статьи. В *Разделе 2* дается общая характеристика употребления местоимения *Я* в НКРЯ, приводятся количественные данные и частотность, оценивается значение коэффициента геминантности, *Раздел 3* посвящен описанию разновидностей *Я*-геминаций.

2. Состав *Я*-геминаций по данным НКРЯ

2.1. Общие количественные данные

По данным НКРЯ, хронологические рамки бытования конструкции — период с 1836 по 2021 гг. В качестве материала исследования рассматривается выборка объемом 247 контекстов с троекратными повторами местоимения *Я* (241 контекст из основного корпуса и 6 контекстов из поэтического корпуса НКРЯ). Полная выдача НКРЯ по запросу была отфильтрована экспертным путем с тем, чтобы отобрать контексты, удовлетворяющие критериям геминации как контактного тройного повтора. Мы рассматривали только функции тройного

повтора *Я* в именительном падеже, поскольку примеры с косвенными падежами единичны и потому не могут быть систематизированы. Варианты пунктуационного оформления геминации в именительном падеже разнообразны, но сводятся к двум типам: 1) повторяющиеся (*Я! Я! Я! // Я!!! Я!!! Я!!! // я, я, я! // Я. Я. Я. // Я... я... я... // Я?! Я?! Я?!! // Я? Я? Я? // Я-я-я?..)* и 2) не повторяющиеся знаки препинания (*Я, я... я... // Я. Я? Я...*).

В первом случае это показатель роста или падения интенсивности переживаний, во втором случае — признак возможной смены самовосприятия. Если геминация оформлена с помощью разных знаков препинания, она может передавать смену отношения говорящего к факту, событию, действию. Рассмотрим *Я*-геминацию в (1).

(1) *Вот, не хочет ли кто из господ съездить со мной в их лагерь. У меня мундиры с собою. —* ***Я, я... я*** *поеду с вами! — вскрикнул Петя.* [Л. Н. Толстой. Война и мир. Т. IV. (1867–1869)]

Реакция Пети (*Я, я... я*) на предложение съездить в лагерь может быть понята по-разному (*Я, я* — поспешная реакция, быстрое согласие, сомнение, — и снова *Я* — окончательное решение).

Сохранены в выборке амбивалентные случаи типа (2) и (3):

(2) «*Но я-то — это вы. Это все, кого я вижу каждый день на улице, все, кто спит сейчас в моем доме и во всех домах напротив, — все это* ***я***, ***я***, ***я***. *И вы хорошо знаете, что это я. Расширенный эгоцентризм*», — сказала женщина-врач. [Рид Грачев. ...Расхождение происходило во времени... (1960–1969)]

Возможные интерпретации: 1) тот факт, что я вижу этих людей, означает, что в каждом из них отражение моего *Я*, 2) это много личностей, и у каждого свое *Я*. Принять однозначное решение тут нельзя.

(3) ***Я-я-я-я!*** *— радостно завопила Наталья Анатольевна, размахивая гипсом.* [К. Л. Селиверстов. 12 с половиной, или Моя жизнь в чистом искусстве // «Волга», 2011]

Возможные интерпретации таковы: это передача крика [Ja-a-a-a] либо четырехкратный повтор *Я*, который в звучащей речи может давать разные группировки элементов: «*Я — яяя*», «*Я-я, я-я*» и др.

Из выборки были исключены случаи типа «*Из разных углов послышались голоса: Я! Я! Я!*». Создается картина: множество людей чувствуют единый порыв, этот порыв показан масштабно, хочется присоединиться и тоже крикнуть *Я*. Однако это *Я* имеет разные референты, то есть это не геминация в риторическом смысле, хотя формально это тройной контактный повтор одного и того же слова, служащий для обозначения множества однотипных объектов.

Мы провели шкалирование периода с 1836 по 2021 гг. и разбили его на промежутки продолжительностью в десять лет.

2.2. Оценка частотности местоимения *Я* в НКРЯ

Объем контекстов употребления местоимения *Я* в рассматриваемый период составляет 5 276 691 словоупотребление. Резкий скачок числа употреблений местоимения *Я* приходится на 2000-е гг., также наблюдается умеренное повышение в виде плато в 1920-е...1930-е и в 1960-е...1980-е гг., см. *Рис. 1*. На данном этапе исследования мы можем говорить о корреляции наших данных с данными, описанными в статье [Маркасова 2024], где цикличность конструкции

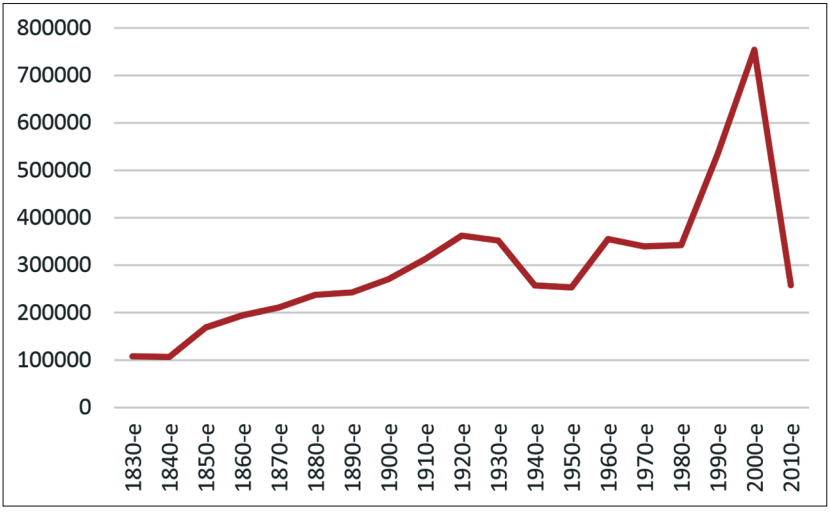

Рис. 1. Частотность местоимения *Я* в НКРЯ

Fig. 1. The frequency of the personal pronoun *I* in the Russian National Corpus

«*Я* + адъективный предикат» как средства самопрезентации в русском языке XIX–XX вв. рассмотрена на фоне исторических событий. Потребность в обращении к своему *Я*, к автохарактеристике усиливается в периоды реформ и сокращается в периоды социальных потрясений (войн и революций). Однако проверка этой гипотезы не входит в задачи данной статьи.

Были выделены контексты с троекратными повторами местоимения *Я*, их общее количество — 247. На *Рис. 2* показаны изменения в частотности употребления геминаций с *Я*: локальные максимумы приходятся на 1860-е (12 контекстов), 1900-е, 1920-е, 1950-е и 1990-е гг. (23...25 контекстов).

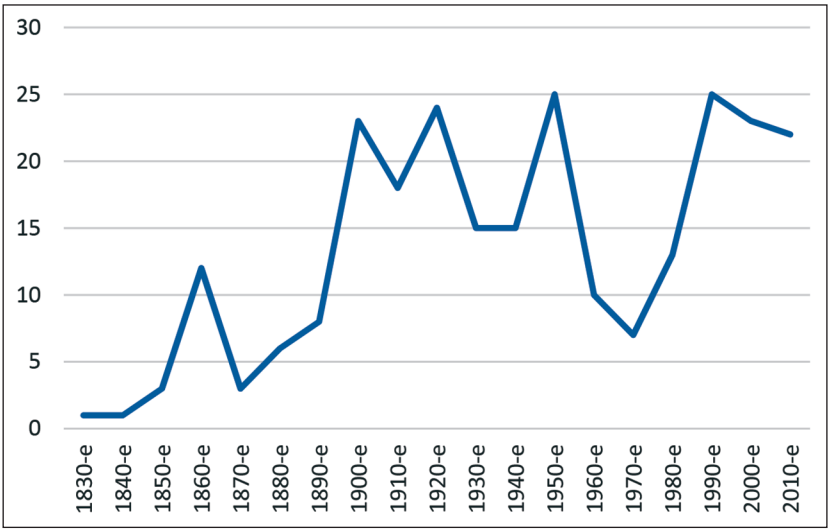

Рис. 2. Частотность геминаций с местоимением *Я*

Fig. 2. The frequency of geminations with the pronoun *I*

Расчет коэффициента геминантности *G* по формуле $G = n / N$ показал, что диапазон значений *G* составляет $0{,}92 * 10^{5}$ ...$9{,}88 * 10^{-5}$. Коэффициент геминантности имеет локальные максимумы в 1900-е, 1920-е, 1950-е, 1990-е гг., совпадающие с ростом частотности употребления местоимения *Я* как в конструкциях с геминациями, так и вне их. При этом наблюдаются пики в 1860-е и 2010-е гг., см. *Рис. 3*.

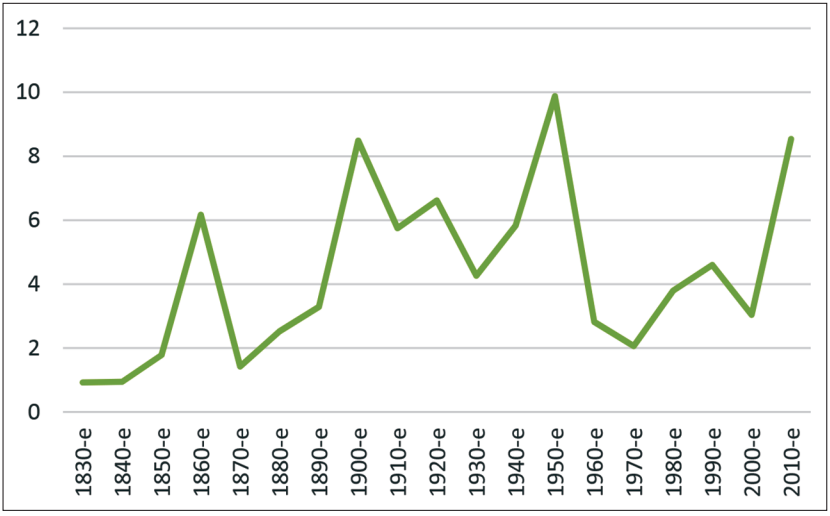

Рис. 3. Изменения значений коэффициента геминантности со временем ($y \cdot 10^{-5}$)

Fig. 3. The changes in the values of germination coefficient in time ($y \cdot 10^{-5}$)

Статистически неслучайный характер употребления геминаций с личным местоимением *Я* подтверждается изменениями значений коэффициента геминантности.

3. Анализ типов *Я*-геминации на основе полученных данных

Концентрация внимания человека на собственном поступке или действии может сопровождаться как положительными (гордость, повышение самооценки), так и отрицательными переживаниями (стыд, разочарование, понижение самооценки). *Я*-геминация может рассматриваться как средство передачи значимости события для говорящего (*именно я* это делал-делаю-сделал-сделаю), как в (4), (5), (6), (7).

(4) ⟨...⟩ *И захотелось заорать во все горло: «Я — самый выдающийся шпион XX века!.. Только благодаря мне на четыре года затянулась разработка нового бомбардировщика! Только* ***я, я, я*** *— смог добыть стенограммы совещаний в Ленгли!..»* [А. Азольский. Монахи // «Новый Мир», 2000]

(5) *Твой глупый лоб меня не надует! Он не может надуть, он не может и стать под пулю, его и повесить не могут. Свою жену за предательство караю* ***я, я, я****! Карл! — услышал я дикий вопль.* [Юр. Юркун. Рассказы, написанные на Кирочной ул., в доме под № 48 / Маленькая барышня (1916)]

(6) «*Убит, убит, — думала она, ломая руки. И убила его* ***я, я, я****!..» Пока еще нет, — раздался над ней тихий голос.* [Ф. Е. Зарин-Несвицкий. Борьба у престола (1913)]

(7) *По всей неразберихе пройдусь — и будет разбериха. Как смерч пройду —* ***я, я, я****! Смету всех, кто не хочет, чтоб время шло назад!* [В. Ф. Панова. Который час? Сон в зимнюю ночь (1941–1963)]

Соотнесение этих типов с временем, жанром и тематикой возможно при расширении языкового материала, но в силу слабой распространенности *Я*-геминации в письменных текстах увеличить количество примеров невозможно.

Троекратный контактный повтор местоимения *Я* используется в художественной литературе (185 примеров в жанрах очерка, повести, пьесы, рассказа, романа, сказки, сценария) чаще, чем в нехудожественной (62 примера в мемуарах, дневниках, письмах). Это естественно, поскольку, как будет показано в *Разделах 3.1–3.5*, тройной повтор *Я* может передать разнообразные чувства и состояния (радость, злость, возмущение, смятение, смущение, опустошенность и проч.), что важно для речевой характеристики литературных героев.

Геминации с местоимением *Я* можно сгруппировать по ситуативной привязке. Во-первых, это имитативная геминация (местоимение *Я* не обозначает говорящего, а имитирует чужую речь) (*Раздел 3.1*). Во-вторых, хезитативная (в ситуации затрудненности или невозможности эксплицирования своей позиции) и «угрозативная», связанная с ситуациями конфликта или конфликтогенного доминирования *Я*. Хезитативную и «угрозативную» геминации сближает обусловленность блокировкой способности говорящего выразить интенцию (см. *Раздел 3.2*). В-третьих, идентификационная геминация (*Раздел 3.3*).

3.1. Имитация

Имитация используется как прием для выражения оценки коммуникативного неравенства участников общения и описывается учеными вместе с лексическими ксенопоказателями как один из маркеров враждебного отношения к адресату [Ширина 1990; Левонтина 2020].

При имитировании (передразнивании, субъективном мимесисе) чужого эгоцентричного поведения или чужой отрицательно оцениваемой манеры говорения функция геминации — изобразительная. Имитативная геминация отражает негативное отношение к такой форме речевой агрессии, как демонстрация личного доминирования, «захват» права говорить. Неслучайно слово *якать* в значении «много и неуместно говорить о себе» и производные от него *якальщик, якалка, якало, якала* имеют отрицательную коннотацию [Маркасова 2009].

Я в примерах (8)–(10) не имеет значения «Я-говорящий», это передразнивание манеры говорения другого лица, что подтверждается специфическими характеристиками речевого действия (*грубо, озлобленно говорил, раскудахтались, разговор сводился к...*).

(8) *В нем жило неподвижное, темное раздражение на всех, он всегда как-то убийственно тяжело ставил себя в центре всего и грубо, озлобленно говорил —* ***я, я, я***! [Максим Горький. Мать (1906)]

(9) *Да что вы раскудахтались:* ***я, я, я****!* [Ирина Муравьева. Ляля, Наташа, Тома (1991)]

(10) *Весь его разговор сводился к «****я... я... я...****» Замечательное меднолобое самообожание! А в юности мы были друзьями.* [К. И. Чуковский. Дневник (1958)]

Тройной повтор гиперболизирует способность собеседника постоянно говорить о себе, поэтому и происходит замена дистантного повтора *Я*, свойственного реальному общению, контактным повтором, маркирующим раздраженность имитатора чужим эгоцентризмом. Возможно и приписывание этого качества другому, ложное обвинение в якании, как в примере (11):

(11) *— Что ж ты не занимаешься своим делом? — спросил его отец. — Я приготовил уроки. — Что ж, уроки только? — Я... —* ***Я, я, я****!*

Затвердил одно!.. Экие упрямые у меня уродились, прости господи!.. [Н. Г. Помяловский. Молотов (1861)]

К имитативным относятся и случаи типа (12), когда «*я, я, я*» — средство выражения театрализованного (ложного) согласия в ответ на ложное обвинение.

(12) *Все нераскрытые паскудства, что накопились за лето в нашем районе, он все их на меня списал. Где какой пьяный ни начудил, все это я сделал. И все не просто, а с целью агитации. И флаг я сдернул, и рога какому-то там пририсовал, и витрину ударников разбил, все* ***я, я, я****!* [Ю. О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 3 (1978)]

3.2. Хезитация

Хезитация может быть обусловлена множеством внутренних (психологических или физиологических) и внешних (ситуативных, коммуникативных) причин, из-за которых человеку трудно найти подходящие слова, страшно, тяжело поверить во что-то, представить что-либо, стыдно или больно признаться в чем-то и др. [Яковлева 2016].

Хотя в современной лингвистике термины умолчание и апосиопеза иногда используются как синонимы, мы различаем манипулятивный прием умолчания (утаивание информации или неполнота ее подачи) и апосиопезу как риторическую фигуру, служащую для образной передачи эмоционального или физического состояния, при котором блокируется способность говорить (13).

(13) *Я... задыхаюсь...* ***Я... я... я****... не могу дышать.... О, Торнлей! наконецъ... оставляю я эту... землю...* [Ч. Роукрофт. Разсказы о колоніяхъ Вандименовой земли // «Современникъ», 1850].

Случаи (14)–(15) объединяет однотипность пунктуационного оформления и отсутствие предиката: действие не названо (14), действие названо только в следующем предложении (15).

(14) *Я бы... я бы... все! Понимаете вы?.. Шваньский разинул рот, и вдруг скулы его задрожали, и слезы полились по сморщившемуся лицу.* ***Я... я... я...*** *— начал он, но не мог выговорить ни слова и отошел.* [Е. А. Салиас. Аракчеевский сынок (1888)]

(15) ***Я... я... я...*** *— начала было Женя, но вдруг громко, страстно разрыдалась и закрыла руками лицо, — я напишу тебе...* [А. И. Куприн. Яма (1909–1915)]

Пример (16) более интересен, поскольку геминация, вынесенная в конец предложения и оформленная запятыми и восклицательным знаком, не выглядит хезитацией, но таковой является. Тут так же, как в предыдущих случаях, нет предиката, ожидаемого читателем (*если случилось что-то, то я виновата*). Но позиция не эксплицируется, а речевой акт признания-самообвинения трансформируется в речевой акт обвинения адресата (*я стала невменяемой из-за тебя*).

(16) *«Легко утешать, когда твоя дочка дома! Нет, если с ним что-то случилось, то это* ***я, я, я****!» «Что ты?» — испугался он. Я, — разрыдалась она, — я стала невменяемой из-за тебя! Я забросила их!* [И. Муравьева. Мещанин во дворянстве (1994)]

От приведенных примеров отличаются структуры, которые можно рассматривать как биноминативные на том основании, что подлежащее и сказуемое в них выражены именными частями речи (местоимение-существительное является подлежащим, существительное — сказуемым). В примерах такого рода предикат обозначает собственно паспортную или социальную идентичность. Не признать эту идентичность невозможно, но заявление о ней затруднено различиями в пресуппозициях говорящего и его собеседника. Например, в (17) адресат воспринимает говорящего как persona non grata, эта неприязнь противоречит восприятию своей *Я*-сферы говорящим как положительно оцениваемой [Норман 2017: 23]. Здесь хезитация совмещена с идентификацией: предикат известен говорящему.

(17) *— А ты кто такой, батюшка? — в негодовании вскипела старушка, поднимаясь с кресла и сжимая палку в руке. —* ***Я... я... я****, — законфузилось нелепое существо, я — Чухолка...* [Андрей Белый. Серебряный голубь (1909)]

Аналогичен пример (18).

(18) *Просты мене.* ***Я... я... я*** *твоя маты. Когда Яким возвратился в хату, то увидел, что Марко, плача, цаловал ноги уже умершей наймички.* [Т. Г. Шевченко. Наймичка (1844)]

Наймичка была матерью мальчика, усыновленного богатыми людьми, но он об этом не знал, считая ее служанкой в доме приемных родителей. Страх умереть, не открыв тайну сыну, и страх умереть, услышав слова осуждения со стороны сына, порождают разнонаправленные интенции (сказать или не сказать?), что и становится причиной хезитации.

Апосиопеза может быть обусловлена гневом, и таким образом геминация становится способом выражения агрессии. В ситуации конфликта *Я*-геминация стоит в препозиции к глагольному предикату, содержащему саму угрозу (либо будущее время, либо настоящее повторяющееся), как в (19)–(20).

(19) ***Я... я... я****... — отрывисто заговорил он, заикаясь от волнения и злости, — я за такие сомнения морду колочу*! [В. В. Крестовский. Панургово стадо (Ч. 3–4) (1869)]

(20) *Как — меня?.. благородного человека, и наоборот: да* ***я... я... я*** *вас взорву! — бессильно выпалил он и залился слезами.* [Андрей Белый. Серебряный голубь (1909)]

Угроза в живом общении обычно считывается на основе мелодики и частоты основного тона [Уздяев, Карпов 2024]. В письменных текстах, чтобы читатель опознал угрозу, автор характеризует манеру говорения персонажа (*отрывисто заговорил, бессильно выпалил*), кроме того, опознанию агрессивной *Я*-геминации служит ее включенность в устойчивые выражения: *Я (кому-либо) покажу / задам! Я не знаю, что (с кем-либо) сделаю! Я тебя!* и т. п. (21)–(22). Геминация этого типа конфликтогенна (23).

(21) *Если вы мне сейчас же не разыщете куклу, то* ***я... я... я*** *и не знаю, что сделаю!..* [С. Н. Сергеев-Ценский. Мелкий собственник (1928)]

(22) ***Малафей Ионыч****: Ты у меня... ты у меня... узнаешь!* ***Я... я... я...*** *тебя!* (Сдерживаясь.) [Е. И. Замятин. Африканский гость (1930)]

(23) *Я ее разрушу! Да, Гун, да-да-да! Мы ее разрушим. Не мы, а* ***я, я, я*** *разрушу! Вы, вы, Гун! Наденьте на меня мантию!* [В. Ф. Панова. Который час? Сон в зимнюю ночь (1941–1963)]

Неумение распознать интенцию говорящего порождает комизм: Городничий слышит в *Я*-геминации Хлестакова угрозу (24).

(24) ***Хлестаков**: Я служу в Петербурге. (Бодрится.)* ***Я, я, я... Городничий**: (в сторону) О господи ты боже, какой сердитый! Все узнал, все рассказали проклятые купцы!* [Н. В. Гоголь. Ревизор (1836)]

3.3. Идентификация

Идентификационная геминация («опознание» или установление тождества) может быть двух типов: «паспортная», именуемая в юридической практике опознанием личности, и медитативно-идентификационная, описывающая процесс осмысления самоидентичности, концентрацию говорящего на событии или собственном действии, на эмоциональном состоянии, переживании, на включенности или невключенности в некую группу.

Если реплика адресована другому, деятельность по идентификации («паспортному отождествлению») говорящего осуществляется этим «другим». Повтор дает время на «паспортную идентификацию» (25), на опознание адресатом говорящего (26) или на узнавание состояний, которые не принято обсуждать (27) или о которых страшно подумать (28).

(25) *Ребята, а кто Басилашвили, грузин, что ли? Блондинистый мальчик, который так хорошо читал Маяковского, сказал: «Это* ***я, я, я*** *— Басилашвили, все увидели?»* [Т. Доронина. Дневник актрисы (1984)]

(26) *Бес переметнулся ей за спину, стал лапать за бока и ягодицы. Она в страхе начала озираться: Кто здесь?* ***Я, я, я,*** *— со смехом отвечал он и начал сковыривать рубаху с ее жаркого тела. Сосед! Соседище-ще! Ты? — ухнула вдруг женщина, узнавая голос соседа, молодого парня, на которого часто заглядывалась украдкой.* [М. Гиголашвили. Чертово колесо (2007)]

(27) *«Это ты, душа моя!» — радостно воскликнул Жорж... ⟨...⟩ Это я, котик,* ***я, я, я****», — замурлыкала я и принялась быстро и удивительно метко покрывать лицо его поцелуями, в надежде на скорый и столь же пламенный ответ*. [М. Голованивская. Буря (1990–2000)]

(28) *— Кто ты? — спрашиваю я с усилием. Голос отвечает, подобный шелесту листьев: — Это* ***я... я... я...*** *Я пришла за тобой. За мной? Да кто ты? Приходи ночью на угол леса, где старый дуб. Я там буду. Я хочу вглядеться в черты таинственной женщины — и вдруг*

невольно вздрагиваю: на меня пахнуло холодом. [И. С. Тургенев. Призраки (фантазия) (1864)]

Призрак в повести И. С. Тургенева (28), являющийся в образе женщины, ведет себя так, чтобы повествователь строил догадки в попытках идентифицировать говорящую (*это образ, который снится? это вампир? это сама смерть?*).

Другой тип — это установление собственной психофизиологической идентичности, сопровождающееся автоадресацией. Это, например, узнавание себя в зеркале после тяжелой болезни (29), потеря идентичности вследствие умопомешательства, как в истории сотрудника ГРУ (30).

(29) *Не без усилия принял я сидячее положение. Ее лицо было совсем близко от меня, и я увидел, как из уголка глаза выкатилась и побежала, оставляя глянцевую полоску на темно-бурой шерсти, крупная, как виноградина, слеза. В ней, словно в выпуклом зеркальце, отразился раздувшийся в шар уродец — еще более отвратительный, чем на самом деле. Господи, можно ли поверить, что это* ***я — я — я****?!* [Ю. М. Нагибин. Рассказ синего лягушонка (1991)]

(30) *Рассматривал себя в зеркале, приглаживая волосы и расчесывая их, громко при этом называя себя: «****Я! Я! Я****!..» — и тыкая пальцем в грудь. Речь его постепенно становилась внятной, он уже одевался без помощи и подсказок, однажды разбушевался, приняв горничную за Жозефину, будто бы проституткой заказанную в номер. В нем, еще не осознавшем, кто он есть, продолжал жить Мартин, и не просто жить, а осаживать его, одергивать* ⟨...⟩ [А. Азольский. Монахи // «Новый Мир», 2000]

В отличие от «паспортной» идентификации и установления своей социальной идентичности, проблема определения персональной идентичности, то есть глубинных оснований личности, которые обеспечивают человеку ощущение единства себя сегодняшнего с собой в прошлом, не решается с помощью обращения к своему отражению во внешнем мире. Посредником не может быть ни Другой, ни любая зеркальная (в переносном или прямом смысле) поверхность (31)–(32).

(31) *А ты сам, когда с удивлением, как бы отразясь в глубине собственного же сердца, говоришь: «****Я, я, я****», — прислушиваешься к непостижи-*

мому мгновению этому и собираешь в дырочку твоего зрачка стомильный охват неба и моря, — тогда ты глупо и самодовольно спокоен? [А. С. Грин. Блистающий мир. (1923)]

(32) *Кто же действительно, по-настоящему — **я, я, я**? — думала Софья Осиповна. — Та куцая, сопливая, которая боялась папы и бабушки, или та толстая, вспыльчивая, со шпалами на вороте, или вот эта, пархатая, вшивая...*[В. Гроссман. Жизнь и судьба. (1960)]

Установление тождества *своего Я* сегодня и *своего Я* в прошлом (ином) времени на уровне качества или характеристики — тема стихотворения В. Ходасевича «Перед зеркалом» [Жолковский 2011]. Видение себя в прошлом и в настоящем построено на антитезе *Я* и *тот*. Текст начинается с *Я*-геминации, то есть медитативного погружения в мир своей идентичности. Однако в этой же строке оказывается, что *Я* — «дикое слово», а не обозначение своего актуального *Я*, потому что лирический герой находится между *Я-в-прошлом* и *Я-в-настоящем*, в состоянии, когда «заплутался в пустыне и своих же следов не найти».

(33) **Я, я, я!** Что за дикое слово!
Неужели вон **тот — это я**?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?
Разве мальчик, в Останкине летом
Танцевавший на дачных балах, —
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх?
Разве **тот, кто** в полночные споры
Всю мальчишечью вкладывал прыть, —
Это я, тот же самый, который
На трагические разговоры
Научился молчать и шутить?

Возникает тупиковая замкнутость, никуда не ведущая концентрация на своем *Я*. В отличие от любого существительного в этой же конструкции, которое можно проанализировать или рассмотреть (в буквальном смысле обратившись к его референту в реальном мире),

всмотреться в *Я* невозможно в силу его шифтерной природы. И эта невозможность отражена в (34)–(35).

(34) *И что тогда, выходит, правда? Это — возможности, это неизвестность пути, на тебе скрещиваются женские взоры, судьба виднеется толпой и разбегается в разные стороны, короче, правда — это молодость. И она кончится, замолкнет последний наблюдатель,* ⟨...⟩ *тишина ляжет полянкой, и ты тоскливо шагнешь: «На самом деле,* ***я...» Я. Я.*** *Нечего сказать.* [Александр Терехов. Бабаев (2003)]

(35) *Так же и уши тех, что жалуются, сетуют и слышат только уныние собственного сердца, не могут услышать зова Жизни. И сердце, стучащее в минорной гамме, стучит монотонно: «****я, я, я****». Такое сердце знает только страх будущего и раздирающую тоску прошедшего. Но текущей минуты, летящего «сейчас» оно не в силах ни видеть, ни слышать...* [Конкордия Антарова. Две жизни (1993)]

3.4. *Я*-геминация в сопоставлении с геминациями, выраженными другими частями речи

Я-геминация (как и прочие геминации) может открывать или закрывать предложение, строфу, текст.

Как любая риторическая фигура, *Я*-геминация может сохранять или утрачивать изобразительно-выразительный потенциал и экспрессивность, то есть быть живой или стертой. Обычно строительный элемент живых геминаций — знаменательные части речи (например, *вставайте, вставайте, вставайте; работа, работа, работа, солнце, солнце, солнце*), а стертых — слова-предложения *да* и *нет*. *Я*-геминация, за исключением разговорной подтверждающей геминации «*я-я-я*» (=именно я), не утрачивает экспрессивность.

Применительно к геминациям, не относящимся к стертым, мы предлагали деление на а) уникальные (представленные единственным примером) и б) не уникальные (многократно встречающиеся в разных текстах (например, *дорога, дорога, дорога*) [Маркасова, Митрофанова 2024: 22]. Эта классификация неприменима к *Я*-геминации.

Интертекстуальные связи, устанавливаемые для прочих геминаций, дают возможность выявлять радиальные и цепочечные отношения в группах неуникальных троекратных повторов. Лишь один пример показывает, что тройной повтор *Я* может иметь интертексту-

альные связи: это повтор «*я, я, я*», отсылающий к тексту Ходасевича, что всякий раз подчеркивается авторами (36).

(36) *Герой «Предварительных итогов» унижен презрительной фразой своего сына, и внутренняя его реакция звучит так: «Главное, в этой фразе был* ***я! Я, я****!» Неявная отсылка к шедевру Ходасевича: «****Я, я, я****. Что за дикое слово! / Неужели вот тот — это я?» — чрезвычайно органична и продуктивна в рамках этого характера. И здесь, и там — горькое одиночество, язвительная самоирония, драма утраченного мальчишества...* [Татьяна Бек. Проза Юрия Трифонова как инобытие поэзии // «Знамя», 1999]

Я-геминации тяготеют к неодиночному употреблению, как и многие другие риторические фигуры (например, риторический вопрос [Ли Юэчуань, Маркасова 2025]). Риторическая аттракция в (37) проявляется в двух тройных повторах *и это* и *я*.

(37) ***И это, и это, и это...*** *неужели* ***я, я, я,*** *а они под твое недоумение, взявшись за руки, пляшут и кланяются тебе, подмигивают твоим же глазом...* [М. Голованивская. Почтальон (2000)]

В (38) анафорический повтор (*я думал, есть* в начале контактно расположенных предложений сменяется подхватом (*Есть* ***только я***. ***Только я,*** *один я*...), наложением редупликации (*один я, один я*) и геминации (*один* ***я, я, я***)

(38) ***Я думал, есть*** *еще кто-то, кроме меня.* ***Я думал, есть*** *она... Но это глубокая ошибка. Есть* ***только я. Только я, один я, один я, я, я...*** *И желтое лицо его расплылось в почти тупую улыбку, пока губы повторяли неустанно:* ***Я... я... я...*** [З. Н. Гиппиус. Победители (1898)]

Местоимение *Я* не имеет собственного лексического значения, поэтому не может обеспечить ни позитивного (рождающего положительные эмоции (радость, бодрость, воодушевление и т. д.)), ни негативного (гнев, грусть, разочарование и т. д.) восприятия тройного повтора. [Бабенко 2022]. Этим *Я*-геминация отличается от геминаций, состоящих из существительных, глаголов, наречий, прилагательных, семантика которых в соединении с определенным ритмом и метром может создавать соответствующее настроение [Свиридов 2012].

4. Заключение

Фигуративный потенциал *Я*-геминации, впервые описанной на основе корпусного подхода, реализуется в языке художественной и нехудожественной литературы на фоне синхронной активизации в русском языке *Я*-конструкций и конструкций тройного повтора. Рост *Я*-геминаций происходит на фоне роста употребительности местоимения *Я*.

Функции конструкции «*я, я, я*» в разных ситуациях, требующих от говорящего фиксации внимания на своих или чужих действиях, собственной идентичности, «самости», разнообразны. Тройной повтор местоимения *Я* может служить для передачи в письменном тексте имитации чужой речи, хезитации разной природы (в зависимости от причины блокировки способности говорить), описания погруженности в психологические состояния, различающиеся режимами «*Я*-для-себя» (размышления о своей идентичности, медитация) и «*Я*-для-других».

В отличие от глагольных и именных *Я*-геминация в силу частеречной принадлежности не может служить для описания монотонных однообразных действий или масштабных предметов и явлений. *Я*-геминации (за исключением имитативных) описывают застреваемость человека в определенных состояниях и поисках себя, а не концентрированность внимания на внешних объектах. Говорить о влиянии метра и ритма на восприятие *Я*-геминации невозможно, поскольку количество поэтических примеров ничтожно мало.

Применительно к живым геминациям для других частей речи возможно деление на уникальные и неуникальные. В силу закрытости группы личных местоимений ни один случай не может считаться уникальным. Интертекстуальные связи *Я*-геминации — редкость (обнаружена лишь одна цепочка, сопровождающаяся упоминанием источника).

Литература

Апресян 1995 — Ю. Д. Апресян. Избранные труды. Т. 1. Лексическая семантика (синонимические средства языка). М.: Школа «Языки русской культуры», 1995.

Бабенко 2022 — Л. Г. Бабенко. Алфавит эмоций: словарь-тезаурус эмотивной лексики. Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2022.

Бенвенист 1974 — Э. Бенвенист. Общая лингвистика / Пер. с фр. Ю. Н. Караулова. М.: Прогресс, 1974.

Иомдин 2006 — Л. Л. Иомдин. Многозначные синтаксические фраземы: между лексикой и синтаксисом // Н. И. Лауфер, А. С. Нариньяни, В. П. Селегей (ред.). Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды Международной конференции «Диалог–2006». М.: РГГУ, 2006. С. 202–206.

Жолковский 2011 — А. Жолковский. Зеркало или трельяж // Вопросы литературы. 2011. № 6. С. 363–387.

Копнина 2014 — Г. А. Копнина. Геминация // А. П. Сковородников (ред.). Эффективное речевое общение (базовые компетенции): словарь-справочник. 2-е изд. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. С. 91–92.

Левонтина 2020 — И. Б. Левонтина. Об арсенале ксенопоказателей в русском языке // Вопросы языкознания. 2020. № 3. С. 52–77. DOI: 10.31857/S0373658X0009413-3.

Ли Юэчуань, Маркасова 2025 — Ли Юэчуань, Е. В. Маркасова. Вопрос «Кто я? / Что я?» как маркер поиска идентичности // Слово.ру: Балтийский акцент. 2025. Т. 16. № 2. С. 158–176. DOI: 10.5922/2225-5346-2025-2-9.

Маркасова 2009 — Е. В. Маркасова. Тыбик и ябик. URL: https://polza.todaytimes.ru/articles/lyapota-ili-lepota-chto-eto-takoe.html (дата обращения: 20.09.2025).

Маркасова 2024 — Е. В. Маркасова. «Я + адъективный предикат» и исторические обстоятельства (к постановке проблемы) // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2024. № 12. С. 14–29. DOI: 10.28995/2686-7249- 2024-12-14-29.

Маркасова, Митрофанова 2024 — Е. В. Маркасова, О. А. Митрофанова. Геминация (тройной повтор) по корпусным данным // Труды ИРЯ им. В. В. Виноградова. 2024. № 4 (42). С. 41–59. DOI: 10.31912/pvrli-2024.4.3.

Москвин 2007 — В. П. Москвин. Выразительные средства современной русской речи: тропы и фигуры. Общая и частные классификации. Терминологический словарь. Ростов н/Д: Феникс, 2007.

Норман 2017 — Б. Ю. Норман. Прагматический потенциал русской лексики и грамматики. Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2017.

Осин 2012 — Е. Н. Осин. Измерение позитивных и негативных эмоций: разработка русскоязычного аналога методики Panas // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2012. Т. 9. № 4. С. 91–110.

Свиридов 2012 — С. В. Свиридов. Формула тройного повтора в трехстопном амфибрахии // Альманах современной науки и образования. 2012. № 12 (67). Ч. 1. С. 111–115.

Уздяев, Карпов 2024 — М. Ю. Уздяев, А. А. Карпов. Создание и анализ многомодального корпуса данных для автоматического распознавания агрессивного поведения людей // Научно-технический вестник информационных техно-

логий, механики и оптики. 2024. Т. 24. № 5. С. 834–842. DOI: 10.17586/2226-1494-2024-24-5-834-842/.

Хазагеров, Ширина 1994 — Т. Г. Хазагеров, Л. С. Ширина. Общая риторика. Ростов н/Д.: Издательство Ростовского государственного университета, 1994.

Ширина 1990 — Е. В. Ширина. Мимезис как особый вид повтора чужой речи. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Ростов н/Д.: Ростовский государственный университет, 1990.

Яковлева 2016 — Э. Б. Яковлева. Речевые хезитации: Формальный и функциональный аспекты: Аналит. обзор. М.: ИНИОН, 2016.

Stefanowitsch, Gries 2003 — A. Stefanowitsch, S. Th. Gries. Collostructions: Investigating the interaction of words and constructions // International Journal of Corpus Linguistics. 2003. Iss. 8 (2). P. 209–243.

References

Apresyan 1995 — Yu. D. Apresyan. *Izbrannye trudy. Tom 1. Leksicheskaya semantika* (sinonimicheskie sredstva yazyka) [Selected works. Vol. 1. Lexical semantics (synonymous means of language)]. Moscow: Shkola “Yazyki russkoy kultury”, 1995.

Babenko 2022 — L. G. Babenko. *Alfavit emociy: slovar-tezaurus emotivnoy leksiki* [The alphabet of emotions: a thesaurus of emotional vocabulary]. Ekaterinburg: Kabinetnyy uchenyy, 2022.

Benvenist 1974 — E. Benvenist. *Obshchaya lingvistika* [General linguistics]. Moscow: Progress, 1974.

Iomdin 2006 — L. L. Iomdin. Polysemous syntactic phrasemes: between vocabulary and syntax. N. I. Laufer. A. S. Nariniani. V. P. Selegey (eds.). *Kompyuternaya lingvistika i intellektualnye tekhnologii. Trudy Mezhdunarodnoy konferentsii «Dialog–2006»* [Computational linguistics and intellectual technologies. Proceedings of the International conference “Dialogue-2006”]. Moscow: Russian State University for the Humanities Press, 2006. P. 202–206.

Khazagerov, Shirina 1994 — T. G. Khazagerov, L. S. Shirina. *Obshchaya ritorika* [General rhetoric]. Rostov-on-Don: Rostov State University Publishing House, 1994.

Kopnina 2014 — G. A. Kopnina. Geminatsiya [Gemination]. A. P. Skovorodnikov (ed.). *Effektivnoe rechevoe obshchenie (bazovye kompetentsii)*: *slovar-spravochnik* [Effective verbal communication (basic competencies). Reference dictionary]. 2nd edition. Krasnoyarsk: Siberian Federal University Press, 2014. P. 91–92.

Levontina 2020 — I. B. Levontina. Ob arsenale ksenopokazateley v russkom yazyke [The repertory of xenomarkers in Russian]. *Voprosy Jazykoznanija*. 2020. Vol. 3. P. 52–77. DOI: 10.31857/S0373658X0009413-3.

Li Yuechuan, Markasova 2025 — Li Yuechuan, E. V. Markasova. Vopros “Kto ya?/ Chto ya” kak marker poiska identichnosti [The questions “Who am I? / What am I?”

as a marker of identity search]. *Slovo.ru: Baltic accent.* 2025. Vol. 16. No. 2. P. 158–176. DOI: 10.5922/2225-5346-2025-2-9.

Markasova 2009 — E. V. Markasova. *Tybik I Yabik* [Tybik and yabik]. 2009. Available at: https://polza.todaytimes.ru/articles/lyapota-ili-lepota-chto-eto-takoe.html (accessed on 20.09.2025).

Markasova 2024 — E. V. Markasova. Ja + adyektivnyy predikat i istoricheskiye obstoyatelstva (k postanovke problemy) ["I + adjectival predicate' and historical circumstances (stating the issue)]. *Vestnik RGGU. Seriya "Literaturovedeniye. Yazykoznaniye. Kulturologiya"*. 2024. Vol. 12. P. 14–29. DOI: 10.28995/2686-7249-2024-12-14-29.

Markasova, Mitrofanova 2024 — E. V. Markasova, O. A. Mitrofanova. Geminatsiyya (troynoy povtor) po korpusnym dannym [Gemination (Triple repetition) according to the corpus data]. *Trudy Instituta russkogo yazyka imeni V. V. Vinogradova.* 2024. Vol. 4 (42). P. 41–59. DOI: 10.31912/pvrli-2024.4.3.

Moskvin 2007 — V. P. Moskvin. *Vyrazitelnye sredstva sovremennoy russkoy rechi: tropy i figury. Obshchaya i chastnye klassifikatsii. Terminologicheskiy slovar* [Expressive means of modern Russian speech: tropes and figures. General and private classifications. Terminological dictionary]. Rostov-on-Don: Feniks, 2007.

Norman 2017 — B. Yu. Norman. *Pragmaticheskiy potentsial russkoy leksiki i grammatiki* [The pragmatic potential of Russian vocabulary and grammar]. Ekaterinburg; Moscow: Kabinetnyy uchenyy, 2017.

Shirina 1990 — E. V. Shirina. *Mimesis kak osobyy vid povtora chuzhoy rechi* [Mimesis as a special kind of repetition of alien speech]. Author's abstract of candidate thesis. Rostov-on-Don: Rostov State University, 1990.

Stefanowitsch, Gries 2003 — A. Stefanowitsch, S. Th. Gries. Collostructions: Investigating the interaction of words and constructions. *International Journal of Corpus Linguistics*. 2003. Iss. 8 (2). P. 209–243.

Sviridov 2012 — S. V. Sviridov. Formula troynogo povtora v trekhstopnom amfibrakhii [The formula of the triple repetition in the amphibrachic trimeter]. *Almanakh sovremennoy nauki i obrazovaniya.* 2012. № 12 (67). Pt. 1. P. 111–115.

Uzdiaev, Karpov 2024 — M. Yu. Uzdiaev, A. A. Karpov. Creation and analysis of multimodal corpus for aggressive behavior recognition. *Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics*. 2024. Vol. 24. No 5. P. 834–842. DOI: 10.17586/2226-1494-2024-24-5-834-842.

Yakovleva 2016 — E. B. Yakovleva. *Rechevye hezitatsii: Formalnyy i funkcionalnyy aspekty: Analiticheskiy obzor* [Speech hesitations: Formal and functional aspects: Analytical review]. Moscow: INION, 2016.

Zholkovsky 2011 — A. Zholkovsky. Zerkalo ili trelyazh [The mirror or the trellis]. *Voprosy literatury*. 2011. Vol. 6. P. 363–387.

Получено / received 16.05.2025 *Принято / accepted 31.07.2025*

Acta Linguistica Petropolitana. 2025. Vol. 21.2. P. 32–45
DOI: 10.30842/alp230657372123245

Семантико-мотивационная интерпретация диалектной лексики со значением ‘движение и состояние воды’

Е. Б. Миронова
Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург, Россия); keb1991@mail.ru; ORCID: 0000-0001-9299-9867

Аннотация. Основной объект исследования — языковые единицы, объединенные общенародным словом *вода*, называющие поверхностные воды в нижневолжских говорах в границах Астраханской области. Основная задача — систематизация наименований, выявление сочетаемостных отличий от литературного языка и ассоциативно-деривационных особенностей. Анализ лексико-тематической группы ‘вода’ позволил выявить языковые единицы, их вариативность в говорах Астраханской области, определить мотивационные признаки.

Ключевые слова: гидрологическая лексика, лексико-тематическая группа, ономасиологический принцип, парадигматические связи, синтагматические связи, мотивировочные признаки.

Semantic and motivational interpretation of a Russian dialectal vocabulary for ‘water movement/conditions’

Ekaterina B. Mironova
Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences (St. Petersburg, Russia); keb1991@mail.ru; ORCID: 0000-0001-9299-9867

Abstract. The study addresses Russian lexis for the thematic group ‘water’, viz. names used to describe surface waters in the Lower Volga dialects in the Astrakhan region. The research objectives include: 1) description of the lexico-thematic group ‘water’, 2) identification of the semantic structure of the common Russian word *water*,

3) identification of its lexico-semantic subgroups, 4) identification of the word compatibility features and dialectal water-naming specifics, and 5) presentation of the motivational water-naming specifics.

The research methods used follow the modern methodology for territorial dialect vocabulary study formulated in the Program for Collecting Data for the Lexical Atlas of Russian Vernacular Dialects. It establishes systematic guidelines for linguistic material selection and description based on onomasiological and semasiological principles.

The main task is to classify names related to 'water', identify the word-combinability peculiarities that differ from the Standard Russian and the specific associative derivation features. The research sources used include field records, hydrographic and hydrological dictionaries, explanatory dictionaries, physical geography publications, and the Dictionary of Russian Folk Dialects. The linguistic units identified in the dialects name the directly observable properties of water that are of practical daily-life significance for rural populations and reflect the ties between language and folk culture.

The analysis of the lexical and thematic group 'water' in the Lower Volga dialects revealed linguistic units describing water surface conditions and their variability in the Astrakhan Region dialects. A conclusion is made about the motivational signs that are actualized in the names for peculiar features of water surfaces.

Keywords: hydrological vocabulary, lexico-thematic group, onomasiological principle, paradigmatic relations, syntagmatic relations, motivational signs.

1. Введение

Слово *вода* входит в основной словарный фонд русского языка. «В народных представлениях — одна из первых стихий мироздания, источник жизни, средство магического очищения» [Толстой (ред.) 1995: 386]. Понятие о воде как явлении природы известно людям с древнейших времен. Слово *вода* имеет три основных значения: «1. Прозрачная бесцветная жидкость, представляющая собой в чистом виде химическое соединение водорода и кислорода — H_2O; 2. *Обычно мн.* Крупные скопления такой жидкости, водное пространство (реки, моря, озера и т. п.); 3. Поверхность рек, озер, морей и т. п.» [БАС-3 2005: 11–13].

Предметом рассмотрения в статье являются слова тематической группы 'вода', номинирующие движение и состояние воды на водной поверхности, перемещение воды по руслу Волги и ее протоков на территории Астраханской области, которая входит в пределы Нижнего

Поволжья. Нижнее Поволжье охватывает территории современных Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей. Астраханская область располагается в южной части Нижнего Поволжья, т. е. в Прикаспийской низменности. Ландшафт области отличает контактирование зон водоемов и пустынных земель. Главным источником обводнения территории Астраханской области является Волга, наполнение ее и притоков весной.

На всем пространстве волжских разветвлений основным занятием населения до недавнего времени был рыболовецкий промысел, удача которого напрямую зависела от состояния воды. Актуальность реалии для диалектоносителя нашла отражение в наименованиях воды. Цель статьи — показать функционирование общерусского слова *вода* в говорах Астраханской области, выявить отличия от литературного языка.

В качестве основного материала анализа послужили полевые записи автора, материалы СРНГ. Дополнительно использовались источники по Астраханской губернии XIX в., труды по физической географии, словари гидрографической и гидрологической лексики, в которых содержится народная географическая лексика [Григорьев, Рихтер (ред.) 1948; Маштаков 1931; Мурзаев 1984; Неуструев 1914; Goudie et al. (ed.) 1985] и др.

Статья построена следующим образом: в *Разделе 2* перечислены теоретические установки и методы исследования; системно-структурному анализу тематической группы на основе экстралингвистических и лингвистических факторов посвящен *Раздел 3*; в *Разделе 4* представлен мотивационный анализ диалектных наименований воды в говорах Астраханской области; в *Разделе 5* содержатся итоги исследования.

2. Теоретические установки описания

Вода — предметно-семантическая группа и — одновременно — родовое понятие, составляющее ее ядро. С глубокой древности это понятие коррелировало с отсутствием воды, ее недостатком: *вода — безводие*.

Отличительным признаком тематической группы ‘вода’ является экстралингвистическая обусловленность отношений между составляющими ее словами, обозначающими поверхностное состояние воды.

Основу анализа диалектного материала составили научный подход к описанию системности лексики и закономерностей семантических связей между языковыми единицами (Ю. Д. Апресян, В. Г. Гак, Д. Н. Шмелев и др.), исследования диалектов в лингвогеографическом, этнолингвистическом аспектах (Н. И. Толстой, С. М. Толстая, Т. И. Вендина, Е. Л. Березович, С. А. Мызников и др.). Описание тематической группы строится на основе ономасиологического принципа (от значения к слову), что позволяет выявить внеязыковые факторы вариативности наименований в астраханских говорах. Отношения между словами обусловлены и системно-структурными лингвистическими факторами: системные отношения в лексике, образование лексем по определенным моделям, словообразовательная производность и т. п., что предполагает рассмотрение тематической группы как лексико-семантического образования.

Тематическая группа ‘вода’ организована на основе родо-видовых отношений, образующую роль в группе играет общенародное слово *вода*. *Вода* как наименование поверхностного состояния жидкой субстанции в своем лексическом значении содержит дифференциальные семы ‘движение’, ‘направление движения’, ‘воздействие ветра на движение’, ‘состояние’. Вокруг лексемы *вода* группируются вариативные ряды наименований, объединенные на основе понятийных и семантических связей, что является показателем системности в организации номинаций воды. Системный принцип отбора и интерпретации материала, предполагающий «равное отношение к любому члену диалектного различия, независимо от того, представляет ли он собственно диалектную лексическую единицу или же слово, входящее одновременно в состав литературного языка и общерусского просторечия» [Попов и др. 1993: 329; Левичкин, Мызников 2014: 26], позволяет во всей полноте отразить лексическое своеобразие тематической группы ‘вода’ в говорах Астраханской области.

Современный этап развития диалектологии, по мнению Т. И. Вендиной, характеризуется как этап «объясняющей диалектологии», «интерпретационного анализа»: «Диалектное слово дает возможность понять, какие элементы внеязыковой действительности и как маркируются, почему они удерживаются сознанием ⟨...⟩ выбор мотивацион-

ного признака не является случайным, он ⟨...⟩ имеет свою культурную мотивацию» [Вендина 2021: 94, 96].

Методами исследования являются описательный метод, приемы структурирования тематической группы, принципы ономасиологического и семантического анализа.

3. Системно-структурный анализ тематической группы

В основе строения тематической группы лежат логические отношения между именуемыми понятиями: включения, тождества, контрадикторности (противоположности), пересечения [Гак 1998: 381].

В ходе полевых исследований в отдельных районах Астраханской области, работы с краеведческими материалами, словарями нами выявлены наименования поверхностного состояния воды. Тематическая группа имеет определенную иерархию, которая выстраивается на основе внеязыковых признаков, имеющих важное значение для хозяйственной жизни сельских жителей:

1. Изменение уровня воды
1.1. Весенний подъем уровня воды: *бе́лая вода́*, *верхо́вая вода́*, *кра́сная вода́*, *ледо́вая вода́*, *ледя́нка*, *подсве́жка*, *подсве́жье*.
1.2. Наибольшее повышение уровня воды: *больша́я вода́*, *большево́дье*, *водопо́лица*, *водопо́ль*, *водопо́лье*, *высо́кая вода́*, *жи́рная вода́*, *па́водень*, *по́лая вода́*, *по́ловодь*, *полово́йная вода́*, *прибыла́я вода́*, *си́льная вода́*, *со́чная вода́*.
1.3. Средний уровень воды в реке, установившийся после спада: *межё́нная вода́*, *межё́нь*, *ордина́рная вода́*.
1.4. Низкий уровень воды в реках: *в трубе́*, *ма́лая вода́*, *маловóдье*, *мелковóдица*, *мелковóдье*, *суха́я вода*, *сухме́нь*.
2. Наличие или отсутствие движения воды
2.1. Движение воды по воздействию ветра с Каспийского моря к берегам устья: *моря́на*, *вы́гон*, *нагóн*.
2.2. Слияние речной и морской воды: *обру́б*, *пресня́к*, *рубе́ц*, *суме́жная вода́*.
2.3. Состояние воды: *вода́ полóйная*, *вода́ протóчная*, *вода́ све́жая*, *вода́ стоя́лая*, *вода́ стоя́чая*, *вода́ ти́хая*, *вода́ тра́вная*.

Зафиксированные нами данные включают номинации общенародные, диалектные, профессиональную лексику, которые в единстве бытуют в условиях диалекта и употребляются в устной речи.

В устной речи астраханских сельских жителей отношения включения (гипер-гипонимические, родо-видовые отношения) порождают семантический процесс сужения значения лексемы *вода*, который связан с необходимостью для диалектоносителя уточнять родовое понятие ‘вода’ по признакам важности, нужности того или иного качества, состояния воды для хозяйственной жизни.

Уточнение качественных характеристик воды реализуется неоднословными наименованиями, в сочетаемости лексемы *вода* с прилагательными: «Каждое значение слова характеризуется особыми парадигматическим отношениями, точно так же, как и особенностями сочетаемости с другими словами, что находит отражение в семантической структуре данного слова» [Шмелев 2008: 156].

Прилагательные в говорах могут выступать как в прямом, так и в переносном значении:

(1) *Рыбы нет пока,* ***вода ледовая*** [ЕНОТ.: Никольское]. *Ледовая* вода ‘только что растаявшая ото льда, но без прибылой воды’.

(2) *С 21-го (апреля) числа замечена в Волге и Бахтемире (до Маячного)* ***красная вода****, т. е. верховая и подсвежка* [Отчет 1898: 57].

(3) ***Красная вода*** *— отличается от ледянки, она мутная. Когда совсем лед сошел на реке, несется она издалека* [ВОЛОД.: Марфино].

(4) *Рыба вместе с* ***травной*** *водой с полоев скатывается на свежую воду* [ВОЛОД.: Новокрасное].

У прилагательного *красная*, по данным СРНГ, очень широкая сочетаемость с разными существительными, называющими растения, рыб, птиц и др., но словосочетание *красная* вода ‘прибылая вода’ было зафиксировано только в Астраханской области [СРНГ 15: 195]. Словосочетание *травная вода* в СРНГ не фиксируется. В астраханских говорах *травная вода* ‘вода в полóях, стоячая’.

Анализ материала показал, что основы слов *вод(а), пол(ая)* в качестве производящих сохраняются в широком круге основ производных слов: безвóдие, большевóдье, водогóн, водопóлица, водопóль,

водопо́лье, маловóдье, мелковóдица, мелковóдье, пáводень, пáводок, пáводь, половóдье. Другие производящие основы уступают по своей деривационной продуктивности. Например, прилагательные, реализующие прямые значения, выступают мотивирующей основой для производных, осложненных формантами в словообразовательном процессе: *больш(ой)* — больш(е)вод-j(е), *ледян(ой)* — лед-ян-к(а), *мал(ый)* — мал-о-вод-j(е), *мелк(ий)* — мелк-о-вод-иц(а), мелк-о-вод-j(е), *пресн(ый)* — пресн-як, *свеж(ий)* — под-свеж-к-а, под-свеж-j(е). Менее активно образование производных от основ существительных и глаголов: *мор(е)* — мор-ян(а) и *гнать* — вы-гон, на-гон, *рубить* — об-руб, руб-ец.

Словообразовательные процессы в говорах по характеру словообразовательной базы для производных слов происходят как на базе словосочетаний, так и на базе слов. Анализ языкового материала показал, что основным способом словообразования диалектной лексики является морфемный (аффиксальное словообразование в различных вариантах): суффиксация, префиксация, конфиксация, сложение с суффиксацией. Способы морфологического аффиксального словообразования и аффиксальные морфемы совпадают в говорах и литературном языке.

В астраханских говорах фиксируется производное диалектное слово *сух-мéнь*, которое имеет соответствие в славянских языках [Откупщиков 1986: 193]. Стоит отметить устойчивость в употреблении слова *сумéжная* (вода), в котором ст. слав. префикс *су-* со значением соединения не является продуктивным в современном русском языке, в производном выделяется как элемент конфикса (су- ... -н):

(5) *Уже на* ***сумéжную*** *воду выбежали, а всё трава плывёт* [ВОЛОД.: Лебяжье].

(6) *Грань, межа и вот это слово —* ***сумéжная****. Её ещё называют за особый вкус сладимой водой, хотя она просто солоноватая* [ВОЛОД.: Новокрасное].

В отличие от других говоров, в которых *сумéжная вода* — это «смесь воды из разных источников. Терск., 1895» [СРНГ 42: 230], в астраханских говорах словосочетание функционирует для обозначения слияния волжской воды с водой Каспийского моря: «⟨...⟩ При выявлении признаков объекта, соответствующих взгляду изнутри ⟨...⟩

многое дает сочетаемость, не только устойчивая, но и свободная. Повторяемость признака, извлекаемого из сочетаемости, — показатель его важности для носителей диалекта, показатель его устойчивости» [Нефедова 2018: 73].

Выявленные свободные и полусвободные словосочетания можно рассмотреть с позиции поляризации значений, в том числе и метафорической. Например, по признакам ‘движение воды, течение’ — ‘отсутствие движения воды, течения’.

Проточная вода ‘текучая вода, вода в движении’ — *стоячая вода, стоялая вода* ‘скопившаяся в весеннее половодье, застоявшаяся в полоях’:

(7) *В маленьких проточинах движение не прерывается.* ***Вода*** *там* ***прото́чная*** [ЕНОТ.: Никольское].

(8) *В зали́тых низкодолах вода* ***стоялая*** [КАМЫЗ.: Раздор].

(9) *Рыба вместе с* ***тра́вной*** *водой с полоев скатывается на свежую воду* [ВОЛОД.: Новокрасное].

На основе отношений контрадикторности у слов, называющих воду, развиваются отношения противоположности. Например, ‘наибольшее повышение уровня воды’ (*большая, высокая, сильная вода*) — ‘низкий уровень воды в реках’ (*малая вода*):

(10) *В двадцать шестым была такая* ***большая вода****, но мы на бугре жили* [ИКРЯН.: Бахтемир].

(11) *Этими устьями рыба может входить только при* ***высокой воде*** *в весеннее половодье и при нагонных ветрах* [Отчет 1900: 32].

(12) *В двадцать васьмым была-то. Тоже* ***сильная вода*** *была* [ЕНОТ.: Ветлянка].

(13) *Причиной неуловов красной рыбы с 15 июня по 15 июля были очень* ***малая вода*** *и штормовые выгонные ветра* ⟨...⟩*, очень быстро согнавшие на межень всю верховую прибыль* [Отчет 1900: 61].

(14) *Половодье еще не начиналось,* ***вода*** *очень* ***низкая*** *(как говорят у нас —* ***«сухая»****,* ***«в трубе»****) и течение едва заметно* [Отчет 1900: 64].

(15) *Сейчас* ***вода низкая****, берега кустами зарастают* [ЛИМАН.: Зензели].

Отношениям тождества соответствуют синонимичные наименования. Например, *жирная, сочная* ‘наибольшее повышение уровня воды’:

(16) *Столь неудачный результат громки*[1] *объясняется* ***сочной*** *осенней* ***водой*** *и сильным течением* [Отчет 1901: 20].

(17) *Вода нынче* ***жирная*** *и* ***сочная****, паводок долгий, значит, будет травостой* [ИКРЯН.: Мумра].

Для людей, связанных с рекой, важными оказываются такие признаки, как движение, состояние воды. Больше наименований имеет постепенное прибывание воды и наибольшее повышение уровня воды: *большево́дье*, *водопо́лица*, *во́дополь*, *водопо́лье*, *ледя́нка, па́водень*, *подсве́жка*, *подсве́жье*, *по́ловодь*. Значения слов извлекаются из внутренней формы языковых единиц.

Семантическое развитие значений основано на представлениях носителей диалекта о том, что вода как явление природы одушевлена. В астраханских говорах вода обладает всеми признаками живого существа. Она *чувствительная, освежается, думает, вздыхает*:

(18) *Вода —* ***заду́мывается****. Бывает это перед штормом в тихие вечера, и перед сменой ветра* [ВОЛОД.: Мумра].

(19) ***Вздышка*** *— вода* ***вздохнула*** *— ветер сменился* [ВОЛОД.: Новокрасное].

(20) *Однако даже с малейшей* ***вздышкою*** *(прибылью с моря) воды, — судок, вобла, сазан, лещ и мелочи входят сюда хорошо* [Отчет 1900: 50].

Рассмотрение наименований воды в говорах Астраханской области и их функционирование в речи дает представление о признаках, которые извлекаются из сочетаемости общенародного слова *вода* с другими словами, что показывает их важность для диалектоносителей.

4. Мотивация диалектных наименований

Общенародное слово *вода* ‘движение и состояние воды’ в астраханских говорах имеет свою специфику, которая реализуется в его свободной сочетаемости с другими словами в речи сельских жителей. Выявить представление о воде глазами носителя диалекта «помогает

[1] Гро́мка, ж. (устар.) — промысел красной рыбы из-подо льда (на Волге и на Урале) в известных глубоких местах, где рыба ложится на зиму [Кузмищев 1841: № 4].

мотивированность его названий. Признаки номинации ⟨...⟩ аккумулируют свойства объекта, важные именно с точки зрения диалекта. Возможны дефиниции, основанные на совокупности признаков, отраженных во внутренней форме наименований» [Нефедова 2018: 74].

Перечень мотивировочных признаков представлен по работе Т. И. Вендиной [Вендина 1998]. Их выбор демонстрирует, что́ наиболее значимо для человека и его выживания в природной среде. В рассматриваемой семантической сфере актуализируются следующие мотивировочные признаки.

1. Качественный признак, указывающий на физические свойства воды:
   — особенности состояния воды (*вода́ све́жая* ‘проточная вода’, *жи́рная вода́*, *си́льная вода́*, *со́чная вода́* ‘наибольшее повышение уровня воды’, *подсве́жка*, *подсве́жье* ‘только начинающая прибывать весной вода’, *суха́я вода́*, *сухме́нь* ‘самая малая вода’);
   — цвет воды (*бе́лая вода́*, *кра́сная вода́* ‘только начинающая прибывать весной вода’);
   — вкус (*пресня́к* ‘пресная речная вода’);
   — уровень воды (*больша́я вода́*, *большево́дье*, *водопо́лица*, *во́дополь*, *водопо́лье*, *высо́кая вода́*, *на́водень*, *по́лая вода́*, *по́ловодь* ‘половодье, наибольшее повышение уровня воды’, *ма́лая вода́*, *маловодье*, *мелково́дица*, *мелково́дье* ‘низкий уровень воды в реках’, *межéнная вода́, межéнь, ордина́рная вода́* ‘средний уровень воды в реке’);
   — температура воды (*ледо́вая вода́*, *ледя́нка* ‘начинающая прибывать вода’);
   — наличие растительности, цветение воды (*вода́ стоя́лая, вода́ тра́вная* ‘полойная вода’).
2. Локативный признак, указывающий на:
   — направление течения воды (*верхо́вая вода́, прибыла́я вода́* ‘повышение уровня воды’);
   — направление движения воды по воздействию ветра (*моря́на* ‘движение воды по воздействию ветра из Каспийского моря к берегам устья’);
   — расположение воды (*суме́жная вода́* ‘слияние речной и морской воды’).

3. Акциональный признак, указывающий на:
   — воздействие ветра на движение (*вы́гон*, *нагóн* ‘убывающая под действием ветра вода’);
   — особенности движения воды (*водá протóчная* ‘вода, находящаяся в движении, речная’ — *водá полóйная, водá стоя́лая, водá стоя́чая* ‘застоявшаяся вода’).
4. Реляционный признак, указывающий на:
   — сходство в названиях воды (*обрýб*, *рубéц* ‘слияние речной и морской воды’, *в трубé* ‘низкий уровень воды в реках’).

5. Заключение

Общенародное слово *вода* в говорах Астраханской области имеет свои особенности и обладает своей собственной лексической системой. Данные полевых записей и материалы источников позволяют сделать вывод о хорошей сохранности в говорах объема и содержания тематической группы ‘вода’, что свидетельствует об актуальности понятия воды в рамках традиционной культуры. Общенародное слово *вода* в говорах обладает развитой семантической структурой и широкой сочетаемостью с другими словами. Большая часть слов — общенародные, узколокальными являются словосочетания, в которых прилагательные уточняют определяемое существительное.

Лексико-семантическая группа характеризуется в астраханских говорах определенным набором корневых морфем.

Дифференциальные признаки демонстрируют жизненно важные для носителей говоров показатели. Рассмотрение отношений между словами с одинаковым или близким значением выявило диалектную синонимию в говорах.

Сохранение в говорах и литературном языке слов с архаичными приставками па- (паводок), су- (сумежная вода) свидетельствует об устойчивости признака, извлекаемого из внутренней формы, сочетаемости с другими словами.

Выявленные мотивировочные признаки демонстрируют прагматическую направленность выбора представлений о природной реалии. С помощью словообразовательных средств маркируется то, что является значимым в процессе постижения и освоения человеком мира

природы, что связано с ценностью его биологического выживания. Кроме того, внимание местных жителей сосредоточивается на явлениях, воспринимаемых как отрицательные и представляющие угрозу для жизни или хозяйственной деятельности.

Список условных сокращений

Районы Астраханской области

ВОЛОД. — Володарский, ЕНОТ. — Енотаевский, КАМЫЗ. — Камызякский, ИКРЯН. — Икрянинский, ЛИМАН. — Лиманский.

Словари

БАС-3 — Большой академический словарь русского языка.
СРНГ — Словарь русских народных говоров.

Другие

ст. слав. — старославянское, др. рус. — древнерусское.

Литература

Апресян 2009 — Ю. Д. Апресян. Исследования по семантике и лексикографии. Т. 1. Парадигматика. М.: Языки славянских культур, 2009.

Березович 2014 — Е. Л. Березович. Русская лексика на общеславянском фоне: семантико-мотивационная реконструкция. М.: Русский Фонд содействия образованию и науке, 2014.

Вендина 1998 — Т. И. Вендина. Русская языковая картина мира сквозь призму словообразования (макрокосм). М.: Индрик, 1998.

Вендина 2021 — Т. И. Вендина. Мотивационный признак диалектного слова в зеркале аналитической диалектологии // Славяноведение. 2021. № 6. С. 87–98. DOI: 10.31857/S0869544X0017703-6.

Гак 1998 — В. Г. Гак. Языковые преобразования. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998.

Левичкин, Мызников 2014 — А. Н. Левичкин, С. А. Мызников. Словарь пинежских говоров: Проект. Пробные словарные статьи. СПб.: Нестор-История, 2014.

Нефедова 2018 — Е. А. Нефедова. «Архангельский областной словарь» как источник этнолингвистической информации // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2018. № 6. С. 66–76.

Откупщиков 1986 — Ю. В. Откупщиков. Диалектный материал и этимология // Ж. Ж. Варбот (отв. ред.). Этимология. 1984. М.: Наука, 1986. С. 191–197.

Попов и др. 1993 — И. А. Попов, Ю. С. Азарх, Т. И. Вендина, А. С. Герд, О. Н. Мораховская, З. М. Петрова. Лексический атлас русских народных говоров

в кругу славянских атласов // Н. И. Толстой (отв. ред.). Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Доклады российской делегации: Сборник докладов. М.: Наука, 1993. С. 328–338.

Толстая 2008 — С. М. Толстая. Пространство слова. Лексическая семантика в общеславянской перспективе. М.: Индрик, 2008.

Толстой (ред.) 1995–2014 — Н. И. Толстой (ред.). Славянские древности. Этнолингвистический словарь: в 5 т. М.: Международные отношения, 1995–2014. Т. 1. С. 386–390.

Шмелев 2008 — Д. Н. Шмелев. Проблемы семантического анализа лексики. М.: Издательство ЛКИ, 2008.

Источники

БАС-3 (ред. Горбачевич, Герд) — К. С. Горбачевич, А. С. Герд (гл. ред.). Большой академический словарь. СПб.: Наука, 2005. Т. 3: 11–13.

Григорьев, Рихтер (ред.) — А. А. Григорьев, Г. Д. Рихтер (ред.). Нижнее Поволжье. Физико-географическое описание. М.; Л.: Издательство АН СССР, 1948.

Кузмищев 1841 — П. Ф. Кузмищев. Собрание местных слов, имеющих особое значение и употребляемых в Астраханской губернии и на Каспийском поморье // Астраханские губернские ведомости. 1841. № 13, 14.

Маштаков — П. Л. Маштаков. Материалы для областного водного словаря. Л.: Государственный гидрологический институт, 1931.

Мурзаев — Э. М. Мурзаев. Словарь народных географических терминов. М.: Мысль, 1984.

Неуструев 1914 — С. П. Неуструев. Словарь волжских судовых терминов: объяснение современных и старинных слов, в связи с историей волжского судоходства. Нижний Новгород: Элекро-типография Г. Искольдскаго, 1914.

Отчет — Отчет Астраханского управления рыбными и тюленьими промыслами и краткий обзор Каспийско-Волжского рыболовства и тюленьего промысла... за 1898–1901.

СРНГ — Ф. П. Филин, Ф. П. Сороколетов, С. А. Мызников (ред.). Словарь русских народных говоров. Вып. 1–52. М.; Л.; СПб.: Наука, 1965–2021.

Чеботарев 1978 — А. И. Чеботарев. Гидрологический словарь. Л.: Гидрометиздат, 1978.

Goudie (ed.) — A. Goudie (ed.). The Encyclopaedic dictionary of physical geography. Oxford; New York: Blackwell, 1985.

References

Apresyan 2009 — Yu. D. Apresyan. *Issledovaniya po semantike i leksikografii. T. 1. Paradigmatika* [Research on semantics and lexicography. Vol. 1. Paradigmatics]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kultur, 2009.

Berezovich 2014 — E. L. Berezovich. *Russkaya leksika na obshcheslavyanskom fone: semantiko-motivatsionnaya rekonstruktsiya* [Russian vocabulary on a common Slavic background: semantic and motivational reconstruction]. Moscow: Russian Foundation for Assistance to Education and Science, 2014.

Gak 1998 — V. G. Gak. *Yazykovyye preobrazovaniya* [Language transformations]. Moscow: Shkola “Yazyki russkoy kultury”, 1998.

Levichkin, Myznikov 2014 — A. N. Levichkin, S. A. Myznikov. *Slovar pinezhskikh govorov: Proyekt. Probnyye slovarnyye stati* [A dictionary of Pinega dialects: A project. Tentative dictionary entries]. St. Petersburg: Nestor-Istoriya, 2014.

Nefedova 2018 — E. A. Nefedova. “Arkhangelskiy oblastnoy slovar» kak istochnik etnolingvisticheskoy informatsii [Arkhangelsk Regional Dictionary as a source of ethnolinguistic information]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9. Filologiya*. 2018. No. 6. P. 66–76.

Otkupshhikov 1986 — Yu. V. Otkupshhikov. Dialektnyy material i etimologiya [Dialect material and etymology]. Zh. Zh. Varbot (ed.). *Etimologiya. 1984* [Etymology. 1984]. Moscow: Nauka, 1986. P. 191–197.

Popov et al. 1993 — I. A. Popov, Ya. S. Azarkh, T. I. Vendina, A. S. Gerd, O. N. Morakhovskaya, Z. M. Petrova. Leksicheskiy atlas russkikh narodnykh govorov v krugu slavyanskikh atlasov [A lexical atlas of Russian folk dialects in the world of Slavic atlases]. N. I. Tolstoy (ed.). *Slavyanskoye yazykoznaniye. XI Mezhdunarodnyy syezd slavistov. Doklady rossiyskoy delegatsii: Sbornik dokladov* [Slavic linguistics. XI International Congress of Slavists. Reports of the Russian delegation: Collection of reports]. Moscow: Nauka, 1993. P. 328–338.

Tolstaya 2008 — S. M. Tolstaya. *Prostranstvo slova. Leksicheskaya semantika v obshcheslavyanskoy perspektive* [The word domain. Lexical semantics in the Common-Slavic perspective]. Moscow: Indrik, 2008.

Tolstoy (ed.) 1995–2014 — N. I. Tolstoy (ed.). *Slavyanskiye drevnosti. Etnolingvisticheskiy slovar: v 5 tomakh.* [Slavic antiquities. An ethnolinguistic dictionary: in 5 vol.]. Vol. I. Moscow: *Mezhdunarodnyye otnosheniya*, 1995–2014. P. 386–390.

Shmelev 2008 — D. N. Shmelev. *Problemy semanticheskogo analiza leksiki* [Problems of the semantic analysis of vocabulary]. Moscow: Publishing House LKI, 2008.

Vendina 1998 — T. I. Vendina. *Russkaya yazykovaya kartina mira skvoz prizmu slovoobrazovaniya (makrokosm)* [The Russian linguistic picture of the world through the prism of word formation (macrocosm)]. Moscow: Indrik, 1998.

Vendina 2021 — T. I. Vendina. Motivatsionnyy priznak dialektnogo slova v zerkale analiticheskoy dialektologii [A motivational feature of dialect word in the mirror of analytical dialectology]. *Slavic studies*. 2021. No. 6. P. 87–98. DOI: 10.31857/S0869544X0017703-6.

Получено / received 28.06.2025 *Принято / accepted 5.09.2025*

Acta Linguistica Petropolitana. 2025. Vol. 21.2. P. 46–63
DOI: 10.30842/alp230657372124663

Морская терминология в жизнеописании адмирала Михила де Рюйтера в русском переводе рубежа XVII–XVIII веков

Г. А. Мольков

Санкт-Петербургский Институт истории РАН (Санкт-Петербург, Россия); georgiymolkov@gmail.com; ORCID: 0000-0002-6165-2040

Аннотация. В статье впервые как объект лингвистического описания рассматривается лексика перевода биографии голландского адмирала Михила де Рюйтера, выполненного в Петровскую эпоху и сохранившегося в рукописи из собрания РГАДА. Перевод, как удалось установить в ходе исследования, был выполнен с голландского сочинения Герарда Брандта, изданного в 1687 г. Анализ специальной лексики морского дела, используемой в переводе, показывает, что в узусе переводчика отражена стадия перехода от традиционной русской к новой англо-голландской терминосистеме.

Ключевые слова: русский язык XVII–XVIII в., морская терминология, перевод с голландского, синонимия, лексическое заимствование.

Благодарности. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00420, https://rscf.ru/project/23-18-00420/.

Naval terminology in the biography of Admiral Michiel de Ruyter in Russian translation at the turn of the 17th–18th centuries

Georgiy A. Molkov

St. Petersburg Institute of History, Russian Academy of Sciences (St. Petersburg, Russia); georgiymolkov@gmail.com; ORCID: 0000-0002-6165-2040

Abstract. The article is the first to examine as an object of linguistic description the vocabulary in the translation of the biography of the Dutch admiral Michiel

de Ruyter, made in the Petrine era and preserved in a manuscript from the collection of Russian State Archives of Ancient Documents. As it was possible to establish the translation was made from a Dutch work by Gerard Brandt, published in 1687, and has not been preserved in its entirety: the narrative in the part of the translation reaches the events of July 15, 1665. The translator's usage reflects the early stage of the transition from the traditional Russian to the new Anglo-Dutch terminology, which allows us to date the translation to the 1690s — early 1700s. This is indicated by the presence of vocabulary related to traditional Russian shipping terminology and, according to research and dictionaries, which fell out of use at the very beginning of the Petrine era — the words *сара* 'sailor' and its derivative *сарский*, *добытчикъ* 'pirate', *носникъ* 'pilot', etc. The translator resorts to traditional designations, in contrast to the latest borrowings, in cases where he conveys the content of the original non-literally. At the same time, the foreign-language vocabulary in the translation is characterized by the peculiarities of its recent entry into the Russian language, demonstrating the instability of phonetic and morphological adaptation. Some of the borrowed terms have features of parallel entry from different languages, which indicates the independence of the translator from the original. From the point of view of morphology, the declension of the word *шоутбинахтъ* 'Rear Admiral' (and its phonetic variants) is of interest, having features of the separate formation of its parts; fluctuations are observed in the formation of the gramme of the plural: in the composition of the countable construction, the translator in several cases preserves the Dutch plural markers when borrowing.

Keywords: Russian language of the 18th century, naval terminology, translation from Dutch, synonymy, lexical borrowing.

Acknowlegments. The research was supported by the Russian Science Foundation, Project № 23-18-00420, https://rscf.ru/project/23-18-00420/.

1. Введение

В 1983 году Б. Н. Морозов выявил корпус текстов технической и научной направленности, сохранившийся среди переводов Посольского приказа. Ранее этот «творческий архив переводчиков» [Морозов 1983: 109] второй половины XVII — начала XVIII века не попадал в поле зрения исследователей, поскольку хранился в разрозненном состоянии в фонде библиотеки МГАМИД (фонд 181). 23 тома с десятками переводов, обнаруженные Б. Н. Морозовым, находились в составе нескольких единиц хранения. Наряду с сочинениями из области математики, астрономии, садоводства и др. в этом корпусе можно

выделить группу текстов, связанных с военно-морской тематикой, интерес к которой возрос с началом правления Петра I. Такие тексты в тематической классификации Б. Н. Морозова разделены на несколько рубрик: он выделяет тексты по навигации, гидротехнике, а также исторические сочинения. К сочинениям по истории среди прочих отнесено «Жизнеописание голландского адмирала Михаила Деруйтера» — беловая рукопись первой четверти XVIII в., по оценке Б. Н. Морозова [Морозов 1983: 122][1]. Других подробностей об этом переводе в каталоге Б. Н. Морозова не приводится, и с 1983 года он, насколько нам известно, не привлекал внимания исследователей. До настоящего времени не были установлены язык оригинала, степень сохранности и полнота текста перевода, личность переводчика, а особенности языка перевода не становились объектом изучения.

В данной работе мы ставим задачу описать особенности передачи в русском тексте специфической морской терминологии, часто встречающейся в жизнеописании голландского адмирала. Решение этой задачи становится возможным при установлении источника перевода — этому посвящен *Раздел 2* нашей статьи; в *Разделе 3* мы описываем терминологию перевода с разделением по генетическому принципу и особенности адаптации новых заимствований; в завершающем разделе подводятся итоги исследования.

2. Вопрос об источнике перевода

Оригинальное название перевода[2] — *Описания жития и действия Господина Михаила де Руйтера Арцуха Рыцаря и Луйтнант Адмирала генералъ галанской и вестъфризланской*. Сочинение представляет собой подробную биографию знаменитого голландского флотоводца середины XVII в. Михила Адриансзона де Рёйтера (Рюйтера) (1607–1676). Сохранившийся русский текст имеет объем ок. 15 а. л. и на последнем, 183-м листе обрывается на середине фразы — *хотя нѣкiй аглинской писецъ фа*[т] *живѡ и ложнѡ про деру*[и]*тера пишетъ, акибы ѡнъ*... Как отмечает Б. Н. Морозов, из выявленного им архива «очень

[1] Рукопись РГАДА, ф. 181, № 168.

[2] С рукописью РГАДА мы имели возможность работать по фотокопии.

многое было утрачено» [Морозов 1983: 109], а некоторые из переводов приходилось составлять из перемешанных между собой частей. Возможно, тетради с продолжением биографии М. де Рюйтера были переплетены отдельно и не сохранились. Повествование в доступной на сегодня части перевода разделено на 7 книг (7-я — не до конца) и доходит до событий 15 июля 1665 г.

Жизнеописания адмирала стали появляться сразу после гибели де Рюйтера в 1676 году. Например, на следующий год в Амстердаме вышло двухтомное сочинение Бартелеми Пьела «La vie et les actions mémorables du Sr. Michel de Ruyter» [Piélat 1677]. Сравнение текста русского перевода с рядом европейских биографий М. де Рюйтера позволило нам установить источник перевода — это сочинение классика голландской историографии Герарда Брандта[3] «Het leven en bedryf van den Heere Michiel de Ruiter, hertog, ridder, &c. L. Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt»[4], изданное в 1687 г. Еще в XVII в. это сочинение было переведено на французский и опубликовано под заголовком «La vie de Michel de Ruiter, Duc, Chevalier, Lieutenant Amiral Général de Hollande & de Oüest-Frise» [Brandt 1698], однако русский перевод выполнен, вероятнее всего, непосредственно с голландского. В пользу этого предположения говорит уже название русской версии сочинения. Голландский оригинал — “Het leven en bedryf...” (‘Жизнь и деяния...’) ближе к рус. *Описания жития и действия*, чем французский заголовок “La vie de Michel de Ruiter...”, т. е. ‘Жизнь Михила де Рюйтера...’[5]. О голландском оригинале говорят также некоторые особенности фонетической адаптации заимствований в русском тексте — в частности, чередование *в* / *ф*, отражающее колебание в передаче буквы *v*, ср.: *провинция* / *профинция*, *вице адмиралъ* / *фице адмиралъ*, *Ливорно* / *Лифорно*, *Девризъ* / *Дефризъ* (фамилия) и нек. др. Для основы *вице-* в XVIII в. вариант с *ф* за пределами анализируемого перевода не зафиксирован [Биржакова и др. 1972: 351; СлРЯ XVIII 3: 180], но встречается в переводившихся преимущественно с голландского

[3] https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=bran002

[4] ‘Жизнь и деяния господина Мишеля де Рюйтера, герцога, рыцаря и т. д., лейтенанта генерал-адмирала Голландии и Вестфризландии’.

[5] Ср. также параллельные контексты, рассматриваемые в *Разделе 2*.

и немецкого «Вестях-Курантах» XVII в. [В-К: 125, 153] в составе слова *фицерой*. Французское по происхождению слово *лейтенантъ* представлено в переводе исключительно с начальным *луи-* (встречаются варианты *луитнантъ* и *луитенантъ*): такое написание является редким, оно не отмечено в [СлРЯ XVIII 11: 147] и не встречается в нынешнем объеме картотеки словаря за пределами рассматриваемого перевода. При этом написание *луитенант-* является точной транслитерацией голландского написания соответствующего слова — *luitenant* (в таком виде слово используется и в голландском тексте сочинения), что дополнительно указывает на источник перевода.

Переводы с голландского языка являются характерной чертой Петровской эпохи в связи с его значимостью в этот период: «до конца Северной войны голландский язык в офицерской среде имел значение общепринятого» и был первым западноевропейским языком, которым овладел Петр I [Кротов 2004: 296]. Уже спустя десятилетие, с 1730-х гг. переводы с голландского «совершенно исчезают» [Биржакова и др. 1972: 51]. Если судить по печатным изданиям, издававшимся с параллельным русским и голландским текстом, тематика и жанр переводов с этого языка были довольно узкими, ограничиваясь профессионально-технической литературой, регламентами и другими документами военно-морской сферы [Там же: 53]. На этом фоне анализируемое биографическое сочинение Г. Брандта выделяется в жанровом отношении: оно описывает жизнь Михила де Рюйтера в разнообразных аспектах — его детство, когда будущий адмирал еще *на чердакъ в люлкъ спалъ*, юность, этапы карьеры, социальное окружение, политические и военные события эпохи и т. п.; в текст целиком включены некоторые документы, связанные с деятельностью главного героя. При этом военно-морская тематика все же остается в биографии де Рюйтера основной, и благодаря большому объему источник содержит важный материал для реконструкции начального этапа формирования англо-голландской системы морской терминологии в русском языке — в период, когда ориентация на морской язык Балтийского региона, стимулом к которой послужила поездка Петра I в Голландию и Англию в 1697–1698 гг., еще не стала определяющей (см. [Сморгонский 1936: 18–26; Богородский 2006: 72–73]).

3. Анализ материала

3.1. Традиционная морская терминология

Во многих случаях специальная морская лексика в анализируемом тексте переводится с использованием допетровской терминологии, в основном имевшей славянское происхождение. Традиционные для русского мореходства обозначения в контексте биографии голландского адмирала неизбежно применяются к иностранным реалиям — при описании судов европейского типа, сражений голландского флота, голландской системы морских званий и т. д. По этой причине материал рассматриваемого перевода позволяет проследить, как в ситуации раннего петровского времени происходит взаимодействие единиц сложившегося к концу XVII века морского словаря с новыми заимствованиями.

Ситуация, не связанная с конкуренцией слов, — постоянное использование старого терминообозначения. Таковы, например, самые общие обозначения — *парусъ, корабль, карабельщикъ, якорь* — на фоне слов *zeil, schip, schipper, anker* в голландском оригинале, *прапоръ* при обозначении корабельного флага, глагол *бежать*, известный в значении ‘плыть’ с древнейшего периода [СлРЯ XI–XVII 1: 90], и производные от него приставочные при обозначении перемещения кораблей. Удачным соответствием для голландского слова *naald* ‘игла’, использованным в сочинении в значении ‘иголка компаса’[6], оказалось слово *маетникъ* (л. 5 об.): русское слово характеризуется широким значением ‘качающийся стержень, а также приспособление, где используется подвижная деталь’ [СлРЯ XI–XVII 9: 51], под которое подпадает и стрелка компаса (метонимически — и сам компас). В переводе не встречается заимствованных обозначений лоцмана, известных в русском языке с начала XVIII века — *лоцманъ* (ср. [СлРЯ XVIII 11: 234]) или *пилотъ* (ср. [СлРЯ XVIII]); при переводе слова *peilloot*[7] используется редкое в XVIII веке (не отмечено

[6] См. [WNT]: https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040402&lemmodern=naald (дата обращения: 23.01.2025).

[7] Вариант написания слова *piloot* ‘лоцман’, характерный для XVII века; ср. [WNT]: https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M052759&lemmodern=piloot (дата обращения: 23.01.2025).

в [СлРЯ XVIII]), но зафиксированное в источниках XV–XVII вв. [СлРЯ XI–XVII 11: 428] традиционное обозначение *носникъ* (л. 37 об.). Морские разбойники при наличии в оригинале слов *vryjbuiter* ‘флибустьер’ и *zeerover* ‘пират’ в переводе многократно обозначаются незаимствованными словами (*морской*) *разбойникъ, добытчикъ* (ср. в [СлРЯ XVIII 6: 161] в контексте из «Путешествия» стольника П. А. Толстого 1697–1699 гг. — сочетание *добытчикъ морской*)[8].

3.2. Конкуренция традиционных терминов с новыми заимствованиями

Однако чаще используемые обозначения, не относящиеся к новейшим заимствованиям рубежа XVII–XVIII вв., вступают во взаимодействие с лексикой оригинала. Влияние может проявляться и при отсутствии непосредственного заимствования в тексте перевода. Показательным примером является использование слова *кормъ* в значении ‘руль’. Как слово мужского рода (вм. *корма*) и в таком значении оно не отмечено ни одним из исторических словарей русского языка; можно предположить, что такое употребление является новацией переводчика. Традиционно в этом значении использовалось и в Петровскую эпоху только расширило употребление, применяясь к судам нового типа, слово *сопецъ / сапецъ*, составившее конкуренцию заимствованию из голландского *руль* [Богородский 2006: 244]. Переводчик использует третью возможность — создать не вполне удачный неологизм. Возможно, оттолкнувшись от известного ему в том же значении церковнославянизма *кормило*[9], он переводит слово *roer* словом *корма*[10], позаим-

[8] Однако к заимствованиям переводчик прибегает для обозначения разных типов пиратских судов, переводя *kaper* ‘пиратское судно, капер’ как *каперъ*, а *duinkerker* ‘корабль дюнкеркских каперов’ как *дункеркеръ*; по-видимому, для него такие заимствования допустимы наряду с другими заимствованиями этой лексико-семантической подгруппы — ср. наличие слов *барка, галея, галионъ, фригатъ, шлюпа* и т. п. в переводе.

[9] Ср. примеры употребления из житийных текстов XVI–XVII вв. [СлРЯ XI–XVII 7: 319].

[10] Слово в языке XVII — начала XVIII в. имеет, как и в современном употреблении, более широкое значение, чем голландское *roer*, т. к. обозначает всю «заднюю часть судна» [СлРЯ XI–XVII 7: 318].

ствовав при этом из оригинала грамматический род (мужской) и более узкий объем понятия, передаваемый голландским словом: *werdt het schip van den Kapitein Jan Gideonsz Verburg het* ***roer*** *afgeschooten* ‘у корабля капитана Яна Гидеонса Фербурга оторвало руль’ (с. 51) — *w̄ карабля капитана гидїона фербурха* ***кормъ*** *w̄стрѣлянъ* (л. 35); *het schip* ⟨...⟩ *zyn* ***roer*** *door storm verloor* ‘судно ⟨...⟩ потеряло руль во время шторма’ (с. 140) — ***кормъ*** *w̄ того карабля w̄бился* (л. 94).

В связи с проблемой лексических заимствований в исследуемом переводе заметна черта, характерная для терминологии большинства функциональных сфер раннего Нового времени [Кутина 1964: 81; Биржакова и др. 1972: 289–290], — избыточная синонимичность с использованием генетически разнородных наименований. Наибольший интерес представляет употребление пар терминов *караванъ / флотъ* ‘флот’, *сара / матрозъ* ‘матрос’ и *щеголъ / мастъ* ‘мачта’ — достаточно частотных в источнике для того, чтобы проследить их дистрибуцию.

Для обозначения флота в исследуемом переводе регулярно используется как старый, известный с 1610-х гг. способ обозначения *караванъ* [СОРЯ 10: 191], так и новый галлицизм *флотъ* (с вариантом в женском роде *флота*), известный в голландском языке с XIV в. [WNT][11] и используемый для обозначения флота в голландском оригинале биографии адмирала де Рюйтера. Неологизм используется в русском тексте почти втрое чаще, чем более раннее заимствование, — *флотъ / флота*[12] 367 раз, а *караванъ* только 140 раз. Контексты, в которых присутствуют обе лексемы, показывают, что видимых семантических различий между ними нет и переводчик может прибегать к синонимам во избежание повторов:

> *Door het afzenden van deeze tien scheepen werdt de Ruiters* ***vloot****, die nu op het punt stondt om iet t’onderneemen, merkelyk verzwakt. Ook meenden eenigen, dat de Heer van Wassenaar dat afhaalen en geleiden van de gemelde koopvaardyen behoeftvlooten, aan tien scheepen, uit zyne* ***vloot*** ‘Отправка этих десяти кораблей значительно ослабила флот де Рюйтера, который готовился вступить в бой. Некоторые также считали, что лорду фан Вассенаар

[11] https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=66881&lemmodern=vloot&Betekenis_id=66881.sense.3 (дата обращения: 23.01.2025).

[12] Ср. женский род французского слова *la flotte*.

требовалось десять кораблей из его флота для конвоирования вышеупомянутых торговых судов’ (с. 186) — *отосланїеи сихъ десяти караблеи деруйтерова* ***флота*** *веѣми безсилна стала, которая готовилася за нѣкое нужное дѣло принятся. їные хотѣли дабы адмиралъ фанвасенаръ отъ своего* ***каравана****, которымъ онъ домои шолъ 10 караблеи на провожанїе оставилъ* (л. 115).

Тем не менее в использовании двух слов есть важное отличие: по нашим наблюдениям, неологизм *флотъ* переводчик использует только как соответствие слову *vloot* в оригинале, т. е. непосредственно заимствует его в процессе перевода, тогда как более привычное *караванъ* он может употребить и при более свободных переводческих решениях — ср. *караванъ королевскихъ воинскихъ кораблей* (л. 48 об.) как перевод для *eenig oorlogsschip der Engelsche republyke* (с. 69), букв. ‘какой-либо из военных кораблей Английской республики’. Похожая ситуация наблюдается и в отношении пары *сара* — *матрозъ*. Употребление слова *сара*, по наблюдениям Б. О. Унбегауна, не выходит за пределы XVII в. [Unbegaun 1957: 105], что подтверждается данными разных редакций первого Морского устава, где *сара* из самой ранней версии 1692 г. заменяется на *матрозъ* в редакции 1706 г. [Вознесенская, Мольков 2024: 40]. В тексте «Жизнеописания голландского адмирала Михаила Деруйтера» слово *сара* существенно менее частотно, чем *матрозъ* — оно встречается всего около десятка раз, тогда как *матрозъ* представлено более чем 40 примерами, в соответствии с гол. *matroos*. При меньшей частотности синоним *сара* отличается и более широким кругом значений, выступая в качестве обозначения для нескольких флотских званий низшего ранга. Кроме собственно матроса (при гол. *matroos*), с использованием корня *сар-* в переводе может быть обозначен также юнга — в составе окказионального сочетания *сарской малой*, ср.: *ik heb, ontrent vyf of zesenveertig jaaren geleden, te Vlissingen een* ***bootsmans jongen*** *gekent* (с. 312) — *азъ 46 лѣтъ назадъ зналъ на караблѣ из города вліисинценъ нѣкоего* ***сарского малово*** (л. 163)[13]; а также мичман — при переводе гол. *adelborst* ‘мичман’: *Daar quam een koegel, die zyn’ Opperschryver Paulus Adriaanszoon Klerk, een’* ***Adelborst***

[13] В другом контексте сходное обозначение переведено другим способом — *Hooghbootsmans jong* (букв. ‘слуга старшего боцмана’, с. 6) как *боцмановъ слуга* (л. 5).

*Bellechere, met een' **matroos** te gelyk wegh nam*[14] (с. 363) — *писарь его, да шляхтичь, да матрωз о^{0}ною пулкою убиты, ї многїе **матрωзы** и **сары*** (180 об.). В приведенном контексте присутствуют оба слова, что демонстрирует попытку переводчика разграничить их значения. Таким образом, слово *сара* и производное от него *сарский*, как и рассмотренное выше *караванъ*, входят в узус переводчика, что, вероятно, может служить датирующим признаком и конкретизировать время перевода, ограничив его 1690-ми годами. Примерно с одинаковой активностью переводчик пользуется вариантами для обозначения корабельной мачты — как традиционным словом *щегла* (в переводе — как слово мужского рода *щеголъ*), широко бытовавшим в России «на судах важнейших речных путей» [Богородский 2006: 203], так и голландским заимствованием *мастъ / маста*. В их взаимодействии наглядно проявляется изначальная асимметрия разных терминосистем и разница в функциональной нагрузке. Термин *мачта* и его варианты в рамках заимствуемой терминосистемы входил в группу обозначений разных частей рангоута, к которой относились также «стеньги, реи, гафеля, гики, бушприт, утлегарь и проч. деревья, на которых ставятся паруса» [Вахтин 1894: 273], отражающие особенности сложных конструкций морских судов. Термин речного судоходства *щегла* изначально рассчитан на менее дробную систему, поэтому в переводе он используется как соответствие не только для голландского *mast*, например: *dit schip masteloos* (с. 40) — *сей кара^{б}ль без щегловъ* (л. 27 об.); но и регулярно переводит слово *steng* ‘стеньга’[15]: *zyn **steng** was afgeschooten* (с. 51) — *съ его карабля **щеголъ** w̄стрѣля^{н}* (л. 35); *hunne **stengen** werden afgeschooten* (с. 54) — *изъянъ терпѣли и^{х} **щеглы*** (л. 37 об.) и др.; а также встречается (в форме множественного числа) в собирательном смысле как соответствие общего обозначения рангоута — гол. *rondthout*: *schooten ⟨...⟩ naar ‘t **rondthout**, wandt en zeilen* (с. 42) — *по парусамъ, по **щегламъ**, да по верва^{м} стреляли* (л. 29 об.). О расширении

[14] Буквально: ‘Вдруг выстрелила пуля, которая унесла жизни его <де Рюйтера> главного писаря Паулюса Адриансона Клерка, мичмана Бельшера и матроса’ (имена при переводе опущены).

[15] Б. Л. Богородский отмечает составное наименование *наставочная щегла* в этом значении [Богородский 2006: 204].

семантики слова *щеголъ* под влиянием оригинала также говорят терминосочетания с его участием. По наблюдениям Б. Л. Богородицкого, в раннепетровское время термин *щегла* начинает «расширять сферу своего употребления и обрастать определениями» [Богородский 2006: 204], компенсируя нехватку специальных терминов. К подобным обозначениям приходится прибегать и переводчику исследуемого сочинения — в таких случаях новое название мачты может использоваться дополнительно, как пояснение, ср.: *groote mast* (с. 22) — *болшой щеголъ или мѣстъ*[16] (л. 15 об.). Возможно и полукалькированное составное наименование грот-мачты — с использованием заимствования *мастъ* уже не в качестве пояснения: *hun groote masten* (с. 62) — *без бо*^{т}*шихъ мастѡвъ* (л. 43 об.). С использованием слова *щеголъ* переводятся также сложносоставные голландские названия стеньг. Показателен контекст с перечнем подобных обозначений, в котором идет речь о премиях за добытые с корабля противника флаги разных типов: *van de volgende vlaggen van de* ***voorstengen****, yder tweehondertenvyftigh gulden; voor de vlaggen van de bezaansmast, yder hondertenvyftig gulden, en voor de vlaggen van achteren yder vyftig gulden* (с. 53) — *за прапо*^{р} ***передняго щегла*** *по 250 гулденъ, и по по*^{т}*тѡра ста и по 50 гулденъ* (л. 37). Этот пример демонстрирует также отказ переводчика подбирать соответствия каждому из перечисленных типов рангоута, за которые назначаются премии: в оригинале кроме форстеньг речь идет о выплате ‘за флаги бизань-мачты — по сто пятьдесят гульденов каждый, а за флаги ахтерштевня — по пятьдесят гульденов каждый’. В переводе слова *bezaansmast* ‘бизань-мачта’ и *achter* ‘ахтерштевень’ пропущены (возможно, из-за сложности в подборе им русского эквивалента), при этом переводчика не смутило, что фраза стала неясной (в каких случаях за флаг с передней мачты полагается 250 гульденов, а в каких — по 150 или по 50).

Влияние голландской системы номинаций на русский перевод отражается также в использовании составных наименований различных типов кораблей. Как правило, подобные наименования в голланд-

[16] Вариант с гласным *е* отмечен и в других источниках конца XVII в. — как *меест, мешт* в качестве английского эквивалента голландским вариантам с гласным *а* [Сморгонский 1936: 92].

ском языке имеют сложносоставной характер, ср.: *waterscheepkens* (букв. ‘водные кораблики’, с. 81) переводится как *водовозные корабли* (л. 55 об.), сходное *waterscheepen* (с. 149) — как *водяные корабли* (л. 100), *roofscheepen* ‘пиратские суда’ (с. 16) — как *добычные корабли* (л. 11 об.), *brandtscheepen* ‘брандеры’ (с. 29) — как *сожигательные корабли* (л. 20), *koopvaardyscheepen* (с. 81) — как *торговые корабли* (л. 55 об.), *oorlogsschip* (с. 16) — как *воинский карабль* (л. 11 об.) и нек. др. Один из показателей устойчивости этой модели образования терминов — ее независимое от оригинала использование, в том числе и в качестве соответствия для односложных несоставных терминов. Например, в русском переводе более 40 раз используется заимствованное на рубеже XVII–XVIII веков из голландского и немецкого языков слово *брандеръ* [СлРЯ XVIII 2: 124], но при первом упоминании этого типа судов в биографии адмирала де Рюйтера переводчик поясняет заимствование с помощью словосочетания: *ses branders* (с. 24) — *б бра*^{н}*деро*^{в} *зажигателнїи кара*^{б}*ли* (л. 17); несогласование по падежу, возможно, говорит о том, что изначально пояснение существовало в виде глоссы на полях. Более сложной задачей было подобрать адекватное выражение для перевода гол. *prys* ‘трофейный, захваченный вражеский корабль’[17]. И для этого типа судна переводчик использовал составное наименование из слова *карабль* и определения к нему, переведя *prys* как *взятый карабль* (например, на л. 12, 94 и др.). Выражение, переводимое словосочетанием «прилагательное + существительное», в оригинале может иметь другую грамматическую структуру. В частности, выражение *воинский карабль* используется для перевода гол. *scheepen van oorlogh* (букв. ‘корабли для войны’), а также в случаях неточного перевода — передачи общего смысла фразы: *In ‘t zelve jaar begost hy ten oorlogh te vaaren* букв. ‘в том же году он <де Рюйтер> стал принимать участие в военных действиях’ (с. 11) — *В томъ году ѡпять нанялся на* ***воинской карабль*** (л. 5 об.).

Составные номинации используются в русском переводе для передачи терминов других групп. Кроме рассмотренных выше номинаций

[17] По данным КС XVIII, в морском языке XVIII века бытовало заимствование *призъ* — в данном значении слово вошло в русский язык при Петре I. Однако примеры его использования встречаются только с 1710-х гг., что дополнительно подтверждает привязку перевода к более раннему времени.

кораблей и мачт они отмечены также в названиях парусов — *великой парусъ* (л. 22 об.) для перевода гол. *groot zeil* (с. 32), якорей — плехт- и дагликс-анкер (*plecht-, daagelyks anker*, с. 62) по-русски переданы как *плехтский* и *повседневный якорь* (л. 43 об.)[18], типов флота — *воинскїе караваны* (л. 19) соответствует гол. *krygsvlooten* (с. 27); в обозначении порта — *карабелное пристанище* (л. 4 об.) для перевода гол. *zeehaven* (с. 4).

3.3. Особенности адаптации заимствований

Черты начальной стадии формирования новой морской терминологии в исследуемом переводе прослеживаются в тех случаях, когда для обозначения понятия последовательно используется заимствование. Многообразие способов передачи фонетического облика новых заимствований, свойственное языку эпохи [Биржакова и др. 1972: 184–185] по причине множественности влияний разных языков-источников, отражено и в исследуемом переводном источнике. Особенно сложные для фонетической адаптации голландизмы могут иметь в тексте несколько вариантов написания. Наибольшей вариативности, по нашим наблюдениям, подвержены написания двух слов — названия голландского военно-морского чина *schoutbynacht* ‘шаутбенахт’ (его первая часть представлена вариантами *шойт-, шаут-, шоуйт-, шоут-*) и эскадры, в голландском обозначаемой галлицизмом *esquadre* (варианты в переводе — *есквадра, есквадръ, ешквадрь, шквадръ, шквадронъ, шквадрона*)[19]. Фонетико-орфографические варианты в тексте встретились для ряда других слов: *шлупа / шлюпа*, *стирман- / стюрман-*, *фрегаттъ / фригатъ, ѳлеит- / ѳлуит-*, упоминавшиеся *плехт- / плихт-*, *вице- / фице-* и нек. др. Вариантность в оформлении первого из этих слов — *шаутбенахтъ* — усиливается в связи с его морфологической неста-

[18] Якорь плехт в тексте дважды переводится также с помощью составного слова *плихтанкерь* (л. 43 об., 71). Оба термина, по данным [СлРЯ XVIII], известны в XVIII веке как заимствования более позднего периода — для *плихтъ анкера* рассматриваемый перевод дает наиболее раннее употребление (в словаре — в огласовке *плехтъ* с 1746 г., а композит *плехтанкеръ* с 1751 г. [СлРЯ XVIII 20: 28]); слово *дагликсъ* фиксируется словарем с 1720 г. [СлРЯ XVIII 6: 26].

[19] Из них написания на *шкв-* говорят об английском влиянии на произношение этого слова [Биржакова и др. 1972: 407].

бильностью. Прозрачная внутренняя форма этого слова в голландском — ср. в современной орфографии *schout-bij-nacht*, т. е. ‘смотри ночью’ [ЭСБЕ 77: 207] — заставляет переводчика воспринимать его как словосочетание. В связи с этим слово в исследуемом переводе имеет черты раздельнооформленности, склоняясь тремя разными способами. Реже всего оно ведет себя как полноценное слово мужского рода, хотя и пишется с пробелом между частями: *яганъ лаусонъ* ***шоитъ бинахто***^{м} (л. 34) или как комплекс со склоняемой первой частью: *онъ поставленъ* ***шойтомъ бинахтъ*** (л. 8), *вручилъ янъ арсону* ***в***^{р}*гаву, бу*^{о}*то* ***шоиту бинахтъ*** (л. 18 об.). В десятках других примеров склоняются обе части этого термина: *w̄тпишу де я* ***к шойту бинахту*** *к трѡмпу* (л. 50), *8* <кораблей> ***по***^{о} ***шаутомъ бина***^{х}***то***^{м} *браколемъ* (л. 98 об.), ***на шо***^{ц}***та бина***^{х}***та*** // *фаннесса… напала престрашная погода* (147–147 об.), *послали* ***шойта бинахта*** *ѳандерзана* (л. 173) и мн. др. Тот же тип словоизменения в единичном примере встретился в слове *вицеадмиралъ* (оно часто пишется в источнике раздельно): *буде они нечаемо того похотятъ, ї* ***фицу адмиралу*** *ї капитано*^{м} *тому противитися* (л. 48 об.).

Еще одна особенность морфологической адаптации новых заимствований — сохранение в некоторых случаях голландских показателей множественного числа. Встретились заимствования с окончанием *-s* — с добавлением русской флексии множественного числа: *августа въ 10* ^{де} *прише*^{л} *деруйтеръ по*^{о} *остендено*^{м} *к своему каравану, в которомъ было 15 кораблей воинскихъ, да* ***два бра***^{ц}***дера***. ***двѣ*** *иные* ***брандерсы***, *невѣдомо для чего бе*^{з} *ука*^{зу} *домой побѣжали* (л. 17) — в контексте соседствуют стандартная и аномальная формы слова *брандеръ* в составе квантитативной конструкции. Также в двух примерах отмечено сохранение окончания *-еп* без использования русского показателя множественности: *мочно ли ему тамо добится пять* ***кабелто***^{ц}***венъ*** *тѣмъ кара*^{б}*лемъ которые по*^{о} *вогданескимъ ѡсталися, о сихъ канатахъ принужденъ адмиралите*^{ц}*ту бить чело*^{м} (л. 70 об.); *приказали а*^{о}*миралите*^{ц}*скїе совѣтники деру*^{ц}*теру то*^{т}*часъ в тѣзель ѣха*^{тї} *ї с кара*^{б}*лями капитана ѳа*^{ц}*дерзана, рутери*^{ц}*га, рихевина, и кара*^{б}*ле*^{м} *капитана петра ѳа*^{ц}*зангинъ, ї деся*^{т}*ми* ***ѳле***^{цт}***шепе***^{ц}[20] *с са*^{л}*датами*

[20] В оригинале — *fluitscheepen*, форма множественного числа от *fluitscheep* ‘флейт’ (парусное транспортное судно), см.: [WNT]; https://gtb.ivdnt.org/iWDB/

(л. 105). Обе формы, как и форма *брандерсы*, использованы в составе квантитативной конструкции — по-видимому, эта позиция вызывала дополнительные затруднения при формообразовании в новых заимствованиях.

4. Заключение

Рассмотренный материал позволяет оценить характер морской терминологии в русском переводе жизнеописания голландского адмирала Михила де Рюйтера и степень влияния на нее словоупотребления оригинала в условиях усвоения новой англо-голландской системы морских терминов русским языком на рубеже XVII–XVIII вв. Оригиналом перевода, как нам удалось установить, послужило сочинение Герарда Брандта, написанное по-голландски. Появление перевода, единственный список которого датируется достаточно широко первой четвертью XVIII века, на наш взгляд, должно быть отнесено к самому началу XVIII или к последнему десятилетию XVII в. На это указывает наличие в нем лексики, относящейся к традиционной русской судоходной терминологии и, по данным исследований и словарей, вышедшей из употребления до начала Северной войны, — слов *сара* и производного *сарский*, *добытчикъ*, *носникъ* и нек. др. Именно к традиционным обозначениям, а не к новейшим заимствованиям переводчик прибегает при недословном изложении содержания оригинала. Вместе с тем иноязычная лексика в переводе демонстрирует нестабильность фонетической и морфологической адаптации, свидетельствующую о ее недавнем вхождении в русский язык. Некоторые из заимствованных терминов имеют черты параллельного вхождения из разных языков, что говорит об относительной независимости переводчика от оригинала применительно к интересующей нас группе лексики. В частности, названия мачты (не только *мастъ* vs гол. *mast*, но и *местъ*) и эскадры (не только варианты на *эск(в)-*, но и на *шкв-*) свидетельствуют о влиянии на узус переводчика английской терминологической системы. Подводя итоги исследования, можно предположить, что описанные

---

search?actie=article&wdb=WNT&id=M016762.re.2&lemmodern=fluitschip] (дата обращения: 23.01.2025).

особенности терминологической лексики рассмотренного перевода отражают этап незавершенного перехода к англо-голландской морской терминологии Балтийского региона.

Литература

Биржакова и др. 1972 — Е. Э. Биржакова, Л. А. Войнова, Л. Л. Кутина. Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования. Л.: Наука, 1972.

Богородский 2006 — Б. Л. Богородский. Очерки по истории слов и словосочетаний русского языка. СПб.: Издательство СПбГУ, 2006.

Вахтин 1894 — Объяснительный морской словарь (настольная книга для имеющих отношение к морскому делу) / В. В. Вахтин (сост.). 2-е доп. изд. СПб.: Издание комиссионера Морского министерства Н. Г. Мартынова; типография В. Безобразова и К, 1894.

Вознесенская, Мольков 2024 — И. А. Вознесенская, Г. А. Мольков. Первые морские уставы Петровского времени: переводы и адаптация // Studi Slavistici. 2024. Vol. XXI (2). С. 29–47.

Кротов 2004 — П. А. Кротов. Голландцы и фламандцы в Российском флоте в Петровскую эпоху // Э. Вагеманс, Х. ван Конингсбрюгге (ред.). Голландцы и бельгийцы в России, XVIII–XX вв. СПб.: Алетейя, 2004. С. 290–302.

Морозов 1983 — Б. Н. Морозов. Из истории русской переводной научной и технической книги в последней четверти XVII — начале XVIII вв. (Архив переводчиков Посольского приказа) // Р. А. Симонов, А. А. Гречихин (ред.). Современные проблемы книговедения, книжной торговли и пропаганды книги. Междуведомственный сборник научных работ. Вып. 2. М.: Московский полиграфический институт, 1983. С. 107–124.

Сморгонский 1936 — И. К. Сморгонский. Кораблестроительные и некоторые морские термины нерусского происхождения. М.; Л.: Издательство АН СССР, 1936.

Unbegaun 1957 — B. O. Unbegaun. Eine altrussische Bezeichnung des Matrosen // Zeitschrift für Slavische Philologie. 1957. Vol. 26. No. 1. P. 104–114.

Источники

В-К — С. И. Котков (ред.). Вести-Куранты, 1648–1650 гг. М.: Наука, 1983.

СлРЯ XI–XVII — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–32–. М.: Наука, 1975– (издание продолжается).

СлРЯ XVIII — Словарь русского языка XVIII века. Вып. 1–22. Л.; СПб.: Наука, 1984–2019; Вып. 23–. М.: Издательский дом ЯСК, 2024– (издание продолжается).

СОРЯ — Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII вв. Вып. 1–10–. СПб.: Наука, 2004– (издание продолжается).

ЭСБЕ — Энциклопедический словарь. Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. Т. 1–41 и доп. СПб.: Семеновская Типолитография, 1890–1907.

Brandt 1687 — Het Leven en bedryf van den Heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder, &c. L. Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt. Beschreeven door Gerard Brandt. Met schooner koopere platen verciert. Amsterdam: Wolfgang, Waesberge, Boom, Van Someren en Goethals, 1687.

Brandt 1698 — La Vie de Michel de Ruiter, Duc, Chevalier, Lieutenant Amiral Général de Hollande & de Oüest-Frise. Où est comprise l'histoire maritime des Provinces Unies, depuis l'an 1652. jusques à 1676. Traduite du hollandois de Gerard Brandt [par Nicolas Aubin] et enrichie de Figures. Amsterdam: Pieter and Jan Blaeu, for Johannes Janssonius van Waesberge, Hendrick Boom, Joannes van Someren, and Rembertus Goethals, 1698.

Piélat 1677 — La vie et les actions mémorables du Sr. Michel de Ruyter, Duc, Chevalier & Lt Amiral General des Provinces Unies. Amsterdam: Published by Henry & Theodore Boom, 1677.

WNT — Woordenboek der Nederlandsche Taal (электронный ресурс). URL: https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M012436&lemmodern=busschieter&domein=0&conc=true (дата обращения: 30.01.2025).

References

Birzhakova et al. 1972 — E. E. Birzhakova, L. A. Voynova, L. L. Kutina. *Ocherki po istoricheskoy leksikologii russkogo yazyka XVIII veka. Yazykovyye kontakty i zaimstvovaniya* [Essays on the historical lexicology of the Russian language in the XVIII century: Language contacts and borrowings]. Leningrad: Nauka, 1972.

Bogorodskiy 2006 — B. L. Bogorodskiy. *Ocherki po istorii slov i slovosochetaniy russkogo yazyka* [Essays on the history of words and phrases of the Russian language]. St. Petersburg: St. Petersburg State University Publishing House, 2006.

Vakhtin 1894 — *Obyasnitelnyy morskoy slovar (nastolnaya kniga dlya imeyushchikh otnosheniye k morskomu delu)* [Explanatory marine dictionary (a handbook for those involved in maritime affairs)] / V. V. Vakhtin (comp.). 2nd iss. St. Petersburg: Printing House of V. Bezobrazov & Co, 1894.

Voznesenskaya, Molkov 2024 — I. A. Voznesenskaya, G. A. Molkov. Pervyye morskiye ustavy Petrovskogo vremeni: perevody i adaptatsiya [The First maritime charters of the Petrine epoch: Translations and adaptation]. *Studi Slavistici*. 2024. Vol. XXI (2). P. 29–47.

Krotov 2004 — P. A. Krotov. Gollandtsy i flamandtsy v Rossiyskom flote v Petrovskuyu epokhu [The Dutch and Flemings in the Russian navy during the Peter the Great era]. E. Vagemans, H. van Koningsbrügge (eds.). *Gollandtsy i belgiytsy v Rossii,*

XVIII–XX vv. [The Dutch and the Belgians in Russia, 18th–20th centuries]. St. Petersburg: Aleteyya, 2004. P. 290–302.

Morozov 1983 — B. N. Morozov. Iz istorii russkoy perevodnoy nauchnoy i tekhnicheskoy knigi v posledney chetverti XVII — nachale XVIII vv. (Arkhiv perevodchikov Posolskogo prikaza) [From the history of Russian translated scientific and technical books in the last quarter of the 17th — early 18th centuries (Archive of the translators of the Ambassadorial Office)]. R. A. Simonov, A. A. Grechikhin (eds.). *Sovremennyye problemy knigovedeniya, knizhnoy torgovli i propagandy knigi.* Mezhduvedomstvennyy sbornik nauchnykh rabot [Modern problems of book science, book trade and book propaganda. Interdepartmental collection of scientific works]. Iss. 2. Moscow: Moscow Polygraphic Institute Press, 1983. P. 107–124.

Smorgonskiy 1936 — I. K. Smorgonskiy. *Korablestroitelnyye i nekotoryye morskiye terminy nerusskogo proiskhozhdeniya* [Shipbuilding and some marine terms of non-Russian origin]. Moscow; Leningrad: Publishing House of the USSR Academy of Sciences, 1936.

Unbegaun 1957 — B. O. Unbegaun. Eine altrussische Bezeichnung des Matrosen. *Zeitschrift für Slavische Philologie*. 1957. Vol. 26. No. 1. P. 104–114.

Получено / received 1.02.2025 *Принято / accepted 15.07.2025*

Acta Linguistica Petropolitana. 2025. Vol. 21.2. P. 64–103
DOI: 10.30842/alp2306573721264103

Дискурсивные стратегии репрезентации своего языка среди тюркоговорящих греков России

И. О. Никитина

Европейский университет в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, Россия);
solreyne@gmail.com; ORCID: 0000-0003-2696-8362

Аннотация. В статье на материале полевых исследований 2022–2024 гг. рассматривается языковая ситуация среди греков-тюркофонов, проживающих на Северном Кавказе. Особое внимание уделено нарративам тюркоязычных греков, восприятию идиома внутри языковой группы, а также вопросу языковой лояльности. Исследование демонстрирует сложность отношения к идиому как среди греков-эллинофонов, так и среди носителей, противоречие между восприятием языка как «вражеского» и его сохранением как традиции предков.

Ключевые слова: греки России, Северный Кавказ, понтийские греки, греки-тюркофоны, этническая идентичность, языковая лояльность, тюркские языки, языковые идеологии.

Благодарности. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда «Славяно-неславянские пограничья: похоронно-поминальный обряд в этнолингвистическом освещении», № 22-18-00484-П, https://rscf.ru/project/22-18-00484/.

Discursive strategies of representing one's own language among Turkic-speaking Greeks of Russia

Inna O. Nikitina

European University at St. Petersburg (St. Petersburg, Russia); solreyne@gmail.com; ORCID: 0000-0003-2696-8362.

Abstract. This paper examines the linguistic representation strategies among the Turkic-speaking Greeks of Russia, focusing on the role of language as an attribute of ethnic identity. The study is based on the field research conducted in 2022–2024 among the Greek communities of the North Caucasus where two linguistic groups coexist — Pontic Greek-speaking and Turkic-speaking Greeks (who speak the historical northeastern dialect of the Turkish language). The main theoretical framework of the study is the concept of language ideologies. The research examines discursive representations of the historical language shift of certain groups of Greek populations in the Ottoman Empire where some Greek communities switched to a Turkic dialect while maintaining their Orthodox Christian faith. The article delves into the narratives of contemporary speakers, analyzing how they perceive and articulate their linguistic heritage. The perception of the Turkic idiom among the Greeks is a much more complex matter than their perception of Pontic which is a dialect of Greek and therefore is strongly connected to Greek ethnicity. While many Turkic-speaking Greeks recognize their dialect as a "foreign" or "imposed" language (as it is the "language of an enemy"), it can at the same time serve as an attribute of their own identity and cultural continuity as the language of their ancestors. The historical memory of the community regarding the persecution of Greeks in the Ottoman Empire plays a major role in their perception of Turkic. This paper analyzes a number of discursive strategies used by speakers of the idiom to emphasize its uniqueness and distinctness from modern Turkish, such as referring to their language as "Ottoman," "Anatolian," or "Tsalkian". In addition, attention is given to the functioning of the Turkic idiom in the Internet. The study investigates the paradoxical nature of language loyalty in this community: despite the negative historical connotations, the Turkic dialect can remain a significant element of group cohesion and is actively used in domestic communication.

Keywords: Greeks of Russia, Pontic Greeks, North Caucasus, Turkophone Greeks, ethnic identity, language loyalty, Turkic languages, language ideologies.

Acknowledgements. Work was supported by a grant from the Russian Science Foundation No. 22-18-00484-П, https://rscf.ru/project/22-18-00484/.

1. Пролог

Несмотря на то что греки уже более века называют диалект турецкого, на котором говорят, «чужим» (что не исключает эндолингвонима ***bizim*** *dilca* ‘**наш** язык’[1]), он сохраняется, передается и используется в общении. Нередко мои информанты не могли понять, зачем я спрашиваю и записываю слова на этом языке, какую они могут иметь «научную ценность» и почему интересны мне. В регионе Кавказских Минеральных Вод, где я проводила полевую работу, большинство греческого населения тюркоязычно, и, приехав туда в начале 2023 года, я вообще впервые в жизни столкнулась с греками-тюркофонами. Из первой полевой поездки я, в силу разных обстоятельств, уехала с убеждением, которое тиражировали и предыдущие исследователи тюркоязычных греков Кавказа: «они не любят этот язык и не хотят говорить на нем». Однако когда я вновь посетила поле, моя вера в то, что на диалекте не хотят говорить, поколебалась. Я проводила вечера в тюркоязычных семьях и видела, что греки постоянно общаются на языке между собой, я беседовала с людьми, которые не испытывают к своему идиому никаких негативных чувств и учат ему детей и внуков. Я слышала, как его использует и молодое поколение, как легко греки переключаются с русского на *bizim dilca*. Конечно, турецкий диалект провоцирует множество споров внутри сообщества. Отношение к нему находится в спектре от тотального неприятия и сознательного перехода исключительно на русский до уважения и любви к диалекту как к языку предков. В этой статье я проанализирую, как греки осмысляют свой опыт говорения на диалекте.

В последние десятилетия в рамках лингвистической антропологии активно изучается феномен языковых идеологий — представлений носителей о своем языке, формирующих его восприятие и практики использования в сообществе. Особый интерес представляют случаи, когда язык становится ареной социальных противоречий, объектом стигматизации или внутреннего конфликта. Настоящее исследование

[1] Для записи лексем на тюркском диалекте греков была выбрана графика азербайджанского языка, так как она наиболее адекватно передает фонетические особенности идиома.

посвящено тюркскому диалекту, на котором говорит часть греческого населения Северного Кавказа. В центре моего текста — конкурирующие представления носителей, в которых идиом может становиться как источником стыда, так и безусловной ценностью. Основной вопрос, на который я пытаюсь ответить в статье, звучит так: какие нарративы и языковые идеологии используются для легитимации или стигматизации идиома греками-тюркофонами Северного Кавказа? Задача статьи — проанализировать дискурсивные стратегии репрезентации своего языка среди тюркоязычных греков России и показать, как в условиях антагонистичных идеологий язык может восприниматься одновременно как предмет стыда и как маркер этнической принадлежности.

Основной теоретической рамкой исследования является понятие языковых идеологий, понимаемых как «социально, политически и морально нагруженные культурные представления о том, как функционирует язык в социальной жизни и какую роль играют те или иные языковые формы в конкретном обществе» [Woolard 2016: 7]. В работе используется также понятие культурной интимности [Herzfeld 1997], позволяющее описывать практики, которые, с одной стороны, могут восприниматься как маргинальные или нежелательные в публичном пространстве, а с другой — как неотъемлемые и значимые внутри сообщества.

Методологически исследование основано на качественном антропологическом подходе. Я считаю, что применение анкетирования и количественного опроса в случае тюркоговорящих греков является нерепрезентативным способом анализа, так как поле, в котором работает исследователь, крайне сенситивно. Анкета или письменный опрос — способы «демонстративного» приписывания языка и языковой компетенции. Следовательно, их результаты позволяют судить лишь о том, какими носители или сообщество хотят предстать в глазах исследователей (или более широкой общественности), но никак не об объективной языковой ситуации, которая на поверку оказывается более многогранной. Здесь мне кажется уместным сделать отсылку к работе А. Аклаева, которая отражает результаты социолингвистического опроса среди греков Грузии, посвященного языковой ситуации [Аклаев 1988]. Так, он пишет, что в тюркоязычных селах греческий язык признает родным большее число людей, чем число тех, кто

реально может на нем говорить [Там же: 66]. Отмечу, что равным образом в случае моего исследования возможно было бы декларирование носителями отказа от турецкого языка (при проведении письменного или даже устного опроса), но подтвердить эту информацию можно было бы только при включенном наблюдении за сообществом, что и предполагает антропологический метод.

Настоящая статья основана на материале полуструктурированных и глубинных интервью с греками на Северном Кавказе, собранных в ходе полевой работы 2022–2024 гг. В качестве основного источника для анализа выступают интервью с греками-тюркофонами, записанные преимущественно в регионе Кавказских Минеральных Вод (г. Ессентуки, ст. Ессентукская, пос. Санамер, ст. Суворовская) в ходе трех полевых выездов в 2023 году[2]. Общее число информантов-тюркофонов, с которыми записывалось интервью — около 45 человек в возрасте от 25 до 90 лет. У многих из собеседников я брала повторные интервью. В наших беседах особое внимание уделялось устной истории, языковой ситуации, биографическим нарративам и разговорам о ритуалах (похоронно-поминальных, свадебных, а также праздниках). Кроме того, я использую материалы, полученные в ходе включенного наблюдения и неформальных бесед, а также — материалы из онлайн-пространства. Для контекста и сравнения привлекаются интервью с греками-эллинофонами, записанные в 2022–2024 гг. как в районе Кавказских Минеральных Вод, так и в других регионах (Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия — Алания).

С 2022 г. я провожу полевую работу среди греков Северного Кавказа, потомков выходцев из исторической области Понта на северо-востоке Малой Азии. Предки моих собеседников переселились из Османской империи в Российскую в XIX — начале XX вв. из причерноморских областей Малой Азии, а также из Карса [Xanthopoulou-Kyriakou 1991: 360]. Миграции были спровоцированы русско-турецкими войнами и впоследствии геноцидом греков в Османской империи. Местами но-

[2] Полевая работа проводилась мной как в составе этнолингвистических экспедиций совместно с К. А. Климовой и М. В. Пелевиновой (первый выезд зимой 2023 года), так и самостоятельно (весна и осень 2023 года). Пользуясь случаем, выражаю благодарность коллегам.

вого расселения греков Понта стали южные части Грузии на Цалкинском плато[3], которые на момент расселения (XIX в.) входили в состав Российской империи [Xanthopoulou-Kyriakou 1991: 360]. Кроме того, греки заселяли Ставропольскую губернию, Кубань и г. Владикавказ. Отмечу, что истории о переселении предков являются важной частью биографических нарративов моих собеседников. О миграции греческого населения в Россию они рассказывают как о бегстве в единоверное государство от репрессивного османского режима, подавлявшего греческий язык и православную веру[4].

Сейчас на Северном Кавказе проживают две языковые группы греков: **эллинофоны**, которые говорят на понтийском диалекте греческого языка (самоназвание диалекта — *ρωμαίικα*), и **тюркофоны**[5], которые говорят на историческом северо-восточном диалекте турецкого языка (варианты самоназваний этого идиома: *bizim dil (bizim dilca)* ‘наш язык’, *musulman dil* (*musulmanca*) ‘мусульманский язык’, *osman dil* (*osmanca*) ‘османский язык’). Последняя языковая группа преимущественно образована греками, переселившимися из Грузии (где они обосновались с XIX в.) в регион Кавказских Минеральных Вод в 1990-е гг.[6] Носители понтийского диалекта компактно проживают

---

[3] Греков Грузии также называют *цалки́нскими / цалки́нцами*, так как большинство греческих сел находилось на территории Цалкского района.

[4] Подробнее об истории переселения и языковой ситуации греков Кавказских Минеральных Вод см. [Климова, Никитина 2023: 303–309].

[5] Оговорюсь, что в этой статье я использую термин «греки-эллинофоны» исключительно для обозначения носителей понтийского диалекта греческого языка, а термин «греки-тюркофоны» — для носителей исторического северо-восточного диалекта турецкого. Мой текст посвящен только грекам — выходцам из исторического Понта.

[6] В 1990-е гг. случился массовый отток греческого населения из бывшего СССР. Многие греки уезжали из бывших союзных республик в Грецию, которая предоставила им право на репатриацию [Voutira 2006: 379–382]. После распада СССР, когда Грузия стала независимым государством с весьма националистической политикой, греческое население страны стало массово уезжать в Россию, преимущественно в регион Кавказских Минеральных Вод. Большим препятствием для дальнейшего проживания в Грузии греки называли незнание грузинского языка, на который переводилось образование и документооборот в республике.

в Краснодарском крае, в г. Владикавказ, а также в селах Ставрополья и Карачаево-Черкесии. В советское время греки-эллинофоны Кубани подверглись репрессиям и депортациям в Среднюю Азию, в отличие от греков Грузии[7], избежавших гонений. Как признаются сами информанты, насильственное переселение и страх физического уничтожения оказали неблагоприятное влияние на сохранение понтийского диалекта в семьях.

Подавляющее большинство интервью во время моей полевой работы записывалось на русском языке. На сегодняшний день это главный язык повседневного общения для основной массы греков в России, а для многих — единственный язык, которым они владеют в достаточной мере, чтобы поддержать разговор. При этом во время записи интервью на русском языке, собеседники, владеющие также этническими языками, могли переключаться на них для уточнения какой-либо лексики, по просьбе интервьюера или при разговоре с членами семьи (последнее наиболее актуально для тюркофонов, у которых идиом часто служит языком общения со старшим поколением). Часть информантов (среднего и старшего возраста), как тюркофоны, так и эллинофоны, признавались, что **первым** освоенным для них был язык, на котором говорили дома (понтийский или диалект турецкого). Русским же они овладевали, только когда начинали ходить в школу, а дома продолжали разговаривать на своем идиоме. Такая ситуация наиболее характерна для греков, проживавших в моноэтничных сельских поселениях (преимущественно в Грузии), в то время как те, кто родился и вырос в городе (скажем, Владикавказе или Краснодаре), скорее осваивали русский как первый язык. Для греков, проживавших в селах Грузии, основным языком общения внутри своей этнической группы был тот диалект, на котором говорили в деревне, — понтийский или турецкий. Приехав в Россию в 1990-е гг., они стали чаще использовать русский язык в повседневной коммуникации. Сейчас диалект турецкого используется преимущественно в рамках семьи или этнической группы. Некоторые исследователи считают, что

[7] Здесь я говорю о внутренних областях юга Грузии, где проживали греки. Греческое население Аджарии и Абхазии подверглось репрессиям и депортациям так же, как и на Кубани.

турецкий диалект не будет являться для греков Понта *этническим языком* в отличие от понтийского (или стандартного новогреческого) [Zoumbalidis 2012]. Я, однако, не согласна с такой точкой зрения. На мой взгляд, прошло достаточно времени и сменилось достаточно поколений для того, чтобы у *bizim dilca* установилась прочная ассоциативная связь с этнической группой, ее традициями, и, главное, представителями старшего поколения.

Сейчас информанты могут владеть диалектом турецкого с разным уровнем компетенции или не владеть вовсе, в зависимости от возраста, места взросления и других фактов биографии. Для части старшего поколения (от 60–65 лет) турецкий диалект остается языком, в котором они обладают наибольшей компетенцией и на котором общаются каждый день, например, в супружеских парах. Для среднего поколения (35–60 лет) этот язык также может находиться в активном употреблении, нередко как язык общения со старшими родственниками. Многие информанты этой возрастной группы заявляли о пассивном владении диалектом. Для младшего поколения (до 35 лет) идиом уже вряд ли будет первым языком, и пока что скорее будет восприниматься как «язык родителей» или «язык бабушек и дедушек». Я не буду подробно описывать уровни владения понтийским диалектом среди разных возрастных групп (так как моя статья посвящена грекам-тюркофонам), отмечу лишь, что на Северном Кавказе язык находится в менее активном употреблении, чем диалект турецкого.

Диалект турецкого, на котором говорят греки, — бесписьменный. Этот идиом относится к огузской группе тюркских языков. Он изучался советскими тюркологами в 1940-е и 1950-е гг.[8] и был охарактеризован как «примыкающий к восточноанатолийской группе турецких диалектов» [Джикия 1958: 109]. В 2010–2011 гг. группой исследователей из Греции и Германии был осуществлен проект по документированию

[8] На материалах экспедиций в Грузинскую ССР написаны диссертации грузинских ученых Н. Н. Джанашиа и Е. В. Гудиашвили [Там же: 109]. Также в 1970 г. в Баку была защищена диссертация о речи триалетских греков [Корелов 1970]. Помимо этого существует небольшое сообщение об особенностях речи тюркоязычной жительницы с. Прасковеевка в районе Геленджика, «уроженки Трабзона, долгое время проживавшей и в Эрзеруме» [Тенишев 1973].

турецкого диалекта греков Грузии[9]. С. Скопетеас, один из авторов проекта, считает, что *урумский* греков Кавказа следует отличать от *урумского* приазовских (мариупольских)[10] греков [Skopeteas 2013: 334]. Исследователь не согласен с работами, где эти варианты считаются единым языком (см., например, [Podolsky 1986])[11], и на лингвистическом материале он показывает разницу диалектов (урумский мариупольских греков ближе к крымско-татарскому языку, а урумский греков Кавказа — к турецкому и азербайджанскому) [Skopeteas 2013].

Далее я предлагаю разобрать исторический контекст, в котором происходил языковой сдвиг среди части греческого населения Османской империи и восприятие греками перехода на турецкий язык сейчас.

2. «Почему греки говорят на турецком»: языковой сдвиг в Османской империи

С периода Средневековья среди греческого населения Понта начал вырабатываться собственный разговорный вариант греческого языка — понтийский диалект, восходящий, как и все современные диалекты греческого за исключением цаконского, к эллинистическому койне [Mackridge 1991: 337]. Однако во время проживания в Османской империи часть греческого населения перешла на разговорный

[9] Результаты проекта доступны онлайн по ссылке: http://projects.turkmas.uoa.gr/urum/index.html (дата обращения: 09.03.25). Авторы проекта предлагают называть этот идиом «кавказским урумским языком» (чтобы разграничивать его с *урумским* мариупольских греков).

[10] Приазовские (мариупольские) греки — другая субэтническая группа греков, переселившаяся из Крыма на территории Северного Приазовья, подробнее см. [Баранова 2010]. Группа также является двуязычной, ее этнические языки — румейский диалект греческого языка и урумский диалект, относящийся к тюркской языковой семье.

[11] Кроме того, отмечу, что в онлайн-каталоге миноритарных языков Glottolog можно найти язык под названием «кыпчакский урумский» (URL: https://glottolog.org/resource/languoid/id/urum1249, дата обращения: 09.03.25), который находится в группе кыпчакских (а не огузских) языков. Однако в библиографии на странице «кыпчакского урумского» вперемешку представлены работы, посвященные языку и мариупольских, и кавказских греков.

вариант турецко-османского языка. Языковой сдвиг осмысляется моими информантами как результат систематического подавления греческой православной идентичности на территории Османской империи. Все мои тюркоязычные собеседники воспроизводят нарратив о том, как турки поставили их предков перед выбором: сохранить греческий язык и принять ислам или начать говорить по-турецки, но сохранить православную веру. Вследствие этого греки, продолжив исповедовать православие, перешли на турецкий язык.

> Они почему притесняли нас? Потому что православная вера была. **А турки хотели, чтобы у нас была мусульманская вера. Они условия ставили: или веру поменяете, или язык поменяете.** Наши все равно оказались умнее, чем они. Они язык потеряли, оставили турецкий. А веру оставили. В каждом доме, в подвалах были часовни, чтобы, знаешь, сохранить веру. [Чтобы молиться, да?]. Да, чтобы тайно молиться. Подпольно. [ж., 1970 г. р., род. Гунья-Кала (Грузия), зап. ст. Ессентукская]

Отмечу, что нарратив распространен среди всех представителей сообщества, и ни разу я не встречалась с ситуацией, когда грек-тюркофон не знал об этой истории. Устойчивая формула *«язык потеряли, а веру сохранили»* воспроизводится собеседниками всех возрастов без исключения. О тотальном распространении нарратива среди греков-тюркофонов пишут и другие исследователи [Елоева 2002: 8]. Помимо самих носителей идиома об этой объяснительной модели потери языка знают и греки-эллинофоны:

> Потому что вот эти цалкинские греки, они же разговаривали на турецком. **И они все время вот гордились тем, что, видите, турки их заставляли принять их веру. Они же хотели сделать из них мусульман, и они поставили перед ними такие условия: или вера, или язык, вот это всё.** Но они решили, значит, веру оставить, и язык... Вот они разговаривают все на турецком языке, эти греки, а мы, вот в наших селах, мы разговариваем на понтийском. [ж., 1950 г. р., род. Азербайджан, зап. Владикавказ]

Показательно также, что среди некоторых греков сохраняется воспоминание о том, что старшие представители сообщества были двуязычными, то есть говорили и на турецком, и на понтийском. Период двуязычия характерен для процесса языкового сдвига [Викторова 2007: 68, 80]. В случае изучаемой этнической группы важны

и свидетельства о том, что при полном переходе на турецкий язык греческий сохранялся в семьях как «язык религии», на котором молились бабушки. Часто мои собеседники рассказывают о «святых книгах» на греческом и иконах, привезенных предками из Турции, — таким образом подчеркивается, что сфера сакрального тщательно оберегалась от «чужого» языка[12].

Вопрос языкового сдвига у греков Понта вызывает интерес у исследователей, но единого мнения по этому поводу нет. Говоря о ситуациях языкового сдвига в целом, Н. Б. Вахтин отмечает, что крайне сложно установить, почему одни и те же факторы в разных ситуациях могут способствовать как утрате, так и сохранению языка [Вахтин 2001]. В случае с греками Понта, на первый взгляд, главную роль должен был сыграть «фактор империи» — язык Порты (сам, однако, не избежавший влияния персидского и арабского) при таком сценарии поглощал бы языки, у которых нет политической и экономической власти [Dorian 1982: 45]. Однако, по мнению Ф. А. Елоевой, ситуация перехода на турецкий была скорее нестандартна для регионов Османской империи — чаще всего происходило так, что население исламизировалось, сохраняя язык (как, например, в случае славяноязычных помаков) [Елоева 2002: 8]. Известны и случаи исламизации греческого населения при сохранении понтийского диалекта. Такая ситуация описана П. Макриджем на примере турецкого региона Оф, где население идентифицирует себя как турки-мусульмане, и при этом продолжает говорить на понтийском [Mackridge 1987]. Мои информанты, предпринимающие поездки в современную Турцию с целью посетить деревни, откуда происходят их предки, нередко рассказывали о встречах с местным населением, исповедующим ислам, но при этом сохранявшим

[12] Отмечу, что сейчас это не совсем так, и некоторые информанты признаются, что не видят ничего плохого в том, чтобы использовать турецкий в молитвах. Кроме того, стоит упомянуть, что в диалекте турецкого, на котором говорят греки, существует пласт греческой лексики в религиозной сфере, например: *Medamorfos* ‘Преображение (праздник)’ (ср. греч. *Μεταμόρφωση* ‘Преображение’), *stafonos* ‘венчание’ (греч. *στεφάνωμα* ‘венчание’), *evkelion* ‘соборование’ (греч. *ευχέλαιο* ‘соборование’). Имена святых и персонажей Писания в диалекте отражены в греческой форме, с окончанием –os (греч. –ος), ср. *Ai-Pavlos* ‘Святой Павел’, *Mixail Arxangelos* ‘Архангел Михаил’, *fəqir (fuxara) Lazaros* ‘бедный Лазарь’.

способность поддержать разговор на понтийском. Некоторые исследователи полагают, что до прихода к власти младотурок (а многие греки уехали в Россию задолго до этого момента) османская администрация предпринимала мало попыток ассимиляции религиозных меньшинств [Höfler 2016: 216]. Э. Сидери считает, что сообщества в Османской империи часто были многоязычны в силу необходимости общения с иноэтничными поселениями и поддержания торговых связей [Sideri 2006: 129–131]. Тогда использование турецкого языка греками Понта было обосновано не принуждением, а рациональным жизненным выбором в ситуации языкового контакта [Ibid: 131]. Такой сценарий не редкость в ситуациях языкового сдвига [Dorian 1982: 46]. Ф. А. Елоева считает, что переход на турецкий вероятнее всего происходил в крупных поселениях [Елоева 2002: 9] — следовательно, понтийский должны были сохранить те деревни, которые находились в горной местности и имели ограниченный контакт с иноязычными соседями.

Здесь важно отметить две вещи. Во-первых, языковой сдвиг среди греческого населения османского Понта не привел к исчезновению («языковой смерти») понтийского диалекта. Процесс перехода на турецкий был частичным — отдельные деревни продолжали говорить на понтийском. В таком лингвистическом состоянии поселения и мигрировали из Понта в Россию — в Грузии было несколько грекоговорящих сел[13], живших в окружении тюркоязычных соседей. Во-вторых, я начала с того, что причинно-следственные связи языкового сдвига никогда не могут быть с точностью установлены — и в этой статье я не задаюсь такой целью. Для меня важным оказывается исключительно то, как информанты говорят об этом сейчас, и влияние, которое двуязычие группы оказывает на дискурсы внутри сообщества. Очевидно, что для греков-тюркофонов нарратив «язык или вера» является единственно верным и легитимным как во внешнем, так и во внутреннем позиционировании группы. Мои информанты сочли бы мнения исследователей, упомянутых выше, в лучшем случае не до конца соответствующими действительности. Угнетение греков турецким населением для большей части моих собеседников представляется тотальным и не поддается сомнению. Теория, согласно которой языковой переход

[13] Например, Санта, Тарсон, Малая Ирага, Неон Хараба, Гумбати, Го́ра и др.

был сознательным, предполагает, что понтийский не имел такой символической ценности и престижа в сообществе, так что сама мысль об его утрате показалась бы кощунственной. Стойкость, проявленная предками во времена жизни «под османами», является одним из ключевых элементов нарратива, формирующего этническую идентичность греков Понта. В этом свете принудительный отказ от языка является еще одним образцом тех мучений и лишений, которые выпали на долю их предков. Этот нарратив, который можно назвать и этиологическим, примечателен еще тем, что утрата языка в нем является той ценой, которой предшественники расплатились за сохранение православной веры. Вера крайне значима для моих информантов: в греческом случае этническая и религиозная идентичности часто смыкаются, и первая как бы автоматически подразумевает вторую. Православная религиозность — своего рода «базовый» атрибут этнической идентичности для собеседников. Исторические нарративы греков, выстроенные вокруг религиозных гонений, подразумевают, что в иерархии атрибутов идентичности вера занимает место более важное, чем язык. При этом от греков-эллинофонов можно услышать, что их соседи-тюркофоны являются «более верующими», ср.:

> Значит, Дмитриев[14] есть один. Он такой боговерующий, молодой парень, не признавал турецкий язык вообще, а сейчас он вот так зацепился изучить этот язык. [А он грек?]. Он грек, да, он ненавидел... Он говорит, ты знаешь... Он прочитал там какие-то истории, **они, говорит, говорили по-турецки, но у них была сильная вера, они были боговерующие,** это просто... [м., 1962 г. р., род. Гунья-Кала, зап. Ессентуки]

Это дискурсивное «усиление» веры происходит именно за счет утраты языка, которая здесь прочитывается как акт мученичества. В таком случае атрибутом этнической идентичности греков-тюркофонов оказывается не сам язык, а факт утраты старого. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что эта ситуация достаточно нестандартна.

Как пишет Ф. А. Елоева, приазовские греки-тюркофоны не имеют такого же конфликта со своим языком, как греки Северного Кавказа (ех-греки Грузии) [Eloeva 2013]. Урумы Приазовья, пишет Елоева,

---

[14] Все имена собеседников (там, где они упоминаются — как в цитатах, так и в теле статьи) изменены.

предпочитают просто «не замечать» того, что их язык — не греческий [Eloeva 2013: 406–407]. Показательно, что они используют номинацию *urumca* ‘греческий язык’ для обозначения собственного (крымско-татарского) идиома, а греки Грузии используют эту же номинацию, чтобы указывать на понтийский диалект своих соседей, но никак не на свой турецкий [Ibid: 405–406]. Эти же данные подтверждаются моими полевыми наблюдениями. Приазовские урумы избирают иные дискурсивные стратегии при разговоре о языке: они заявляют, что их язык — греческий с татарским влиянием — «другой», но греческий [Ibid]. Кроме того, у них нет этиологического нарратива о смене языков, подобного описанному выше выбору «язык или вера». Также Ф. А. Елоева отмечает крайне интересную и важную в контексте моего исследования деталь: для греков Приазовья турки не воспринимаются как завоеватели [Ibid: 409]. Кроме того, добавлю, что приазовские греки, будучи переселенцами из Крыма, не пережили геноцид, подобно грекам в Османской империи. Таким образом, турки в их исторической памяти не являются настолько демонизированными, как у греков Понта. Некоторые из информантов Ф. А. Елоевой даже считали себя отчасти потомками Чингисхана, а отчасти — потомками древних греков [Ibid]. Как мне кажется, сравнение двух ситуаций показывает, что негативное отношение к турецкому идиому среди греков Северного Кавказа в первую очередь продиктовано исторической памятью сообщества, которая по прошествии ста лет продолжает оставаться актуальной.

Таким образом, нарратив «язык или вера», устойчиво воспроизводимый в рассказах информантов, задает морально нагруженную интерпретацию языкового сдвига. Этот дискурс не просто объясняет историческое прошлое, но и продолжает определять восприятие языка в настоящем. Чтобы понять, почему статус турецкого диалекта в группе остается столь противоречивым, в следующем параграфе я предлагаю обратиться к понятию языковых идеологий.

3. Языковые идеологии: кому принадлежит турецкий диалект

Сейчас понтийский (диалект греческого) достаточно активно используется как атрибут этничности среди греков-эллинофонов России,

его изучение продвигается этническими активистами, создаются грамматики и разговорники. Диалект турецкого, на котором говорит часть греков, имеет более сложную судьбу. Тенденцию к маргинализации греков-тюркофонов, укорененную в лингвистическом факторе, можно проследить еще в исследовательских работах советского периода. Так, у большинства советских исследователей турецкий язык части греков вызывал вопросы об их «этническом происхождении». Вследствие этого появилась точка зрения, которая рассматривала *урумов* (от тур. *urum* 'грек, гречанка'[15]) в качестве конфессиональной общности — они понимались как разные этнические группы (греки, армяне, евреи, грузины, ассирийцы, курды и т. д.), которые *смешались*, приняв православную веру, см. например [Пашаева 1972]. Этому дискурсу иногда вторят представители языковой группы эллинофонов, которые могут сомневаться в «правдивости» исторического нарратива греков-тюркофонов о том, что они перешли на «неродной» язык под влиянием ультиматума турок. Но даже у тех, кто считает исторический нарратив правдоподобным, могут оставаться претензии[16]. Один из основных вопросов к грекам-тюркофонам от греков-эллинофонов звучит примерно так:

> У меня есть вопрос, который я люблю задавать цалкинцам, **что почему до сих пор разговаривают на турецком, уже нету никаких внешних проблем,** чтобы они как-то продолжали... [А почему, вы думаете, так происходит? Что они отвечают на эти вопросы?] **Они отвечают, что это их традиция**. [ж., 1990 г. р., Витязево (Краснодарский край)]

---

[15] Советские этнографы использовали эндоэтноним группы в качестве внешней номинации.

[16] Вероятно, обсуждение и осмысление различий между двумя языковыми группами интенсифицировалось в постсоветский период, когда греки-тюркофоны, ранее компактно проживавшие в Грузии, стали селиться в тех местах, где уже жили греки-эллинофоны (на юге России). В. Баранова, проводившая полевую работу среди двух языковых групп греческого населения в поселках Приазовья, отмечает, что ввиду раздельного проживания (тюркофоны и эллинофоны селились в разных селах) ее информанты зачастую просто были не осведомлены о жизни другой группы и ничего не могли рассказать об различиях румеев и урумов [Баранова 2010: 159]. Хотя подозрения грекоязычной группы (румеев) в не греческом, а тюркском (в данном случае татарском) происхождении турецкоязычной группы (урумов) характерны и для приазовских греков [Там же: 185].

В представлении вопрошающих, раз смена языка уже произошла один раз в прошлом, то снова «вернуть» греческий язык или хотя бы «забыть» турецкий (и говорить только на русском) не будет представлять особых проблем. Похожие комментарии, предлагающие грекам отказаться от турецкого диалекта, нередко можно встретить в интернете. Как мне кажется, приведенная выше цитата очевидным образом демонстрирует непонимание, существующее между греками — носителями тюркского и греками — носителями понтийского. Чтобы попытаться разобраться в причинах этого, я предлагаю обратиться к теоретическим построениям К. Вулард о языковых идеологиях [Woolard 2016: 21–38], которые автор развивает на основании идей, намеченных в ее ранней статье в соавторстве со С. Гал [Gal, Woolard 2001]. К. Вулард выделяет среди языковых идеологий два типа: идеологию аутентичности и идеологию анонимности. Первая подразумевает, что язык рассматривается эссенциалистски, как нечто укорененное в природе сообщества и отражающее его «сущность». В такой парадигме, будучи неотчуждаем от своих социальных и территориальных корней, язык становится собственностью определенной группы [Woolard 2016: 22]. Любая коммуникация с иной лингвистической средой воспринимается как угроза «чистоте», аутентичности сообщества [Ibid: 23]. Идеология анонимности, напротив, преподносит язык лишь как средство коммуникации, доступное всем в равной степени и одновременно не принадлежащее никому [Ibid: 7]. Анонимный язык — язык общественного дискурса, он не маркирован как чей-то «этнический» язык. На примере языковой ситуации в Каталонии К. Вулард показывает, что носители сами применяют эти идеологии как интерпретативные категории, чтобы попытаться объяснить положение своих языков в обществе [Ibid: 21]. Аналогичным образом мои информанты апеллируют к упомянутым способам представления языка. Так, для успешной добровольной смены языка с понтийского на турецкий последний должен был, хотя бы отчасти, восприниматься **анонимным** медиумом коммуникации, а не аутентичной собственностью турок. Однако сейчас греки не допускают идеологии анонимности в свой исторический нарратив, и языковой сдвиг позиционируется как принудительный. Даже если предположить, что анонимное отношение к турецкому языку имело место в прошлом, впоследствии ситуация изменилась. Неприязнь к идиому

коренится именно в восприятии турецкого как **аутентичного —** в его принадлежности определенной этнической группе, определенной культуре и определенной религии. Согласно К. Вулард, не все политически доминирующие языки могут стать анонимными подобно английскому или французскому [Woolard 2016: 39]. Препятствием к анонимизации языка становится сохранение представления о его культурных и исторических связях, и для греков Понта сейчас корни их диалекта очевидны — они имеют негативные коннотации с контрагентом, с этнической группой, которая в дискурсе сообщества позиционируется исключительно как «вражеская». Историческая память стоит на пути анонимизации диалекта турецкого и его превращения в аутентичную собственность греков — потому что он уже является аутентичной собственностью других. В этом свете удобным анонимным языком может стать русский, имеющий успешную историю функционирования в качестве lingua franca и связанный с культурной традицией, близость к которой сами греки охотно подчеркивают.

В дальнейших параграфах я сосредоточусь на восприятии диалекта носителями и постараюсь показать, что эта ситуация не так однозначна, как ее описывали предыдущие исследователи.

4. Bizim или все-таки musulman: языковая лояльность носителей идиома

Как я уже упоминала, многие исследователи, изучавшие тюркоязычных греков Грузии, писали о внутреннем конфликте носителей, чувстве «неполноценности», которое вызывает говорение на «вражеском» языке.

> «**Они находятся в очевидном конфликте со своим языком**, причем выражают это эксплицитно — полностью отдавая себе отчет, что **вынуждены говорить на языке чужой, враждебной им культуры**» [Елоева 2002: 5].

> «Он **осознается как чужой, „неродной“, навязанный** народу. При контактах с греками-эллинофонами у грека-тюркофона этот язык **вызывает чувство своего рода „этнической неполноценности“**. Признать язык родным — это значит осознать его, пусть и на обыденном уровне, в качестве национальной ценности. Вполне очевидно, что **язык бывших угнетателей (турок)** не может иметь такого статуса» [Аклаев 1988: 67].

> «Как говорят многие понтийские греки, **турецкий — не их этнический язык**; они подчеркивают, что для них это „чужой“ (foreign) язык (в том смысле, что он **был навязан извне**), и потому его не следует учить. ⟨...⟩ Очевидно, что, **не имея ни моральной, ни институциональной поддержки, турецкий язык стремительно теряет позиции в общине понтийских греков и постепенно вымирает**, поскольку все родители первой и второй возрастных групп избегают (если не отказываются) разговаривать со своими детьми на этом языке»[17] [Zoumpalidis 2012: 20–21].

> «Но быть понтийским греком означает для урумов быть греком (**их турецкий язык, их стигма**, нивелируется в концепте понтийскости)»[18] [Popov 2004: 88].

Несмотря на то что некоторые из процитированных авторов отмечали, что не все их информанты разделяют такое агрессивное отношение к языку [Zoumpalidis 2017: 36], акцент сделан именно на негативную сторону восприятия идиома. В работе Ф. А. Елоевой наблюдения о резко отрицательном отношении носителей к диалекту *(«Bizim dil или musulman dil воспринимаются как „проклятье, позор“. Есть ощущение, что на нем говорить стыдно»* [Там же: 10]) дополняются следующим замечанием: *«Любопытно отметить, что при явно негативной оценке собственного языка как „чужого“ и непрестижного* ***греки-туркофоны, тем не менее, продолжают говорить по-турецки и в полуофициальной обстановке***[19] ***—*** *общего собрания, застолья и т. д., тогда как греки-эллинофоны легко переходят с понтийского на русский и вообще в большей степени склонны к ассимиляции»* [Там же]. Также для процитированных работ характерны прогнозы о снижении языковой компетенции носителей диалекта и его скорой утрате. Постоянные ламентации исследователей (и носителей) о том, что «язык умирает», могут длиться столетиями, пока язык действительно не умрет (см. [Вахтин 1998]), поэтому я не буду подробно останавливаться на статусе витальности диалекта и пытаться сделать свое предсказание о его жизнеспособности.

---

[17] Перевод с английского. Все переводы в тексте выполнены автором статьи.

[18] Перевод с английского.

[19] Выделение мое.

Я попытаюсь описать наиболее частотные дискурсивные стратегии, которые использовались моими собеседниками при разговоре о турецком диалекте. Часто информанты подчеркивают практическую пользу знания этого идиома, в силу его родственности современному турецкому и азербайджанскому языкам[20], что позволяет понимать их и ряд других тюркских языков (преимущественно огузской ветви).

> Турков понимаем мы, где-то... ну, молодые столько не понимают, 70 процентов мы понимаем турецкий язык. Потом азербайджанский, мы, наверное, больше процентов понимаем. Я с детьми стараюсь (говорить на языке. — *И. Н.*), они его знают у меня, внуки. Вот недавно внук старший, он в Турции был, и говорит: «Бабуля, этот язык так мне помог!» [ж., 1949 г. р., род. Саркинети (Грузия), зап. ст. Ессентукская]

Благодаря знанию идиома греки могут взаимодействовать с представителями других этнических групп. Отмечу, что эта стратегия вписывается в идеологии анонимности. Турецкий идиом здесь не воспринимается как исключительно принадлежащий туркам, он приписывается более широкой группе — тюркоговорящим (туркам, азербайджанцам и др.) и позиционируется как медиум, средство коммуникации с другими. Владение языком становится ресурсом, который можно монетизировать. Особенно актуально это было для 1990-х гг., когда некоторые информанты торговали товарами, закупавшимися в Турции, — знание турецкого диалекта облегчало им деловые поездки в страну. Речь может идти также о социальном капитале, когда знание идиома позволяет приписывать индивида к «своим». Один из молодых собеседников (ок. 30 лет) рассказал мне, что однажды отправил в чат с друзьями-греками мем на азербайджанском, который поняли все, кроме одного человека. Про того, кто не смог перевести картинку, пошутили, что он *«как русская жена»*.

Конечно, при рассказах о диалекте всплывают не только плюсы. Язык вызывает множество противоречий среди тюркоговорящей части греков. Разногласия начинаются уже с его названия. Существует несколько самых частотных самоназваний диалекта, среди них — *bizim*

[20] Это свойство отличает турецкий диалект от понтийского, который плохо понятен носителям стандартного новогреческого и, следовательно, может использоваться исключительно в общении со «своими».

dil ‘наш язык’, *musulmanca* ‘мусульманский язык’, *osmanca* ‘османский язык’. Реже его называют *turkce* ‘турецкий’. Так мой информант размышляет о разных способах представления своего языка разным этническим группам.

> [А какой у вас первый язык? На каком языке вы на первом говорили в семье?] Это турецкий язык. [Вы его так и называли — «турецкий»?] Да. **Это турецкий язык**. От рождения мы говорим на этом языке. **Это как бы диалект турецкий**. Наши предки тоже говорили — дедушки, бабушки — на этом языке. У нас есть села, где говорят на понтийском языке. [А вот именно на этом, турецком, вы говорили про него как? Bizim dilca, наш язык?] **Да, bizim dil это турецкий dil.** [Не говорили «musulmanca»?] ⟨...⟩ Не, ну **если, допустим, спрашивали азербайджанцы**, которые жили у нас в этом, в Грузии, если у нас спрашивали, **вы на каком языке говорите, мы говорили musulmanca** (‘на мусульманском языке’. — *И. Н.*). А так, **если русские люди**... Где-нибудь мы после окончания школы выезжали, поступали в Россию в институт, что-то другое, если спрашивали, **мы отвечали, что мы говорим на турецком языке**. [м., 1962 г. р., род. с. Верхнее Цинцкаро (Грузия), зап. ст. Суворовская]

Не всегда собеседники соглашались называть свой язык *bizim dilca*, потому что в этот лингвоним вложено слово «наш». Один информант убеждал меня, что номинация «наш язык» появилась только в последнее время среди тех греков, которые «не знают своей истории» (ведь **исторически** этот язык не может быть «их»), а правильными названиями, которым пользовались их предки, были только *musulmanca* или *osmanca*. Конечно, это попытка отмежеваться от диалекта уже на уровне названия: два последних наименования очевидно делают его «чужим» — мусульманским или османским — в противовес названию «наш язык». В рамках подхода К. Вулард номинация «наш язык» будет служить средством придания языку аутентичности, а тенденция отказываться от этой номинации (и говорить о диалекте как о «мусульманском» или «османском») подчеркивает отторжение языка от греков, делая его собственностью других — «мусульман» или «осман».

Однако номинация «османский» не всегда будет иметь коннотацию «вражеский». Некоторые информанты апеллируют к архаичности своего языка, его связи с определенным историческим отрезком, и называют его близким к *османскому* или *староосманскому диалекту.*

Собеседники говорят, что их язык ближе к тому, на котором говорили древние турки, а не современные (что в общем-то справедливо, учитывая языковую реформу Ататюрка).

> [Ну, получается ваш язык первый, на котором вы говорили, это вот этот вот турецкий язык? Вы его турецкий называете?] Да. Это турецкий, все равно это турецкий. **А древние турки именно — вот фильмы эти исторические — они говорили именно так, как мы говорили.** А потом, со временем, язык стал у них чуть-чуть другой. Он более мягкий, у нас немножко грубее язык. [А вы понимаете турецкий?] Да. Да, конечно. [ж., 1970 г. р., род. Гунья-Кала (Грузия), зап. ст. Ессентукская]

Использование для идентификации диалекта тех языковых характеристик, которые избегают напрямую слова «турецкий», встречалось мне не раз.

> А мы разговариваем на первом языке, который все вот эти тюркские группы разговаривали. Костяк называется **огузский**. Огузский. Вот на этом наречии мы разговариваем. [Ну, вы его называете турецкий?] Ну, турецкий мы говорим, вообще это тюркский язык. **Тюрк-ский.** [м., ок. 1965 г. р., Ессентуки]

> [Ваш первый язык это какой был?] Первый родной язык у нас считается турецкий. [Вы его турецким называете на русском?] **Но фактически не турецкий, а он анатолийский**. [Ну вы его между собой называете турецким, да?] Ну да. [м., 1965 г. р., род. Гунья-Кала (Грузия), зап. ст. Ессентукская]

> ***Соб.:*** А на каком языке вы говорите между собой?
>
> ***Мария:*** По... Ну, **по-нашему**, как... **Как греческий. Греческий отдельно, ну, у нас язык как азербайджанский.**
>
> ***Егор:*** **Старотурецкий,** наверное, скорее всего.
>
> ***Соб.:*** А вы тоже знаете этот язык, да?
>
> ***Егор***: Конечно. Они между собой только так разговаривают. По-русски, не видите, плохо разговаривают до сих пор поэтому.
>
> ***Христофор:*** Язык мы потеряли свой... ⟨...⟩ Нам сказали — или веру потерять, или язык: мы язык потеряли, веру не потеряли.
>
> **Мария** [ж., 1937 г. р., Санамер (Грузия), зап. ст. Суворовская], **Христофор** [м., 1936 г. р., род. Санамер (Грузия), зап. ст. Суворовская], **Егор** [м., 1998 г. р., ст. Суворовская].

Ф. А. Елоева пишет о том, что в Цалке «в ответ на прямо поставленный вопрос греки-туркофоны отвечают, что говорят на карсском или анатолийском наречии турецкого языка» [Елоева 2002: 5]. Многие мои информанты в ответ на вопрос о том, какой язык они выучили первым[21], отвечали просто «турецкий», но всегда разговор о языке сопровождался дополнительными объяснениями — о том, что этот язык не совсем турецкий, и о том, почему греки на нем говорят. Также на русском языке для наименования идиома могут использоваться номинации «тюркский», «наш» или описательная конструкция «язык наших греков». Как мне кажется, приписывание идиома не современным туркам, а «древним» — османам, «анатолийцам», «тюркам» — пример того, как язык отчуждается от того этапа турецкой истории, с которым у греков связаны явно негативные коннотации, живые в исторической памяти сообщества (притеснения XIX–XX вв., геноцид, бегство греков из Османской империи, младотурки). Конечно, турки для греков — «извечный враг», и противостояние с ними началось еще с эпохи поздней Византии. Однако в свете непримиримых противоречий в недавней исторической памяти приписывание языка абстрактным «древним» туркам кажется более выгодной стратегией, чем ассоциация идиома непосредственно с теми, кто убивал предков моих собеседников. Однако подчеркну еще раз, что за выбором таких номинаций есть и объективные лингвистические основания.

Существует еще одна дискурсивная стратегия при выборе номинации для идиома. Так, некоторые информанты называли свой язык «цалкинским». В номинации «цалкинский язык» заложен параллелизм с одним из названий греков-тюркофонов Грузии — цалкинские греки. Цалка как собирательный образ еще одной утраченной родины (наравне с Понтом) возникает в нарративах моих собеседников, а также в песнях, сочиняемых местными греками-музыкантами на диалекте турецкого. В этом контексте назвать свой язык «цалкинским» значит подчеркнуть его связь с родными местами. Мне кажется, в номинации

[21] Я обычно не формулировала вопрос «на каком языке вы говорите», потому что сейчас для большинства информантов ответ бы подразумевал русский. Я спрашивала, какой язык использовался как язык общения в семье, какой язык в детстве они выучили первым и т. п.

также может быть заложено стремление нивелировать «чуждость» (то есть турецкость) диалекта, сделать его чем-то **своим**, особенным, отстоящим от обычного турецкого.

> Например, мы разговаривали по-цалкински, а там турецкие, армянские, грузинские, греческие слова — всё. Он вразмешку, поэтому акцент совсем другой. И никуда он не входит. **Он как бы ровно цалкинский язык получается**. [м., 1956 г. р., род. Джениси (Грузия), зап. ст. Ессентукская]

Дискурсивная стратегия, благодаря которой диалект турецкого превращается в «цалкинский язык», использовалась несколькими информантами (я не берусь судить, насколько сознательно). Они указывали на разнородность лексического состава языка, на его «смешанную» природу, которая и делает диалект уникальным, и, главное, не таким уж и похожим на турецкий (что особо подчеркивается наличием в диалекте пласта заимствованной из греческого лексики), ср.:

> Дело в том, что **у нас не чистый** (язык. — *И. Н.*). Не турецкий, не азербайджанский... И у нас **очень много греческих слов** в нашей речи. Есть греческие, есть некоторые слова грузинские, есть русские слова, но в основном турецкие. [м., 1947 г. р., род. Бешташени, зап. Сенной]

На мой взгляд, называние своего языка «цалкинским», смешанным, особенным может быть одним из способов придать диалекту аутентичность, сделать его собственностью группы.

В одной из популярных социальных сетей молодые люди греческого происхождения из России создают короткие ролики, в которых (нередко юмористически) обыгрывают особенности культуры, поведения или быта своей этнической группы. Многие из таких видео делаются по популярным шаблонам, и на месте греков может оказаться любая другая этническая группа Кавказа. В таких роликах я встречала наименование «урумский» применительно к турецкому диалекту кавказских греков. Однако мои информанты крайне редко использовали в своей речи этот лингвоним.

Конечно, я слышала и совсем нелестные слова в сторону идиома из уст его носителей. Эти рассуждения во многом повторяют риторику, описанную в приведенных выше цитатах из работ Елоевой, Аклаева, Зубалова и Попова. Собеседники могли говорить о своей неприязни к языку, завязанной на его принадлежности к «врагам» — туркам

(здесь как раз реализуется идеология аутентичности, когда язык принадлежит конкретной группе).

> (Разговор идет про тосты на поминках. — *И. Н.*). Я говорю на русском. Я говорю всем: давайте будем говорить на русском, но не на турецком. [Почему?] **Ну, поскольку историю мы знаем, какой геноцид был греческого народу, — у нас отвращение. Нам не надо разговаривать на турецком**. Хотя может, говорят, нет плохой нации — есть плохие люди. Может, турки не все плохие, я ничего не могу сказать. Но поскольку это было действительно геноцид греческого народа... потому что они говорили нам: или веру вы сохраняете, или язык. Ну, наши старики, предки, решили оставить веру, христианскую. [м., 1938 г. р., род. Санамер (Грузия), зап. Санамер (Россия)]

Один мой собеседник, Платон, преподает новогреческий в университете на Кавминводах. Его мать и отец — из греческих сел в Грузии. В семье преимущественно разговаривали на русском, а тюркский был языком общения со старшими родственниками. При этом сам Платон не считает, что тюркский диалект надо сохранять и передавать следующим поколениям:

> Туда ему и дорога к этому языку. [Почему?] **Потому что это не наш язык.** Для нас это **навязанный язык** же был, поэтому лично я и многие ⟨...⟩ я уверен, что это хорошо, что мы его забываем. Мы им пользовались до тех пор, пока другого у нас языка для общения не появилось — русского, и отлично. А этот язык... Ну, в общем, у нас еще остались вот эти вот, **боль какая-то, историческая память**, поэтому это язык тех, кто нас поработил. Замечательно, что он уходит. Он интересный, его надо изучать, потому что в нем есть некоторые особенности, наши греческие, потому что он насыщен греческими словами. ⟨...⟩ А почему он не сохраняется? Потому что мы его отвергаем на таком вот уровне, и все понимают, что это не наш язык. Он не нужен. **И многие стесняются говорить о том, что они из семьи тюркофонов.** То есть они стесняются, потому что понимают, что какая-то вот... **такой диссонанс, ты грек и... тюркофон.** И вот это вот **чувство стыда, оно и заставляет нас отказаться от этого языка**. [м., 1985 г. р., род. Ессентуки, зап. ст. Ессентукская]

Интересно отметить, что рассуждение о ненужности сменилось мыслью о том, что его все-таки стоит изучать ради греческих слов, здесь язык как бы распадается на два пласта, где ценным оказывается лишь тот, что имеет связь с «истинным» языком группы. Другой

информант, рассуждая о своей нелюбви к родному турецкому диалекту, указывал на его «бедность» — в его понимании, этот язык является чисто инструментальным, направленным лишь на бытовое общение. На нем нельзя сказать «тригонометрическую формулу и закон Ньютона», и, будучи передовым трактористом, он был вынужден с трудом перестраивать свое мышление на русский язык, чтобы произносить официальные речи.

Таким образом, в дискурсах носителей турецкого идиома можно выделить как попытки сделать язык «аутентичным», так и попытки сделать язык «анонимным», которые проявляются в выборе номинаций. Огромную роль в восприятии турецкого играет историческая память сообщества о событиях начала XX в. в Османской империи.

5. Использование диалекта в ритуальной речи

Частным случаем попыток вытеснения диалекта турецкого является выбор языка для использования в ритуальной речи. Я разберу эту дискуссию на примере поминок. Следует отметить, что в этих контекстах осуждение языка в первую очередь исходит от самих его носителей, а не от греков-эллинофонов или представителей других этнических групп. Некоторые информанты говорят о том, что последовательно отказываются от использования турецкого языка в ритуальных целях, мотивируя это разными причинами. Следующая цитата принадлежит человеку, для которого *bizim dilca* является первым языком.

> [Вы сами ведете поминки?] Ну да, я веду. Я и {нрзб}: «слушайте, мы находимся на похоронах». **Я еще раз говорю, давайте не будем говорить вот по-турецки. Кто-то дверь откроет, скажет, слушай, там это что, мусульмане, что ли? Может кто-то... это мусульманские там похороны?** Давайте будем говорить на русском языке. [м., 1938 г. р., род. Санамер (Грузия), зап. Санамер (Россия)]

Здесь собеседник апеллирует к «православности» ритуала похорон, в свете чего использование «мусульманского языка» оказывается неправильным, неуместным. Можно отметить и желание правильного представления своей этнической группы перед «другим»: некто, открывающий дверь на греческую поминальную трапезу и слышащий турец-

кую речь, в видении информанта причислит людей за столом к мусульманам. Такое уподобление для множества греков является огромным оскорблением[22]. «Другой» не будет разбираться в тонкостях языкового сдвига и выслушивать историю страданий, перенесенных греками в Османской империи. Еще один пример со сходной мотивировкой рассказал тюркоязычный информант в поселке Сенной Краснодарского края. Он сказал, что и он сам, и другие «старики» неоднократно делали замечание тамаде[23], который вместо «Царствие небесное» говорил аналогичную фразу на турецком — «Allah rəhmət etsin»[24]:

> Я им говорю, что **мы находимся в России**, ну, довольно порядочные люди мы. **Зачем нам турецкое это слово** «Аллах рахмат этсин», ну, нам не надо это слово. Давайте скажем «царство небесное». [м., 1947 г. р., род. Бешташени (Грузия), зап. Сенной (Тамань)]

Другой часто всплывающий аргумент за переход на русский язык — присутствие на похоронах представителей других этнических групп, и, следовательно, необходимость использования понятного всем присутствующим языка — русского.

> Говорю по-русски. А для чего? Если я говорю один тост, для чего в двух языках его говорить? **Все знают русский язык. Для чего по-турецки говорить?** [Ну, все же знают и турецкий]. А для чего? Нет, молодежь уже не знает. Сейчас уже не знают, поэтому... [В смысле? Молодежь знает турецкий, мы сейчас видели очень много молодых людей, которые...]. Знают, да. Ну, а это чего говорить? [м., 1962 г. р., род. Гунья-Кала (Грузия), зап. Ессентуки]

Несмотря на то что часть тюркоязычных греков подчеркивала переход к использованию русского языка для произнесения тостов

---

[22] Информантка во Владикавказе однажды сказала мне, что ей очень неприятно, когда люди, узнав об ее этнической принадлежности, задают вопрос: «А вы христиане?» Этот вопрос, задаваемый грекам, кажется довольно абсурдным, но, насколько я могу судить по рассказам моих собеседников, весьма распространенным на Северном Кавказе.

[23] Так называют ведущего поминок, который произносит тосты.

[24] По всей видимости, ритуальная формула была заимствована православными греками в неизменном виде из турецкого языка.

как на поминках, так и на свадьбах, этот переход точно нельзя назвать полным и окончательным. Например, на свадьбе в станице Суворовская, которую я посетила летом 2023 года, несколько тостов на *bizim dilca* все-таки прозвучало. Одна моя информантка заметила, что иногда на свадьбах, говоря тосты на родном языке, греки-тюркофоны называют этот язык не *musulmanca* ‘мусульманский язык’ и даже не *bizim dil* ‘наш язык’, а *ana dili* ‘родной язык’ (буквально ‘материнский’). Ритуальная речь — важный маркер того, насколько осознанно греки подходят к использованию диалекта в определенных контекстах, особенно когда дело касается соседних групп.

6. Идиом как предмет «культурной интимности»

Некоторые собеседники говорили о том, что ни в коем случае не хотят учить своих детей диалекту турецкого. Этот отказ сознателен и мотивирован стремлением «забыть» идиом, ускорить его смерть. Как отмечает Платон, сам преподающий новогреческий, многие родители считают, что для детей предпочтительным вариантом будет именно изучение стандартизированного греческого языка.

> **И я могу вам подтвердить тенденцию, что очень много семей желают, чтобы дети выучили греческий язык просто потому, что они считают, что это наш родной язык...** [Новогреческий?] Новогреческий. Ну как бы стандартный для всех греков. **Понятно, что у нас язык родной — это *ромеика***. Понтийский диалект греческого языка. Но это все же диалект, и общестандартный для всех, понятный это *δημοτική γλώσσα*[25], новогреческий. ⟨...⟩ [И почему вы решили выучить греческий?] Ну, потому что я считал, что это тот язык, который должны знать все греки. То есть это общий, общегреческий язык, стандартный для всех должен быть язык. **Ну, я понимал, что будущее не за понтийским, а за греческим, а должен быть общий язык для общения**. [м., 1985 г. р., род. Ессентуки, зап. ст. Ессентукская]

В представлении Платона новогреческий должен выступить некоторым связующим, объединяющим звеном между всеми греками,

[25] ‘Димотика’, современная форма новогреческого языка, развившаяся естественным путем на основании разговорного языка.

независимо от их происхождения. При этом он признает, что «родным» языком для греков Понта будет понтийский диалект. Но в силу его «неперспективности», Платон считает, что изучение стандартного новогреческого — лучший вариант. Отдельные информанты, говоря о пользе изучения новогреческого, сравнивали его с английским — это **иностранный** язык, который может пригодиться в жизни (особенно в случае получения греческого гражданства). Однако большинство греков-тюркофонов все-таки подчеркивало символическую значимость новогреческого как языка, имеющего связь с культурой их этнической группы. Здесь на всякий случай уточню, что греки — выходцы из Понта, по сути, никогда не говорили на новогреческом — последний развивался отдельно от понтийского диалекта, пройдя свой нелегкий путь через диглоссию и стандартизацию. Новогреческий язык может восприниматься как символически «свой» за счет того, что является официальным языком Греции — государства, которое в каком-то смысле выступает для греков России метрополией.

Несмотря на все, что мне довелось услышать в адрес тюркского идиома от греков (как от его носителей, так и от эллинофонов), у меня не сложилось впечатления, что на этом языке говорить стыдно. Важно отметить, что в нарративах информантов самое большое осуждение турецкого диалекта исходило от самих греков:

> У нас вот в советское время приезжали с Греции, ну, наши. Ну, у них деды были, дома были в Бешташени[26], они уехали, остались их фундаменты. ⟨...⟩ И они нам говорили, что мы утром говорим *saba hayır*, или *səlam* (‘доброе утро’, ‘здравствуй’. — *И. Н.*), они говорят: «*It dili* (‘собачий язык’. — *И. Н.*), зачем разговариваете?». Лучше вы по-русски скажите «доброе утро» или по-грузински «гамарджоба». [м., 1947 г. р., род. Бешташени, зап. Сенной]

Упомянутая в цитате номинация для тюркского диалекта *it dili* ‘собачий язык’, по словам информантов, нередко могла использоваться для пренебрежительного обозначения языка. Я бы предположила, что риторика «языка врагов» и стигматизации тюркского языка, исходящие от самих греков, могут являться примером того, что антрополог М. Херцфелд описывает как «культурную интимность». Так он

[26] Греческое село в Грузии.

определяет это явление: «Культурная интимность — это признание тех аспектов официально разделяемой идентичности, которые считаются источником стыда извне, но которые тем не менее обеспечивают членов сообщества уверенностью в общей социальности» [Herzfeld 2016: 7]. Это несколько смутное определение развивается у Херцфелда на различных примерах феноменов, не соотносящихся с образом культуры, который транслируется в публичном дискурсе. Так, он приводит в пример государство Греция, которое приняло наименование *эллины* (*οι Έλληνες*) в качестве этнонима, предпочтя напоминание о славном античном прошлом «более интимному и малоизвестному» наименованию *ромеи (οι Ρωμαίοι)*[27], которое ассоциировалось с угнетенными жителями Османской империи и их культурой, находившейся под турецким влиянием [Ibid: 21]. Херцфелд также вводит понятие *дисемии* (по аналогии с языковой диглоссией), которую он описывает как «формальное или зашифрованное напряжение между официальной саморепрезентацией и тем, что творится в приватности коллективной интроспекции» [Ibid: 19]. Культурная интимность воспринимается как «сор», который не стоит выносить из избы, но одновременно она может стать поводом для гордости, использоваться в качестве оппозиции доминирующему дискурсу. Автор акцентирует внимание на роли антрополога, нередко воспринимаемого как представителя внешних, властных сил в процессе раскрытия культурной интимности [Ibid: 2, 8, 49]. Он пишет о том, что этнографический успех во многом измеряется способностью исследователя проникнуть вглубь этой самой культурной интимности. Я все-таки склонна предполагать, что мое негреческое происхождение и позиция внешнего наблюдателя оказывали влияние на то, как язык представляется в нарративах информантов. Это соотносится с тем, что я смогла увидеть как минимум лояльное отношение к тюркскому, только когда посетила поле во второй раз, установив более доверительные отношения с моими собеседниками. Э. Сидери отмечала, что ее информанты-греки в Грузии, которые признавали своим родным языком русский, добавляли, принимая во внимание греческое происхождение исследовательницы, что этот язык

[27] Мои информанты-грекофоны пользуются самоназванием *ромеи* по сей день. В диалекте турецкого используется этноним с аналогичным корнем: *urum*.

был им навязан и, имей они выбор, выучили бы греческий [Sideri 2006: 154–155]. Это наблюдение еще раз подтверждает, что рассуждения о языке ситуативны, политизированы и изменчивы, и окажись на моем месте другой исследователь, он мог бы увидеть совершенно иную картину и не согласиться со сделанными мною выводами. Как мне кажется, случай с клеймением своего языка носителями можно поместить в рамки дисемии. Греки-тюркофоны стараются воспроизводить те культурные установки в отношении языка, которые от них ожидаются. Здесь ключевым оказывается то, что ожидания эти исходят не только от внешнего зрителя, но и как будто бы от самих греков. То есть дискурс «языка врагов» проникает не только в официальную репрезентацию, но и в «коллективную интроспекцию», когда часть носителей начинает разделять эти убеждения.

Исследовательница Дж. Манукян пытается доказать, что использование турецкого языка среди армян Османской империи XIX в. носило добровольный характер, и даже может рассматриваться как проявление агентности граждан мультиязычного государства [Manoukian 2024]. Чтобы проиллюстрировать стыд, который тюркоязычные армяне стали испытывать за свой язык после геноцида, Манукян обращается к примеру сообщества армян — переселенцев из Османской империи в г. Фресно, Калифорния (США). Один турецкий журналист, направленный в Фресно, чтобы написать статью о сообществе, заметил интересную вещь: иногда, посреди разговора с ним по-турецки, собеседники резко переключались на английский, завидев других армян, чтобы не провоцировать их критику [Ibid: 240]. Этот пример наглядно иллюстрирует, как язык стал источником не только «внешнего» стыда, но и стыда перед собственным сообществом. Схожие тенденции я могла наблюдать и в своей полевой работе среди греков Северного Кавказа.

7. Этнические активисты и защита диалекта

В заключение я хотела бы привести пример того, как тюркский язык среди греков России все-таки может восприниматься как традиция и становиться поводом для культурной и этнической гордости. Среди молодого поколения есть те, кто готов вписывать *bizim dilca* в традиции

своего народа, защищая от обвинений в «чужеродности». Так, единственным известным мне языковым активистом, продвигающим сохранение тюркского диалекта греков, является Христо — молодой человек (ок. 20 лет), который ведет в Telegram канал по изучению идиома. Изначально канал назывался «bizim dilca», потом он был переименован в «Греки Грузии». Новое название повторяет ник страницы в другой соцсети, которую тоже ведет Христо. Там он выкладывает преимущественно видео со свадеб, которые ему присылают подписчики, а также съемки из греческих сел Грузии. Телеграм-канал позиционируется больше как образовательный, так как там публикуются материалы для самостоятельного изучения тюркского диалекта: подборки слов, фраз, грамматические наблюдения и (чаще всего) опросы с вариантом ответа на правильный перевод фразы. При записи идиома Христо всегда использует кириллицу, при необходимости выделяя ударные гласные верхним регистром. Так могут выглядеть типичные посты на канале:

1. «по теме праздника, с Рождеством!
   • кутья – **адИк** (звук между а и э)»
2. «как сказать на нашем, заболел ветрянкой?
   — **чичях дутти!**
   P.S. обычно, чичях — цветок»
3. «**сверху-?**[28]
   • ашахта
   • ёхарда»

Мое двухлетнее наблюдение за этим каналом, а также за страницами «Греки Грузии» в других соцсетях показывает, что периодически в комментариях возникают конфликты по поводу целесообразности самой идеи изучения диалекта турецкого. Христо вступает в полемику с комментаторами, которые отмечают «ненужность» его инициативы и называют этот язык чужим для греков, задаются вопросом «в чем проблема перестать на нем говорить», призывают учить греческий вместо тюркского и т. п. Его нередко поддерживают другие подписчики, которые отмечают, что этот язык для них — родной, ср.:

[28] На платформе Telegram данный пост выглядит как опрос с единственным верным вариантом ответа.

> «Наш язык считается родной бизим дилча, потому что мы и наши дети выросли и воспитались с этим языком».
>
> «Мы разговариваем на многих языках и ни перед кем не в ответе. ⟨...⟩ Хоть и говорю на греческом очень хорошо, **бизим дил мне ближе и роднее, потому что я на этом языке разговаривала со своими родителями, которых уже нет в живых**...»
>
> «Бизм дилча – слово „бизм“ говорит о многом. **Ведь на этом языке говорили наши бабушки, дедушки, родители, соседи, село, деревня, друзья, родные**! ⟨...⟩ Я со своими внуками стараюсь общаться на этом родном языке моего детства! Бизм дилча — звучит гордо, весело! Этот язык не похож ни на один язык, отовсюду собранный, переделанный, забавный!»[29]

Христо, защищая язык, всегда обращается к фактору преемственности: на нем говорили предки, на нем говорят бабушки, значит, тюркский может маркироваться как «наша традиция» и быть **родным** языком. Конфликты по поводу греков-тюркофонов случаются и в социальной сети TikTok. Как я уже упоминала ранее, молодые греки из России сейчас создают контент, который в том числе охватывает темы этничности. Также видео в TikTok выкладывают греки-понтийцы[30] из других стран, в первую очередь из Греции. Недавно молодой человек, проживающий в Греции, выложил видео с застолья, на котором запечатлена его бабушка, произносящая тост — сначала на *bizim dilca*, а затем на русском. Под роликом появилось более 600 комментариев на разных языках (по большей части на греческом). Часть пользователей, оставивших комментарии, желала здоровья бабушке и всем грекам мира, а другая часть вопрошала, почему те, кто говорит на турецком, имеют право называть себя понтийцами (используя фразы по типу *είστε η ντροπή του Πόντου* ‘вы — позор Понта’). В защиту бабушки и всех греков-тюркофонов выступали комментаторы, которые советовали «почитать книги» и «поизучать историю», чтобы узнать причины того, почему часть греков Понта говорит на турецком. Конечно, говоря об истории

---

[29] Во всех комментариях я слегка исправила орфографию. Написание названия диалекта сохранялось как в оригинале.

[30] В публичном дискурсе под наименованием «понтийцы / понтийские греки» часто объединяются все выходцы из области Понта, вне зависимости от этнического языка.

и книгах, пользователи апеллируют к нарративу «язык или вера». Многие, в том числе сам автор ролика, подчеркивали, что гордятся многоязычием своих предков, упоминая, что те говорят не только на турецком, но также на русском, грузинском, греческом, понтийском. Под другим постом в TikTok, в котором девушка написала: «Мне стыдно за тех греков/чанок, которые называют цалкинских и цинцкарских[31] ГРЕКОВ врагами и их язык вражеским»[32], один комментарий звучит так: «Согласна, обидно за язык... но лучше язык чем вера, настоящий понтиец никогда не станет предателем Христа»[33]. Все эти рассуждения повторяют риторику основного исторического нарратива тюркофонов, и подразумевают, что язык должен быть собственностью одной этнической группы. Мы видим, как этиологический нарратив тюркофонов мигрирует и в интернет-дискурсы, где преподносится как «историческая версия» (см. советы почитать книги) и точно так же, как и в дискурсах моих информантов, подвергается сомнению не-носителями. При этом сомнение может варьироваться от радикального осуждения («тогда не говорите, что вы понтийцы, говорите, что вы — советские», «понтийская душа не приемлет в доме иного разговора, кроме как на понтийском»[34]) до простого недоумения. В сетевых дискурсах, таким образом, продолжается дискуссия о легитимности турецкого диалекта. Как мне кажется, комментарии в интернете о турецком идиоме представляют ценнейший материал, дополняющий записанные мною интервью, а наблюдение за сетевыми конфликтами позволяет подтвердить, что языковая ситуация все еще остро воспринимается в сообществе.

8. Эпилог

Б. Андерсон, рассуждая о становлении национальных государств, приходит к выводу, что изыскания в области сравнительного языкознания в Европе культивировали «убеждение в том, что языки (по крайней мере, в Европе) являются, так сказать, личной собственностью

[31] Цинцкаро — крупное греческое село в Тетрицкаройском р-не Грузии.

[32] Орфография сохранена.

[33] В цитате исправлена опечатка.

[34] Комментарии переведены с новогреческого.

вполне конкретных групп — а именно, говорящих и читающих на них в обыденной жизни ⟨...⟩» [Андерсон 2001: 105–106]. Восприятие языка как символа национальной идентичности — исключительно продукт национализма. При этом Андерсон предостерегает нас от того, чтобы экстраполировать европейскую ситуацию на весь мир: «Всегда будет ошибкой трактовать языки так, как трактуют их некоторые националистические идеологии — а именно, как *внешние символы национальности*, стоящие в одном ряду с флагами, костюмами, народными танцами и прочим. Несоизмеримо важнее способность языка генерировать воображаемые сообщества и выстраивать в итоге *партикулярные солидарности*» [Там же: 152, курсив оригинала]. На примере бывших испанских колоний он показывает, что язык не всегда будет тем элементом, который отделяет свободные государства от их бывших «угнетателей» [Там же: 71–72]. Напротив, те, кто боролся за независимость от метрополий, имели с колонизаторами общий язык. «На самом деле, можно уверенно сказать, что в их ранней борьбе за национальное освобождение вопрос о языке никогда даже не ставился», — заключает Андерсон [Там же]. Я склонна предположить, что в изучаемом мной сообществе языковой вопрос не был первостепенным еще несколько десятилетий назад. Как мне кажется, «стыд» за турецкий стал набирать обороты уже после распада СССР, когда часть греческого населения бывших союзных республик оказалась в Греции. Там они были поставлены перед необходимостью оправдываться за свой «неправильный» диалект перед гражданами национального государства, где язык был провозглашен важнейшим символом независимости от османского правления. Кроме того, в последние десятилетия мы наблюдаем в России значительный рост публичной значимости не только этнических, но и локальных языковых идентичностей. В свете этого турецкий диалект греков также становится более заметным в языковом ландшафте Северного Кавказа и находит новые способы репрезентации (в том числе в онлайн-пространстве).

Полевой материал демонстрирует, что язык, несмотря на стигматизацию и ассоциации с «чужим» или даже «вражеским», продолжает оставаться важным элементом внутригруппового общения, а в ряде случаев — и предметом символической гордости. Внутри сообщества сосуществуют и конкурируют различные языковые идеологии: с одной

стороны, идеология аутентичности, стремящаяся присвоить идиом как часть собственного культурного наследия, с другой — идеология анонимности, рассматривающая язык как нейтральный медиум коммуникации. Выбор самоназвания диалекта, обращение к его историческим и лингвистическим особенностям служат инструментами как отчуждения, так и присвоения языка. Историческая травма, связанная с геноцидом и вынужденной миграцией, продолжает влиять на эмоциональное восприятие идиома (и оказывается настолько сильна, что не позволяет языку обрести статус анонимного медиума), однако наблюдается и тенденция к его переосмыслению как уникального, «смешанного», отличного от современного турецкого. Таким образом, диалект становится атрибутом локальной (цалкинской, грузинской) греческой идентичности, но не символом «греческости» в целом.

Научный вклад работы заключается в том, что на основе обширного полевого материала систематизированы современные дискурсивные практики вокруг турецкого диалекта у греков Северного Кавказа, а также предложено применение теоретических рамок К. Вулард и М. Херцфелда для анализа противоречивого статуса идиома. Показано, что язык может одновременно выступать объектом стигматизации и символом локального единства. Эти наблюдения расширяют понимание механизмов формирования этнической идентичности.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на сравнительный анализ аналогичных стратегий в других многоязычных сообществах и изучение трансформации языковых идеологий в цифровых медиа.

Литература

Аклаев 1988 — А. Р. Аклаев. Этноязыковая ситуация и особенности этнического самосознания грузинских греков (по материалам исследования в Цалкинском районе) // Советская этнография. 1988. № 5. С. 60–71.

Андерсон 2001 — Б. Андерсон. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 2001.

Баранова 2010 – В. В. Баранова. Язык и этническая идентичность. Урумы и румеи Приазовья. М.: Издательский дом Государственного университета — Высшей школы экономики, 2010.

Вахтин 1998 — Н. Б. Вахтин. Исчезновение языка и языковая трансформация: заметки о метафоре «языковой смерти» // Н. А. Козинцева, А. К. Оглоб-

лин (ред.). Типология. Грамматика. Семантика. К 65-летию В. С. Храковского. СПб.: Наука, 1998. С. 115–128.

Вахтин 2001 — Н. Б. Вахтин. Условия языкового сдвига (К описанию современной языковой ситуации на Крайнем Севере) // Вестник молодых ученых. Серия: Филологические науки. 2001. № 1. С. 11–16.

Викторова 2007 — К. В. Викторова. Языковой сдвиг как социолингвистическое явление // Н. Б. Вахтин (отв. ред.). Языковые изменения в условиях языкового сдвига. Сборник статей. СПб.: Нестор, 2007. С. 59–85.

Джикия 1958 — С. С. Джикия. О диалектологической работе по тюркским языкам в Грузинской ССР // Вопросы диалектологии тюркских языков. Труды ИЛЯ АН АзССР. 1958. Т. XII. С. 107–110.

Елоева 2002 — Ф. А. Елоева. Проблемы языков дисперсных групп: Тюркоязычные православные греки Цалкинского и Тетрицкаровского районов Грузии. СПб.: СПбГУ, 2002.

Климова, Никитина 2023 — К. А. Климова, И. О. Никитина. Традиционная культура ромеев и урумов (по материалам этнолингвистической экспедиции к грекам Кавказских Минеральных Вод) // Славянский альманах. 2023. № 3–4. С. 302–319. DOI: 10.31168/2073-5731.2023.3-4.15.

Кононов 1982 — А. Н. Кононов. История изучения тюркских языков в России. Дооктябрьский период. Л.: Наука, 1982.

Корелов 1970 — И. А. Корелов. Язык триалетских урумов и его специфические особенности: Автореф. дисс... канд. филол. наук. Баку: Азербайджанский государственный университет им. С. М. Кирова, 1970.

Пашаева 1972 — Л. Б. Пашаева. Порядок раздела в семье урумов в прошлом // А. И. Робакидзе (ред.). Кавказский этнографический сборник. Т. IV. Тбилиси: Мецниерба, 1972. С. 93–108.

Тенишев 1973 — Э. Р. Тенишев. Говор урумов села Прасковеевки // Советская тюркология. 1973. № 1. С. 92–96.

Dorian 1982 — N. C. Dorian. Language Loss and Maintenance in Language Contact Situations // R. D. Lambert, B. F. Freed (eds.). The Loss of Language Skills. Rowley: Newbury House Publishers, Inc., 1982. P. 44–59.

Eloeva 2013 — F. A. Eloeva. Turkic-speaking Orthodox Greeks: The conflict of faith, mentality and language // Acta Linguistica Petropolitana. 2013. Т. IX. Ч. 3. С. 399–421.

Gal, Woolard 2001 — S. Gal, K. A. Woolard. Constructing Languages and Publics: Authority and Representation // S. Gal, K. A. Woolard (eds.). Languages and Publics: The Making of Authority. Manchester: St. Jerome, 2001. P. 1–12. DOI: 10.4324/9781315759647.

Herzfeld 2016 — M. Herzfeld. Cultural intimacy: social poetics and the real life of social institution. 3rd edition. Abingdon: Routledge, 2016.

Höfler 2016 — C. M. Höfler. Group belonging beyond language boundaries: Language, religion and identity in the multilingual Greek community of Georgia // STUF — Language Typology and Universals. 2016. Vol. 69. No. 2. P. 213–234. DOI: 10.1515/stuf-2016-0010.

Mackridge 1987 — P. Mackridge. Greek-speaking Moslems of North-East Turkey: Prolegomena to a study of the Ophitic sub-dialect of Pontic // Byzantine and Modern Greek Studies. 1987. No. 11. P. 115–137. DOI: 10.1179/030701387790203037.

Mackridge 1991 — P. Mackridge. The Pontic Dialect: A Corrupt Version of Ancient Greek? // Journal of Refugee Studies. 1991. Vol. 4. Iss. 4. P. 335–339. DOI: 10.1093/jrs/4.4.335.

Manoukian 2024 – J. Manoukian. Forbidden Attraction: Ottoman Armenians and the Turkish Language in the Age of Nationalism // Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association. 2024. Vol. 11. No. 1. P. 209–243. DOI: 10.2979/TUR.00028.

Podolsky 1986 — B. Podolsky. Notes on the Urum language // Mediterranean Language Review. 1986. Vol. 2. P. 99–112.

Popov 2004 — A. Popov. From Pindos to Pontus: the Ethnicity and Diversity of Greek Communities in Southern Russia // Bulletin: Anthropology, Minorities, Multiculturalism. 2004. No. 5. P. 84–90.

Sideri 2006 — E. Sideri. The Greeks of the Former Soviet Republic of Georgia: Memories and Practices of Diaspora. PhD thesis. London: University of London, 2006.

Skopeteas 2013 — S. Skopeteas. The Caucasian Urums and the Urum language // Journal of Endangered Languages: Turkic Languages. Vol. 3. P. 333–364. [Электронный источник]. URL: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/305245 (дата обращения: 09.03.2025).

Voutira 2006 — E. A. Voutira. Post-Soviet Diaspora Politics: The Case of the Soviet Greeks // Journal of Modern Greek Studies. 2006. Vol. 24 (2). P. 379–414.

Woolard 2016 — K. A. Woolard. Singular and Plural: Ideologies of Linguistic Authority in 21st Century Catalonia. New York: Oxford University Press, 2016.

Xanthopoulou-Kyriakou 1991 — A. Xanthopoulou-Kyriakou. The Diaspora of the Greeks of the Pontos: Historical Background // Journal of Refugee Studies. 1991. Vol. 4. Iss. 4. P. 357–363. DOI: 10.1093/jrs/4.4.357.

Zoumpalidis 2012 — D. Zoumpalidis. The status of ethnic and non-ethnic languages of Pontic Greeks in the North Caucasus // K. K. Grohmann, A. Shelkovaya, D. Zoumpalidis (eds.). Linguists of Tomorrow: Selected Papers from the 1st International Postgraduate Conference in Theoretical and Applied Linguistics. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012. P. 260–279.

Zoumpalidis 2017 — D. Zoumpalidis. Changing attitudes: reconsidering the role of Turkish in the community of Pontic Greeks in Cyprus // Journal of the Anthropological Society of Oxford Online. 2017. Vol. 9 (1). P. 25–42.

References

Aklayev 1988 — A. R. Aklayev. Etnoyazykovaya situatsiya i osobennosti etnicheskogo samosoznaniya gruzinskikh grekov (po materialam issledovaniya v Tsalkinskom rayone) [Ethnolinguistic situation and features of the ethnic self-consciousness of Georgian Greeks (Based on research in the Tsalkinsky District)]. *Sovetskaya etnografiya*. 1988. No. 5. P. 60–71.

Anderson 2001 — B. Anderson. *Voobrazhaemyye soobshchestva. Razmyshleniya ob istokakh i rasprostranenii natsionalizma* [Imagined communities: Reflections on the origins and spread of nationalism]. Moscow: KANON-Press-C; Kuchkovo Pole, 2001.

Baranova 2010 — V. V. Baranova. *Yazyk i etnicheskaya identichnost. Urumy i rumei Priazovya* [Language and ethnic identity: *Urumy* and *Rumei* of the Azov Region]. Moscow: Publishing House of the Higher School of Economics, 2010.

Dorian 1982 — N. C. Dorian. Language Loss and Maintenance in Language Contact Situations. R. D. Lambert, B. F. Freed (eds.). *The Loss of Language Skills*. Rowley: Newbury House Publishers, Inc., 1982. P. 44–59.

Dzhikiia 1958 — S. S. Dzhikiia. O dialektologicheskoy rabote po tyurkskim yazykam v Gruzinskoy SSR [On dialectological work on Turkic languages in the Georgian SSR]. *Voprosy dialektologii tyurkskikh yazykov*. *Trudy Instituta Literatury i Yazykoznaniya Akademii nauk Azerbaydzhanskoy SSR.* 1958. Vol. XII. P. 107–110.

Eloeva 2013 — F. A. Eloeva. Turkic-speaking Orthodox Greeks: The conflict of Faith, Mentality and Language. *Acta Linguistica Petropolitana*. 2013. Vol. IX. Pt. 3. P. 399–421.

Gal, Woolard 2001 — S. Gal, K. A. Woolard. Constructing Languages and Publics: Authority and Representation. S. Gal, K. A. Woolard (eds.). *Languages and Publics: The Making of Authority*. Manchester: St. Jerome, 2001. P. 1–12. DOI: 10.4324/9781315759647.

Herzfeld 2016 — M. Herzfeld. *Cultural Intimacy: Social Poetics and the Real Life of Social Institutions*. 3rd ed. Abingdon: Routledge, 2016.

Höfler 2016 — C. M. Höfler. Group belonging beyond language boundaries: Language, religion and identity in the multilingual Greek community of Georgia. *STUF – Language Typology and Universals*. 2016. Vol. 69. No. 2. P. 213–234. DOI: 10.1515/stuf-2016-0010.

Klimova, Nikitina 2023 — K. A. Klimova, I. O. Nikitina. Traditsionnaya kultura romeyev i urumov (po materialam etnolingvisticheskoy ekspeditsii k grekam Kavkazskikh Mineralnykh Vod) [Traditional culture of the Romaioi Greeks and Urumlar Greeks (on the materials of the ethnolinguistic expedition to the Greeks of Caucasus Mineral Waters Region)]. *Slavyanskiy almanakh*. 2023. No. 3–4. P. 302–319. DOI: 10.31168/2073-5731.2023.3-4.15.

Kononov 1982 — A. N. Kononov. *Istoriya izucheniya tyurkskikh yazykov v Rossii. Dooktyabrskiy period* [History of the study of Turkic languages in Russia. The pre-revolutionary period]. Leningrad: Nauka, 1982.

Korelov 1970 — I. A. Korelov. *Yazyk trialetskikh urumov i ego spetsificheskie osobennosti* [The Language of Triyalet Urum and its specific features]. Author's abstract of candidate thesis. Baku: Azerbaijani State University named after S. M. Kirov, 1970.

Mackridge 1987 — P. Mackridge. Greek-speaking Moslems of North-East Turkey: Prolegomena to a study of the Ophitic sub-dialect of Pontic. *Byzantine and Modern Greek Studies*. 1987. No. 11. P. 115–137.

Mackridge 1991 — P. Mackridge. The Pontic Dialect: A Corrupt Version of Ancient Greek? *Journal of Refugee Studies*. 1991. Vol. 4. Iss. 4. P. 335–339. DOI: 10.1093/jrs/4.4.335.

Manoukian 2024 – J. Manoukian. Forbidden Attraction: Ottoman Armenians and the Turkish Language in the Age of Nationalism. *Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association*. 2024. Vol. 11. No. 1. P. 209–243. DOI: 10.2979/TUR.00028.

Pashaeva 1972 — L. B. Pashaeva. Poryadok razdela v seme urumov v proshlom [The Division of property in Urum families in the past]. A. I. Robakidze (ed.). *Kavkazskiy etnograficheskiy sbornik* [Caucasian ethnographic collection]. Vol. 4. Tbilisi: Metsnierba, 1972. P. 93–108.

Podolsky 1986 — B. Podolsky. Notes on the Urum language. *Mediterranean Language Review*. 1986. Vol. 2. P. 99–112.

Popov 2004 — A. Popov. From Pindos to Pontus: The Ethnicity and Diversity of Greek Communities in Southern Russia. *Bulletin: Anthropology, Minorities, Multiculturalism*. 2004. No. 5. P. 84–90.

Sideri 2006 — E. Sideri. *The Greeks of the Former Soviet Republic of Georgia: Memories and Practices of Diaspora*. PhD thesis. London: University of London, 2006.

Skopeteas 2013 — S. Skopeteas. The Caucasian Urums and the Urum language. *Journal of Endangered Languages: Turkic Languages*. Vol. 3. P. 333–364. [Electronic resource]. Available at: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/305245 (accessed on 09.03.2025).

Tenishev 1973 — E. R. Tenishev. Govor urumov sela Praskoveevki [The Dialect of Urum speakers of the village of Praskoveevka]. *Sovietskaya tyurkologiya*. 1973. No. 1. P. 92–96.

Vakhtin 1998 — N. B. Vakhtin. Ischeznoveniye yazyka i yazykovaya transformatsiya: zametki o metafore "yazykovoy smerti" [Language extinction and language transformation: Notes on the metaphor of "Language death"]. N. A. Kozintseva, A. K. Ogloblin (eds.). *Tipologiya. Grammatika. Semantika. K 65-letiyu V. S. Khrakovskogo* [Typology. Grammar. Semantics. In honor of V. S. Khrakovsky's 65th anniversary]. St. Petersburg: Nauka, 1998. P. 115–128.

Vakhtin 2001 — N. B. Vakhtin. Usloviya yazykovogo sdviga (K opisaniyu sovremennoy yazykovoy situatsii na Kraynem Severe) [Conditions of language shift (On the Description of the modern linguistic situation in the Far North)]. *Vestnik molodykh uchenykh. Seriya: Filologicheskie nauki*. 2001. No. 1. P. 11–16.

Viktorova 2007 — K. V. Viktorova. Yazykovoy sdvig kak sotsiolingvisticheskoe yavlenie [Language shift as a sociolinguistic phenomenon]. N. B. Vakhtin (ed.). *Yazykovye izmeneniya v usloviyakh yazykovogo sdviga. Sbornik statey* [Linguistic changes in conditions of language shift. Collection of articles]. St. Petersburg: Nestor, 2007. P. 59–85.

Voutira 2006 — E. A. Voutira. Post-Soviet Diaspora Politics: The Case of the Soviet Greeks. *Journal of Modern Greek Studies*. 2006. Vol. 24 (2). P. 379–414.

Woolard 2016 — K. A. Woolard. *Singular and Plural: Ideologies of Linguistic Authority in 21st Century Catalonia.* New York: Oxford University Press, 2016.

Xanthopoulou-Kyriakou 1991 — A. Xanthopoulou-Kyriakou. The Diaspora of the Greeks of the Pontos: Historical Background. *Journal of Refugee Studies*. 1991. Vol. 4. Iss. 4. P. 357–363. DOI: 10.1093/jrs/4.4.357.

Yeloeva 2002 — F. A. Yeloeva. *Problemy yazykov dispersnykh grupp: Tyurkoyazychnye pravoslavnye greki Tsalkinskogo i Tetritskarovskogo rayonov Gruzii* [Problems of languages of dispersed groups: Turkic-speaking Orthodox Greeks in the Tsalkinsky and Tetriskaroysky Districts of Georgia]. St. Petersburg: St. Petersburg State University Press, 2002.

Zoumpalidis 2012 — D. Zoumpalidis. The status of ethnic and non-ethnic languages of Pontic Greeks in the North Caucasus. K. K. Grohmann, A. Shelkovaya, D. Zoumpalidis (eds.). *Linguists of Tomorrow: Selected Papers from the 1st International Postgraduate Conference in Theoretical and Applied Linguistics*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012. P. 260–279.

Zoumpalidis 2017 — D. Zoumpalidis. Changing attitudes: reconsidering the role of Turkish in the community of Pontic Greeks in Cyprus. *Journal of the Anthropological Society of Oxford Online*. 2017. Vol. 9 (1). P. 25–42.

Получено / received 6.04.2025 *Принято / accepted 2.07.2025*

Acta Linguistica Petropolitana. 2025. Vol. 21.2. P. 104–175
DOI: 10.30842/alp23065737212104175

«Путешествие по России для исследования трех царств естества» С. Г. Гмелина между латинским, немецким и русским: камерализм, ботаническая номенклатура и национальный язык науки

М. М. Пироговская
Мюнхен, Германия; adeyanova@gmail.com; ORCID: 0000-0001-9503-696X

О. С. Беличенко
Париж, Франция; nemoi.svidetel@gmail.com; ORCID: 0000-0001-8988-2051

К. И. Коваленко
Европейский университет в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, Россия); kira.kovalenko@gmail.com; ORCID: 0000-0003-3361-8205

В. Б. Колосова
Европейский университет в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, Россия); chakra@eu.spb.ru; ORCID: 0000-0003-3129-1894

А. С. Щекин
Европейский университет в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, Россия); Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург, Россия); shekinalexey@gmail.com; ORCID: 0009-0009-1773-8486

Аннотация. В статье на примере русского перевода «Путешествия» С. Г. Гмелина исследуется процесс натурализации научных названий растений. Опираясь на количественные методы, а также на подходы из истории языка и истории науки, авторы анализируют конфликт между линнеевской систематикой и камерализмом, в результате которого в научный контекст попадали локализмы — местные названия утилитарно значимых растений. Тем самым академические экспедиции можно рассматривать как ситуацию контакта разных типов знания — европейской академической науки и этноботаники.

Ключевые слова: академические экспедиции, перевод, камерализм, ботаническая номенклатура, этноботаника, *digital humanities*, PhytoLex, фитонимия, С. Г. Гмелин, И. И. Лепехин.

Благодарности. Исследование выполнено в рамках проекта «Растения и люди в Российской империи XVIII века: сословная дистрибуция знаний и практик» (Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2022–2024). Авторы признательны Г. М. Воробьеву, Т. В. Костиной, М. Л. Сергееву и А. А. Федотовой за ценные комментарии.

“Travels through Russia to Investigate the Three Natural Realms” by Samuel Gottlieb Gmelin between Latin, German and Russian: Cameralism, Botanical Nomenclature and the National Language of Science

Maria M. Pirogovskaya

Munich, Germany; adeyanova@gmail.com; ORCID: 0000-0001-9503-696X

Olga S. Belichenko

Paris, France; nemoi.svidetel@gmail.com; ORCID: 0000-0001-8988-2051

Kira I. Kovalenko

European University at St. Petersburg (St. Petersburg, Russia);
kira.kovalenko@gmail.com; ORCID: 0000-0003-3361-8205

Valeria B. Kolosova

European University at St. Petersburg (St. Petersburg, Russia); chakra@eu.spb.ru;
ORCID: 0000-0003-3129-1894

Aleksey S. Shchekin

European University at St. Petersburg (St. Petersburg, Russia);
Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences (St. Petersburg, Russia);
shekinalexey@gmail.com; ORCID: 0009-0009-1773-8486

Abstract. The 18th century expeditions by the Russian Imperial Academy of Sciences were intended to inspect and study the natural resources of the Russian Empire. With a distinct cameralistic underpinning, the expeditions took note of local knowledge and practices, thoroughly documenting them to make the most of these resources.

The article examines materials of the 1768–1774 academic expeditions, led mostly by native Germans, that encountered new for them natural environments, animals, plants, minerals. They also had to address the issue of Latin scientific terminology naturalisation, i.e. to match Latin plant names with those used in the German or Russian vernaculars. Further, the Russian translators of the expedition reports prepared by German naturalists had to grapple with the same issue.

Drawing on approaches gleaned from language and science histories and based on quantitative methods, the paper analyses the process of Latin terms' naturalisation (including one-word, binomial or polynomial terms) and the emerging tension between the Linnaean taxonomy and the vernacular knowledge. To this end, a dataset of 1,585 plant names was extracted from the three-volume Russian translation of "Travels through Russia to Investigate the Three Natural Realms" by Samuel Gottlieb Gmelin. Comparative data was obtained from the German original by Gmelin and the Russian-language travelogue by the only Russian expedition leader, Ivan Lepekhin.

The authors seek to answer the following questions: what were the resources that the translators and naturalists in the case of auto-translations drew upon when naturalising Latin botanical terms? What factors determined the translatability of plant names? What purposes did these translations serve, and who were they produced for?

The article reveals the naturalisation strategies used, including an effort to preserve the newly introduced Linnaean principles and binomials alongside the plant names existing in local dialects of Russian, Persian, and other languages. The academic expeditions and their documentation are shown as zones of contact between the European natural history and the vernacular knowledge.

Keywords: scientific expeditions, translation, cameralism, botanical nomenclature, ethnobotany, digital humanities, PhytoLex, phytonymy, Samuel Gottlieb Gmelin, Ivan Lepekhin.

Acknowledgements. This research was realised within the project "Plants and People in the Eighteenth century Russian Empire: Social Distribution of Knowledge and Practices" (EUSPb, 2022–2024). Authors express their gratitude to Anastasia A. Fedotova, Tatiana V. Kostina, Mikhail L. Sergeev and Grigory M. Vorobyev for their invaluable comments to the drafts of this article.

1. Введение

В самом начале своего путешествия на юг Российской империи и в каспийские области Персии немецкий натуралист и профессор Императорской Академии наук Самуэль Готлиб Гмелин (1744–1774) писал в академическую канцелярию: «Все то, что я пишу на немецком языке,

не могу сам переписывать, а для такой переписки нет у меня кописта: да и из четырех российских учеников ни один не может переписывать, как то академии известно»[1]. Среди его ассистентов немецким владел только один, а общим языком коммуникации служил латинский: для Гмелина студенты кое-как переводили на латинский русскоязычную корреспонденцию, а его ответы — на русский, «чрез что мое мнение как в разговорах так и на письме часто выражается инако» [СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 34. Д. 15. Л. 28][2]. Проблема перевода не ограничивалась внутренней коммуникацией. Материалы академических экспедиций 1768–1774 гг. планировалось издать не только по-немецки, но и по-русски, а из всех начальников экспедиционных отрядов писать на русском языке мог только Иван Иванович Лепехин (1740–1802).

---

[1] При цитировании источников выносные буквы вносятся в строку; титла раскрываются (восстановленные буквы также вносятся в строку); вышедшие из употребления буквы и буквенные сочетания передаются соответствующими буквами современного алфавита, надстрочные знаки не воспроизводятся; предлоги, союзы и частицы передаются в раздельном написании с последующими или предыдущими словоформами. Немецкие и латинские термины приводятся в соответствии с оригиналами.

[2] Немецкий текст в деле отсутствует. Цитаты приведены по русскому переводу, сделанному в канцелярии Академии наук («выписка из седьмого рапорта г. профессора Гмелина из Воронежа от 20 ноября 1768 г.»). В том же рапорте Гмелин просил прислать ему студента, знающего латинский и немецкий, — Карла Людвига Габлица, медика и ботаника [Erik-Amburger-Datenbank: OID: 20802]. Всего в штате экспедиции было несколько студентов академической гимназии (немецкий был обязательным при обучении, но, видимо, до высокого уровня его выучивали не все). В исходном составе числились Николай Крашенинников, Иван Михайлов (Комов), Яков Ключарев, Андриан Соколов; позже присоединились Сергей Мошков и Габлиц. Также в штате были провизор Иоганн Даниэль Люте [Erik-Amburger-Datenbank: OID: 64423], чучельник Михаил Котов и рисовальщик Иван Борисов (после его смерти эту должность занял Кристиан Фридрих Бауэр), егерь, имя которого неизвестно, повар, слуги и казачий конвой (см. реестр с некоторыми описками в [СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 34. Д. 15. Л. 167; также: Гнучева (сост.) 1940: 96; Клейтман]). Как и другие начальники отрядов, Гмелин нанимал местных помощников, проводников и переводчиков, хотя освоение локальных языков ожидалось и от студентов [СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 34. Д. 20. Л. 25; СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 33. Д. 1. Л. 14об.–15; СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 541. Л. 65об.]. Историю академических экспедиций как межкультурного контакта еще предстоит написать.

И если путевые отчеты, присылавшиеся в канцелярию и там переводившиеся, не требовали тщательной работы с естественнонаучным аппаратом, то подготовка материалов к печати ставила вопрос, что делать с названиями растений в текстах участников экспедиций.

Академические экспедиции 1768–1774 гг. состояли из нескольких отрядов, каждый из которых возглавлял ученый-натуралист с западноевропейским образованием. Иоганн Петер Фальк и Иоганн Готлиб Георги учились в Упсале у Линнея; Петер Симон Паллас учился в Галле, Гёттингене и Лейдене, Иоганн Антон Гюльденштедт — в Берлине и Франкфурте-на-Одере. Гмелин принадлежал к обширной тюбингенской династии естествоиспытателей, окончил Тюбингенский университет и стажировался в Лейдене и Сорбонне. Лепехин учился в Петербурге и Страсбурге. Отряды Палласа, Лепехина и Фалька образовывали Оренбургскую экспедицию; отряды Гмелина и Гюльденштедта — Астраханскую. Территории, которые им предстояло исследовать, простирались от черноземных губерний до Персии, от волжских степей до Саянских гор на востоке Сибири.

Маршрут отряда Гмелина пролегал через Москву и Воронеж и затем через Черкасск и Азов шел на Царицын и Астрахань. Из Астрахани, которая служила его отряду своего рода базой, Гмелин предпринял несколько поездок в регионы вдоль западного, южного и восточного берегов Каспийского моря и из персидской области Гилян планировал вернуться сухим путем через Восточный Кавказ обратно в Астрахань, но на территории современного Дагестана попал в плен и через несколько месяцев погиб[3].

Описывая регионы Российской империи, Персии и Кавказа, все участники академических экспедиций 1768–1774 гг. так или иначе сталкивались с задачей **натурализации** латинской естественнонаучной терминологии, т. е. ее перевода на вернакулярные языки — немецкий или русский. Те петербургские натуралисты, которые могли писать по-русски, обнаруживали необходимость терминологического творчества при автопереводах с латинского. Иностранцы на российской службе сталкивались с той же проблемой при письме по-немецки,

[3] См. путевой план Гмелина в [СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 34. Д. 1. Л. 39–41; см. также: [Гнучева (сост.) 1940: 102–103].

а публикация их трудов по-русски делегировала проблему русским переводчикам. Настоящая статья посвящена условиям и принципам трансмиссии данных, созданных во время экспедиций 1768–1774 гг., на примере названий растений. Какие ресурсы привлекались академическими переводчиками — и натуралистами в случае автопереводов — в процессе натурализации латинской ботанической терминологии? Какие факторы определяли переводимость тех или иных названий и как перевод влиял на пополнение фитонимического хозяйства русского языка? Наконец, каким целям служили эти переводы и на кого они были рассчитаны?

Уже в 1821 г. составители переиздания трудов Лепехина отмечали обилие «простонародной лексики» в его ботанических описаниях [Лепехин 1821: 321; Сухомлинов 1874–1888, II: 209–210, 482–502][4]. Однако причины, обусловившие подобный выбор Лепехина при автопереводах с латинского, а также стратегии переводчиков, которые занимались материалами его товарищей по экспедициям, не привлекали внимания историков науки. Исследования по истории русской научной терминологии второй половины XVIII в. велись преимущественно лексикологами и историками языка, которые либо рассматривали общую логику и тенденции становления терминологических систем, либо сосредотачивались на идиолектах и признаках авторского стиля[5]. Напротив, в западноевропейской исследовательской традиции проблема перевода как активного присвоения научных идей в конкретных социополитических обстоятельствах и, шире, текстового трансфера была распознана как неотъемлемая часть транснациональной истории науки относительно недавно[6]. Вероятно, такое расхождение

---

[4] О народно-разговорной лексике, в том числе локализмах и этнографизмах, в ученых записках второй половины XVIII в. см. также [Мальцева 1981: 143–148].

[5] Русификации терминологии во второй половине XVIII в. посвящено множество лексикологических работ [Кутина 1964, 1966; Биржакова и др. 1972; Хомякова 1984; Тарасова 1993; Романов 1997; Веклич 1999, 2008; Волков (ред.) 2010; Соколов 2013]. Об исследованиях ботанической терминологии будет сказано ниже.

[6] См., например, [Sabra 1987; Montgomery 2000; Rupke 2000; Wright 2000]. Историческая обусловленность перевода как способа трансфера знания (translatio studii), его деконтекстуализации и реконтекстуализации обсуждается в [Burke, Hsia (eds.) 2007: 7–38; 161–217; Duris (ed.) 2008a]; зоны пересечения истории

было обусловлено социально-политическими и эпистемологическими причинами. Западная история науки долгое время была эмпирически-позитивистской и трактовала производство знания в универсальных терминах, независимых от языка и текстовой реальности, остававшихся слепым пятном даже после поворота к объектам и практикам науки [Dietz 2016a]. В СССР переводы научных текстов попадали в поле внимания ученых при исследовании формирования русской терминологии, что соответствовало общему курсу на создание национальной истории науки (при этом лексикология предоставляла больше свободы, чем собственно исторические подходы, находившиеся под плотным идеологическим контролем[7]). Однако и в целом исследования культурного перевода как часть культурного поворота в гуманитарных дисциплинах, проблематизирующие отношения донора и реципиента, влияние локального контекста на практики, логику интерпретации и способы присвоения понятий и знания в целом, интенсифицировались в последние два десятилетия[8].

Сама по себе проблема языков науки и научного перевода находится на пересечении истории создания новых языковых регистров и стандартов, с одной стороны, и трансфера идей и понятий, с другой, и напрямую связана с взаимодействием институтов и социальных групп, силами и/или в интересах которых делается перевод. В этом отношении перевод представляет собой не только результат культурного диалога, но и социальный факт культуры-реципиента, который говорит о языковых предпочтениях, конфигурации вкусов, власти и статусе. Соответственно, вопрос перевода латинских естественно-

---

перевода и истории науки — в [Olohan, Salama-Carr (eds.) 2011; Olohan 2014]; языки науки и трансформация научного дискурса — в [Gunnarsson (ed.) 2011]; стратегии перевода и роль переводчиков в эпоху научной революции — в [Cook, Dupré (eds.) 2012]; вопросы натурализации, адаптации и цензуры в переводе / трансляции знания — в [Bret, Peiffer (eds.) 2020; Sumillera et al. (eds.) 2020].

[7] См., например, работу о рецепции Бюффона в России: [Райнов 1939].

[8] О переводе как диалоге культур в целом см. [Бахманн-Медик 2017]. О переводах как историческом механизме «самопостижения культуры» и выработки русской общественно-политической терминологии XVIII в. см.: [Польской, Ржеуцкий 2022]. О русской переводческой деятельности, без фокуса на истории науки, см. также [Переводчики и переводы 2019].

научных текстов в целом и терминологии в частности на европейские вернакулярные языки, включая русский, требует междисциплинарного подхода, выходящего за пределы анализа общеязыковых тенденций или комментирования индивидуальных авторских и переводческих решений. В процессе перевода происходила выработка новых понятий и форм письма (стилей, жанров, регистров), на которые, в свою очередь, влияли локальная культурная логика и социальный контекст.

Хотя русской ботанической терминологии посвящено немало публикаций, большая их часть сфокусирована на выработке понятий, связанных с морфологией растений, то есть той части ботанического аппарата, которая в современном языке имеет несомненный терминологический статус[9]. Исследователи отмечали высокую вариативность терминологии, возникшую в результате бума переводов с разных языков и в разных жанрах, а также склонность переводчиков привлекать ресурсы русского и церковнославянского языков и экспериментировать с неологизмами, чтобы избежать иноязычных заимствований [Кутина 1964; Итунина 1999: 191–199]. Вместе с тем в сочинениях второй половины XVIII в. прослеживаются тенденции к нормализации научной лексики и тем самым к сокращению вариативности [Волков 2021: 108–112]. Впрочем, поскольку работы этого рода написаны лексикологами, социокультурные контексты ботанических и других естественнонаучных переводов в них почти не комментируются. Еще в меньшей степени исследован процесс натурализации научных названий растений — вероятно, в силу того, что названия растений на русском (как и на других вернакулярных языках) нестабильны, не считаются полноценными терминами и потому при изучении истории терминологии уходят на второй план[10]. Так, одна из немногих работ на эту тему,

[9] Ботаническая терминология с лексикологической точки зрения рассматривается в [Тарко 1967; Сикорская 1989; Итунина 1999; Сорокин 1966; Доуэльд 2004; Волков 2019, 2021]. Некоторый обзор динамики морфологических терминов дан в [Щербакова 1960]. О стратегиях поиска соответствий между латинскими и русскими фитонимами см. тезисы [Коваленко, Колосова 2024].

[10] Проблемы стандартизации русских научных названий растений обсуждались в дореволюционной и советской ботанике, но в прикладном, а не историческом измерении, с целью демонстрации и поддержания национальной языковой и научной автономии [Семенов 1878; Забинкова 1965, 1966]. См. также [Цвелев 2011].

посвященная авторскому стилю Лепехина, выделяет два способа его работы с названиями — внедрение экзотизмов, заимствованных у европейских натуралистов, и использование народных фитонимов в случае российской флоры, с целью заполнить «номинационный вакуум» при описании больших массивов материала [Волков 2021: 113–116]. На наш взгляд, однако, картина сложнее и связана с несоизмеримостью ученого и народного знания и соответствующих представлений их носителей (поэтому, например, в ряде случаев для названия российских растений и привлекались ресурсы европейской ботаники).

Для ответа на поставленные выше вопросы мы анализируем научные названия растений, извлеченные из русского перевода «Путешествия по России для исследования трех царств естества» Самуэля Готлиба Гмелина методом сплошной выборки (всего 1585 вхождений). В большинстве случаев переводчики опирались на немецкие соответствия, однако в ряде случаев им приходилось иметь дело лишь с латинскими названиями растений (однословными, биномиальными и полиномиальными, всего 361 словоупотребление, 327 уникальных фитонимов)[11]. В нашу выборку также включены оригинальные фитонимы, совмещающие немецкий и латинский (например, *der Sibirische Leonurus*), но исключены вхождения, где латинское название дублирует немецкое, что затрудняет анализ принципов перевода (например, *Acker-Ehrenpreiß (Veronica arvensis)*[12] → *вероника пашенная*).

---

[11] Биномиалы — двусоставные названия, состоящие из родового имени (nomen genericum) и видового эпитета / видового имени (nomen triviale). Для описания флоры впервые введены Карлом Линнеем в «Pan Svecicus» (1749), сельскохозяйственном справочнике о типах фуража и входящих в него видах растений. Биномиалы не только позволяли компактно представить царство растений как систему, но и были удобны для преподавания и полевой практики. До их внедрения в научной ботанике раннего Нового времени использовались полиномиалы — многосоставные диагностические названия растений, которые «строились таким образом, чтобы в них были отражены как признаки данного вида растений, так и отличия его от других видов того же рода. *Vaccinium pedunculis unifloris foliis serratis ovatis deciduis caule angulato* — полиномиальное название для черники» [Эбель 2008: 24]. Бинарное название черники — *Vaccinium myrtillus* L.

[12] Здесь и далее приводятся и рассматриваются латинские названия растений из источника, а не принятые в современной систематике. Возможные варианты

Термины, связанные с морфологией растений, не рассматриваются, так как основной задачей является изучение трансфера номинаций, который показывает точки напряжения между вернакулярными и научными названиями. Стратегии перевода исследуются как с помощью количественных методов, так и посредством лексикологического анализа отдельных фитонимов: русскоязычные фитонимы были внесены в базу данных PhytoLex[13], сверены с оригинальными названиями в немецком издании «Путешествия» и размечены по типу трансмиссии, использованной переводчиками, а затем выгружены и обработаны. Полный корпус примеров с комментариями опубликован в виде датасета [Беличенко и др. 2025]. Для сравнения рассматриваются названия растений в записках русскоязычного натуралиста Лепехина: корпус из 736 единиц, представляющих собой пару из названия на латинском языке и его соответствия на русском. Полученные данные осмысляются в более широком контексте транснациональной истории науки и истории языка. Междисциплинарная постановка вопроса определила и структуру статьи: сначала дается краткий очерк исторического фитонимического репертуара и роль переводов в его формировании (*Раздел 2*); в следующих разделах описывается экономическая подоплека европейской натуральной истории и, в частности, ботаники XVIII в. (*Раздел 3*); далее обсуждаются социальные и языковые контексты немецкого и русского вариантов «Путешествия» Гмелина и стратегии переводчиков (*Разделы 4–5*) и взаимодействие научной номенклатуры с народной таксономией (*Раздел 6*).

2. Исторический контекст: русская фитонимия и перевод

Одним из аспектов проблемы перевода является вопрос арсенала языковых средств, имевшихся в распоряжении переводчика, и его непосредственных новаций. В древнерусских источниках названия

идентификации растений см. в опубликованном датасете [Беличенко и др. 2025] и в базе данных PhytoLex.

[13] О принципах организации базы данных см.: [Колосова, Коваленко 2023: 152–153].

растений представлены достаточно скудно. Это объясняется жанровой структурой древнерусской письменности, которую составляют преимущественно богослужебные и богословские произведения, жития, хронографы, юридические и бытовые тексты [Живов 2017, I: 212]. Подобные жанры в целом не предполагали изобилия фитонимов. Отдельные вернакулярные названия растений встречаются в берестяных грамотах, однако их список ограничивается местными сельскохозяйственными культурами. Такая скудость — результат особенностей фиксации, а не отражение реальной картины: существование значительно большего разнообразия подтверждается тем, что многие фитонимы из более поздних текстов этимологически восходят к праславянскому и общеславянскому пласту лексики (например, **berza* ‘береза’, обнаруживаемая в памятниках письменности в XV в. [Филин 1972: 548]).

Самые ранние фитонимы из зафиксированных в Древней Руси содержатся в богослужебных текстах на старославянском языке, переведенных с греческого. Однако до XVI в. фитонимический трансфер носил точечный характер, так как сочинения, посвященные непосредственно растениям и их использованию, попадали в обиход крайне редко. Первые переводные трактаты по фармакологии, насыщенные названиями лекарственных ингредиентов и в первую очередь растений, появились при Василии III. В 1533/34 гг. придворный врач и астролог Николаус Бюлов (ок. 1465 — ок. 1548) перевел немецкий трактат Иоганна фон Кубе «Gaerde der suntheit», известный под названием «Благопрохладный вертоград»; предположительно, тот же Бюлов был причастен к переводу «малого трактата» о дистилляции страсбургского врача Иеронима Брауншвейгского [Морозов 2001: 112; Иванов, Левичкин 2022].

После Бюлова практика приглашать врачей из Европы для царских особ стала регулярной, что связывают с недоверием московского двора к местным целителям из-за боязни подкупа [Griffin 2022: 13]. Иностранные специалисты служили проводниками западноевропейского знания, которое все более активно осваивалось знатью. С другой стороны, сами они проявляли интерес к местному быту, создавая разговорники, словари и описания своего пребывания в России. Один из таких документов принадлежит кембриджскому медику Марку Ридли (1560 — ок. 1624), который, будучи личным врачом Федора Иоанновича, собирал русскую бытовую лексику, а также названия

болезней, животных и растений [Stone (ed.) 1996]. В свой разговорник Ридли включил названия не только обиходных растений, но и русско-латинские списки фармакологических ингредиентов (всего более трехсот наименований), видимо, в связи со своими профессиональными интересами [Коннова 2000: 33–34; 2017]. В ряде случаев он прибегал не к переводу как таковому, а к калькам и транслитерациям в обе стороны, что приводило к появлению «фантомных» русских и латинских слов. Тем не менее разговорник Ридли свидетельствует об интересе к чужой медицине, а также о сложности перевода одной системы знания в другую.

Как выглядели рецепты, которые выписывал Ридли, неизвестно, но иностранные врачи основанного в начале XVII в. Аптекарского приказа обычно писали их по-латински, а после этого приказные переводчики переводили их на русский — прибегая преимущественно к транслитерации [Олехнович 2020: 101]. По всей видимости, этот способ представлялся наиболее точно передающим иностранное фармакологическое знание для практических нужд — выдачи лекарств из запасов Аптекарского приказа и заказа необходимых ингредиентов.

Во второй половине XVI в. переводные медицинские трактаты постепенно начинают распространяться в списках. К этому же времени относятся сохранившиеся рукописные переводы польскоязычных травников Иеронима Спичинского и Шимона Сиреньского [Богоявленский 1960: 39–83; Николаев 2008: 90–91, 95–96]. Так же, как при переводе рецептов, основным способом перевода латинских названий растений в травниках остается транслитерация; транслитерировались и приведенные в оригинале названия на других языках. Названия растений, задействованных в хозяйственных и медицинских практиках, собирались в отдельные группы в словарях и тематических сводах. В азбуковниках XVII в. встречаются подразделы «травы», «зелия» или «семена», в которых приведены непонятные для книжников того времени названия растений — иноязычные или устаревшие, часто с указанием языка-источника [Коваленко 2018: 105].

Переводчики и переписчики пытались найти для иноязычных фитонимов русские эквиваленты. Например, в «Сказании о пропущении вод» переводчик отметил: «Амфендрова трава, по латынски, асетоза, по руски коневей щавей» [РНБ. Q.VI.7. Л. 8]. Растения, неизвестные

автору первого перевода, могли быть опознаны позже. Так, при включении материалов «Сказания» в свой азбуковник середины XVII в. соловецкий книжник Сергий Шелонин в некоторых случаях дописывал русские эквиваленты: «Беин гулъинскен лаубо, по латынски первинка, немецким же языком вилот ингрун, по руски не знаемо» — последние два слова зачеркнуты, над ними приписка рукой Сергия: «же крушина» [Коваленко 2017: 432]. Подобные пометки говорят как о попытках соотнести свое и чужое знание — в первую очередь высоко ценившееся знание лекарственного сырья, — так и об ограничениях, которые на эти попытки накладывали особенности описания и изображения. То или иное растение могло использоваться в культуре-реципиенте, но оставалось неузнанным из-за невозможности уверенного отождествления по иноязычному названию.

В эту же эпоху в русскую культуру проникают издания европейского ботанического Ренессанса, в которых количество растений неуклонно растет. Так, в Синодальной библиотеке сохранилось венецианское издание комментариев Пьетро Андреа Маттиоли к Диоскориду (1565), снабженное рукописным латинско-русским указателем к изображенным в книге растениям [Покровский 1912: 171–190]. Указатель включал латинские подписи к иллюстрациям с номером страницы, а также русский перевод: тем самым его можно интерпретировать как своего рода ботанический словарь. Примечательно, что русская часть содержит по большей части не транслитерации латинских фитонимов, а русские вернакулярные названия [Щербакова 1979: 35]. Хотя сама книга издана в середине XVI в., указатель датируется концом XVII — началом XVIII в. и атрибутируется или иеромонаху Чудова монастыря Герману, или переводчику и справщику московского Печатного двора Федору Поликарпову [Покровский 1912: 137; Щербакова 1979: 37].

Особенности текстового трансфера конца XVII — XVIII в., безусловно, влияли на фитонимический репертуар. С одной стороны, сохранялись ситуативные переводы на русский медицинских рецептов, хозяйственных и технологических записок, в которых транслитерация удерживала свои позиции как наиболее быстрый и компактный способ передачи информации. С другой стороны, возрастало количество «академических» переводов и изданий, благодаря которым расширя-

лось и знание о названиях растений, и непосредственно ботаническое знание. Например, рост количества переводов с западноевропейских языков, усилившийся с петровского времени, способствовал созданию многоязычных словарей и справочников, в которые включалась и информация о растениях и которые тем самым удлиняли синонимические цепочки фитонимов на разных языках. Значимым фактором интенсификации издательской и переводческой деятельности стало учреждение Академии наук (1724) и академической типографии, а с 1735 г. — регулярной конференции переводчиков, так называемого Российского собрания Академии наук. Конференция обсуждала языковые вопросы и утверждала сочинения на перевод, чем дальше, тем больше отдавая предпочтение востребованному у широкой публики «полезному» чтению. Среди таких изданий были сочинения хозяйственного и экономического характера. В 1738 г. в переводе Сергея Саввича Волчкова, секретаря канцелярии Академии наук, вышла «Флоринова экономия», популярный немецкий компендиум по ведению хозяйства; за десять лет она разошлась тиражом 1200 экземпляров [Marker 1985: 56–57]. В 1747 г. в его же переводе вышел «Экстракт Савариева лексикона», сокращенный вариант французского словаря коммерческих товаров (Dictionnaire universel du commerce, 1723–1730).

Другим институтом, способствующим накоплению ботанического знания, была собственно Академия наук, однако до середины XVIII в. ее публикации выходили на латинском и, реже, на немецком языке, а значительная доля собранных экспедиционных материалов обрабатывалась десятилетиями. Первым академическим путешествием, изданным Академией наук по-русски, было «Описание Земли Камчатки» (1755), собранное Степаном Петровичем Крашенинниковым из материалов Второй Камчатской экспедиции.

Записи Крашенинникова, как и использованные им материалы Георга Вильгельма Стеллера, носили отпечаток государственного экономического интереса. Для фиксации практик природопользования Крашенинников записывал местные названия. Среди примерно трехсот уникальных фитонимов, упомянутых в «Описании Земли Камчатки», более семидесяти приведено на индигенных языках — корякском, ительменском и айнском. Латинские названия растений в рукописи отсутствовали, что говорит о расстановке приоритетов в пользу

локального знания и локальных наименований. Это вызвало резкую критику в Академии наук [Степанов 1949: 58–59], и Крашенинников добавил их в виде примечаний. В подавляющем большинстве случаев Крашенинников использовал вернакулярные однословные названия — *брусница*, *кипрей*, *титихпу*, *шламда*; в редких случаях, когда название на русском состоит из двух слов, — это квазибиномиал, т. е. название, заимствованное из народной таксономии. Латинские эквиваленты, приведенные к таким названиям, не связаны с ними структурно и семантически: например, *круглая сарана — Lilium flore atro-rubente* (‘лилия с темно-красным цветком’. — *Авт.*)[14]. Точно так же лексически не связаны латинские номинации и названия, сформированные по модели ‘X трава’: *мятая трава* (*Cyperoides*), *сладкая трава* (*Sphondilium foliolis pinnatifidis Linn.<aei> <Hortus> Cliff.<ortianus> 103*) и т. д. Как видно из последнего примера, некоторые латинские эквиваленты представляли собой полиномиалы, включавшие отсылки к тем или иным естественнонаучным сочинениям. Влияние латинских номинаций на нюансы русского описания прослеживается в редких случаях — вероятно, когда научная номинация была единственной известной исследователю, и для русского текста он переводил ее с латинского (*Quercus marina Clus.<ii> et Lob.<elii> Ic.<ones Plantarum>* → *дуб морской трава*). Так, названия водорослей, объединенных родовым именем *Fucus*, Крашенинников переводит русским соответствием (*морская*) *капуста,* а диагностические признаки калькирует или перифразирует: *Fucus clavae facie* → *капуста дубине подобная*; *Fucus longissimus ad nervum undulatus* → *капуста, у которой листье борами* (т. е. оборками. — *Авт.*).

Таким образом, по состоянию на середину XVIII века русский фитонимический арсенал, если судить о нем по письменным источникам, был достаточно пестрым с точки зрения происхождения и структуры. В переводных сочинениях доминировали калькированные и транслитерированные с иностранных языков названия, а предпочтения переводчиков зависели от прагматики. Вернакулярные фитонимы на инди-

[14] К моменту публикации «Описания Земли Камчатки» линнеевские биномиалы еще не были широко распространены. Предложение швейцарского ботаника Альфонса Декандоля закрепить за растением какое-то одно латинское название со ссылкой на автора описания было принято лишь в 1867 г.

генных языках могли фиксироваться в записях натуралистов, но число таких публикаций было незначительным. Внимание к растительному миру было социально обусловлено, и его письменные репрезентации создавались разными группами сообразно конкретным потребностям. При этом большая часть растений привлекала внимание благодаря тем или иным утилитарным функциям.

3. Ботаника между камерализмом и каталогизацией

Академические экспедиции 1768–1774 гг., в которых участвовали Гмелин и Лепехин, должны были собрать сведения об экономическом потенциале разных территорий, а также о полезных навыках, ремеслах и практиках их обитателей. Тем самым они продолжали запущенную в петровское время «инвентаризацию государственного домохозяйства», наличного и потенциального[15]. Неслучайно планированием экспедиций 1768–1774 гг. Академия наук занималась совместно с Коммерц-коллегией, Медицинской коллегией и Вольным экономическим обществом, учрежденным в 1765 г. как институт российского камерализма [Сухомлинов 1874–1888, II: 476; Веселова 2004][16].

Камералистские интересы и принципы, направленные на расширение экспорта и снижение импорта, отражены и в указаниях, данных экспедиционным отрядам, и в генеральной инструкции, составленной Палласом и Гмелином[17]. В одном из своих писем к Карлу Линнею

---

[15] См. избранные работы об академических экспедициях: [Александровская 1989: 174–186; Колчинский и др. 2004; Бекасова 2010; Moon 2010]. См. также [Никитин 1950], хотя эта работа посвящена более широким вопросам экономической географии. О немецком и российском вариантах полицейского государства, которое выступало и заказчиком, и организатором инвентаризации см. [Raeff 1986: 310–346].

[16] О включенности ВЭО в сети придворного патронажа см. [Leckey 2011: 17–44]. О камерализме как прусской программе, нацеленной на изучение технических аспектов домоустройства, см. [Tribe 1984]. Камералистские материалы также публиковались в журналах Академии наук.

[17] См. тексты указаний и генеральной инструкции в [Сухомлинов 1874–1888, II: 472–481; Фрадкин 1950: 213–218]. В частности, Паллас и Гмелин опирались на документацию предыдущих академических экспедиций [Осипов 1993: 8].

Гмелин пишет об исследовании всех существующих в империи «живых произведений природы» (*viventia naturae producta*) как цели экспедиций [The Linnaean Correspondence Collection. L4009. f. 1]. Так, посылая из Воронежа рапорт о насекомых, из которых местные жители изготавливают малиновую краску, Гмелин приводит суммы, потраченные Коммерц-коллегией на импортную кошениль, подразумевая, что использование российского сырья помогло бы казне сохранить десятки тысяч рублей в год; в другом рапорте размышляет о выращивании в астраханских степях шафрана, кунжута и хлопка [СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 34. Д. 15. Л. 26–27; Протоколы ИАН 1897–1911, III: 63]. Практическими соображениями руководствовался и Лепехин, начавший свой доклад «Размышления о нужде испытывать лекарственную силу собственных произрастений» с линнеевской идеи экономии природы. Подчеркивая связь среды и конституции, он призывал лечить обусловленные средой болезни локальными и легкодоступными растениями — например, можжевельником вместо импортных гваяка и сассафраса [Лепехин 1783: 27][18]. Тем самым он вторил предложению Линнея заместить импортные слабительные и другие лекарства отечественными продуктами.

Экономические и академические цели участников экспедиций тесно переплетались: они стремились и к научным открытиям, и к оценке локальных ресурсов. Отчасти той же цели служили этнографические описания, представлявшие собой промежуточный жанр между отчетами в духе камерализма и сочинениями по натуральной истории: в них фиксировались как непривычные европейскому взгляду нравы и обычаи местных жителей, так и локальные знания, приемы и технологии, способные принести пользу государству. Подобный подход был в целом присущ европейской натуральной истории XVIII в., которую можно рассматривать не как производство собственно научного знания, но как процесс сциентизации экономически и политиче-

[18] Эти идеи восходят к началу XVII в., когда в немецкоязычной Европе обсуждение безопасности импортных лекарств для европейских телесных типов привело к созданию так называемых «местных флор», хотя сам термин оформился много позже [Cooper 2007: 24–25, 27–28]. Подробнее о «местных флорах» см. ниже.

ски ангажированных путешествий [Sörlin 2000: 55–56; Hodacs 2018]. Например, «Инструкция путешественнику», составленная одним из учеников Линнея, предписывала уделять внимание не только вопросам ботаники, зоологии, географии и минералогии, но и сельского хозяйства и торговли [Nordblad 1760][19]. Те же вопросы обсуждались в диссертации Матвея Ивановича Афонина (1766), русского студента Упсалы [Бобров 1970: 238–240].

Экономическая ботаника была частью камералистской программы, поддерживаемой университетами от Галле до Упсалы, и представляла собой еще один инструмент мониторинга, оценки и освоения природных ресурсов[20]. Для Российской империи растения также представляли и государственный, и естественнонаучный интерес: отправка семян и саженцев из государственных ботанических садов за границу не поощрялась, а исследования российской флоры должны были в первую очередь публиковаться в России[21]. Значимой на государственном уровне была и академическая конкуренция: натуралисты должны были умножить славу «премудрой монархини, которая должна чрез то получить такое же приращение, которое Людвиг XIV получил учиненным чрез Турнефорта исследованием Леванта, также для чести Императорской Академии наук, которая может спознать персидские и грузинские редкости» [СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 34. Д. 1. Л. 41]. Поэтому ботанические описания были важной частью экспедиционных отчетов, которые предполагалось издать силами Академии наук [Фрадкин 1950: 217].

---

[19] О камералистском измерении шведских экспедиций и понятии экономии, в том числе в трактовке самого Линнея, см. [Sörlin 2000: 55–57, 62–65; Koerner 1996; Hodacs 2018: 243–246].

[20] Деятельность российской Академии наук в этом отношении сравнима с практиками соседних империй и пост-империй, например, Швеции [Sörlin 2000: 53–54, 58–61].

[21] Такое же переплетение представлений о безопасности и престиже прослеживается в документах об увольнении из Академии наук ботаника Буксбаума, а затем — переписке вокруг материалов Второй Камчатской экспедиции [Материалы для истории ИАН 1885–1900, I: 535; там же, IX: 405]. Обходя государственный контроль над своими материалами, западные натуралисты, работавшие в России, встраивались в сети обмена с европейскими ботаническими садами либо через дипломатов, либо через частных лиц [Бобров 1970: 168, 245–246, 249; Rowell 1980: 17].

Генеральная инструкция прямо указывала необходимость «познания разных в медицине, экономии и купечестве полезных трав, а особливо таких, которые или иностранные наградить (т. е. заместить. — *Авт.*), или совсем новую отрасль торгу произвесть могут» [Фрадкин 1950: 216][22]. Соответственно, государственно значимые вопросы медицины, фармакологии и сельского хозяйства побуждали натуралистов к каталогизации растений степного юга России, Кавказа, Прикаспия и Сибири, которые интересовали и участников предыдущих академических экспедиций, военных врачей и лейб-медиков, участвовавших в дипломатических миссиях. В течение всего XVIII в. ботаника служила полем для конкуренции разных классификационных систем и выработки языка описания, способного справиться с растущими массивами данных. В 1753 г. Линней выпустил «Species Plantarum», представлявший собой проект исчерпывающего каталога мировой флоры. Каталогизация видов, будучи исследованием на основе накопления данных (data-driven research), противоположного более спекулятивным подходам, с одной стороны, умножала эти данные, в том числе вводя новые понятия, и, с другой стороны, отсекала те части описаний, которые были укоренены в локальном знании[23]. При этом камералистские (локально ориентированные) и классификаторские (универсальные) принципы, противоречащие друг другу, могли применяться в одних и тех же текстах. Дополнительное напряжение создавалось из-за по-

[22] Тот же подход был свойственен и Линнею [Koerner 1996: 130].

[23] О накоплении и избытке информации и линнеевских технологиях работы с данными см. [Müller-Wille, Charmentier 2012]; см. также [Rosenberg (ed.) 2003]. Избыток информации как аналитическая категория обсуждается и для более раннего периода в истории ботаники. Так, Скотт Атран указывает, что именно необходимость упорядочивать данные, объем которых резко вырос в эпоху колонизации Нового Света, к XVII в. спровоцировала потребность европейцев в ботанической классификации; Флорике Эгмонд уточняет, что новые массивы данных создавались самими натуралистами — благодаря вниманию к нюансам, которые затем переводились в тот или иной принцип описания — по морфологическим характеристикам, месту произрастания, лекарственным свойствам и т. д. [Atran 1990: 127–150; Egmond 2012: 143–146]. Тем самым ученые и опытные наблюдения могли сочетаться, а локальное знание и локальные названия включались в описание [Egmond 2012: 147, 151–159].

степенного упадка латыни как научного койне и усиления вернакуляров как языков науки [Cooper 2007: 21–22; Gunnarsson (ed.) 2011: 6–7]: начиная с середины XVIII в. эти факторы обусловливали перевод естественнонаучных сочинений на живые языки.

Благодаря переводам труды по натуральной истории, и прежде всего ботанике, становились более доступными для публики. Так, по мере распространения в Европе классификационной системы Линнея его труды начали переводиться — что делало его систему более открытой для дополнений и насыщало ее местными названиями растений. Тем самым натурализация системы в рамках конкретной культуры побуждала создавать вернакулярные эквиваленты для ее различных единиц — как классификационных критериев и партонимов, т. е. наименований частей растения, так и описаний конкретных видов [Dietz 2016b][24]. Например, англоязычные труды по ботанике последней трети XVIII в. не только указывали линнеевские латинские названия для английской флоры, но и, ориентируясь на Линнея, вводили новые английские родовые названия [Dietz 2016b: 153–154][25]. Одновременно перевод создавал проблему множественности терминологии: переводчики, во-первых, искали подходящие вернакулярные названия для натурализации все более нюансированных терминов, и, во-вторых, создавали свои варианты, если пласт соответствующей лексики отсутствовал в повседневной речи. Русские переводчики, работавшие с морфологической терминологией Линнея и других европейских систематиков, были вынуждены как переосмыслять существующие понятия сообразно новому знанию о растениях, так и образовывать новые слова на основе собственно русской лексики — только так можно было инкорпорировать систему Линнея в российскую (и русскоязычную) ботанику [Щербакова 1960: 206–208; Итунина 1999][26]. Еще более

---

[24] Первый немецкий перевод «Systema naturae» вышел в 1740 г., в том же году сам Линней дополнил латинское переиздание шведскими названиями животных и минералов [Dietz 2016b: 146, fn. 13].

[25] Также см. о проблеме выбора между неологизмами, парафразами и вернакулярными названиями в переводах Линнея на французский [Duris 2008b].

[26] Одно из первых применений линнеевской номенклатуры в России (1761) принадлежит Давиду Гортеру, лейб-медику Елизаветы Петровны, который

сложным оказывался перевод между разными типами знания — укорененным в практике этноботаническим знанием и естественнонаучной систематикой, который актуализировался при работе непосредственно с наименованиями.

4. «Путешествие» Гмелина в оригинале и в переводе

В феврале 1770 г., когда экспедиция Гмелина в Астрахани планировала исследования западного и южного берегов Каспийского моря, петербургская академическая типография готовила первый немецкий том «Путешествия» [СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 541. Л. 69об.; СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 323. Л. 59–77][27]. Столь же стремительно в 1771 г. были напечатаны первые тома Лепехина (по-русски) и Палласа (по-немецки)[28]. Вероятно, спешно собирая первые тома путешествий из присылаемых отчетов и материалов, петербургская Академия наук старалась утвердить свой контроль над полученными данными и гарантировать их приоритетную публикацию в России, а не за границей[29]. Немецкие издания рассылались в иностранные академии как

соответствующим образом упорядочил латинские сочинения — «Flora Volgensis» Трауготта Гербера и «De plantis Ingricis» Крашенинникова [Бобров 1970: 260–262]. Русские переводы трудов Линнея появились лишь в 1780-х гг. [Rowell 1980: 23; Щербакова 1960: 205–206], хотя потребность в русификации терминологии возникла раньше.

[27] Остальные немецкие тома Гмелина вышли в 1774 (II, III) и 1784 (IV) гг., четвертый том был подготовлен к печати Палласом.

[28] Материалы других начальников отрядов были опубликованы не сразу. Бумаги Фалька, покончившего с собой на обратном пути, были разобраны Георги и опубликованы по-немецки, а по-русски вышли много позже в рамках проекта графа С. С. Уварова [Falk 1785; Фальк 1824]. Записки Гюльденштедта (1745–1781), по возвращении занимавшегося разбором бумаг Гмелина, а затем делами ВЭО, к печати также готовил Паллас; они вышли по-немецки и лишь через двадцать лет — по-русски [Güldenstädt 1787–1791; Гильденштедт 1809].

[29] См. протоколы Академии наук о «незамедлительном» печатании трудов Палласа [СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 323. Л. 197]. Скорая публикация в России немецких изданий при отсутствии инициативы по переводу уже вышедших трудов Лепехина на немецкий или латинский может также объясняться стремлением

подарки и предметы обмена, поддерживая престиж российской Академии наук [Протоколы ИАН 1897–1911, III: 54, 134; The Linnaean Correspondence Collection. L4518. f. 1]. Кроме того, при публикации путешествий Академия наук могла рассчитывать на общий читательский интерес к травелогам: некоторые из них пользовались популярностью у российской элиты как рабочее и досуговое чтение [Материалы для истории ИАН 1885–1900, II: 707].

Одновременно с подготовкой первого немецкого тома Гмелина делался русский перевод: судя по академической переписке, уже в августе 1770 г. он был готов [СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 541. Л. 207]. Перевод путешествия Гмелина, как и перевод Палласа, оплатило «Собрание, старающееся о переводе иностранных книг на российский язык»; переводчики первого тома, Алексей Яковлевич Поленов и Василий Прокофьевич Светов, получили гонорар в мае 1771 г.[30]. Вторая часть (1777) была переведена Сергеем Мошковым, студентом в отрядах Фалька, Гюльденштедта и Гмелина, который в 1776 г. был принят на должность академического переводчика [Семенников 1913: 39–40; Гнучева (сост.) 1940: 96, 104; Костина 2017]. Кто переводил две части третьего тома, неизвестно (1785). Перевод четвертого тома, подготовленный Павлом Петровым, по неясным причинам не дошел до печати[31]. Несколько отрывков заново перевел и опубликовал академик

к академическому приоритету. О сходной стратегии утверждения приоритета в датской Академии наук см. [Sörlin 2000: 66–67].

[30] Поленов (1738–1816), выпускник академической гимназии и академического университета, в 1762–1766 гг. вместе с Лепехиным стажировался в Страсбурге, но занимался не естественными науками, а римской историей и юриспруденцией; также он провел год в Гёттингене и по возвращении трудился академическим переводчиком до апреля 1771 г. [Поленов 1865; Сухомлинов 1874–1888, II: 169–170; Семенников 1913: 39–40]. Светов (1744–1785) стажировался в Гёттингене по историческим дисциплинам; по возвращении он занимался переводами наряду с преподаванием русского языка в академической гимназии [СРП 1988–2010, III: 97–100]; см. также [Сухомлинов 1874–1888, IV: 298–327].

[31] Сохранившаяся рукопись перевода четвертого тома на 136 листах доходит примерно до середины немецкого печатного текста [СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 34. Д. 20]. Хотя в архивной описи она атрибутирована XVIII в., водяные знаки принадлежат бумаге начала XIX в.; возможно, рукопись была переписана. Переводчик

Николай Яковлевич Озерецковский, участвовавший в академических экспедициях 1768–1774 гг. как ассистент.

«Собрание, старающееся о переводе» было создано по личной инициативе императрицы и объединяло ученых, литераторов и придворных. Формально Собрание, занимавшееся переводами древней и новейшей литературы, сочинений по истории и географии, а также работ по натурфилософии, математике и натуральной истории, было приписано к Академии наук и во многом задействовало академических переводчиков и мощности академической типографии, но при этом сохраняло свой частный статус под монаршим покровительством [Семенников 1913: 6, 10, 13–15][32]. Несмотря на то, что изданием и распространением русских томов Гмелина и Палласа занималась Академия наук[33], примечателен сам факт переноса работы с академическими путешествиями в юрисдикцию придворного Собрания. Таким образом они попадали в разряд просветительского чтения, наряду с сочинениями философов, политических мыслителей и литераторов, переводы которых курировало Собрание.

Академии наук Павел Ильич Петров (? — не ранее 1825) занимался переводами с немецкого, французского и латинского начиная с 1790-х гг., но в 1795 г. был уволен; затем занимался переводами для ВЭО вплоть до 1820-х гг. Хотя ни в деле об увольнении, ни в современной биографической справке нет упоминаний о его работе над переводом Гмелина, предположительно, речь идет об одном и том же лице [СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 11. Д. 14/1. Л. 2; СРП 1988–2010, II: 429–430]. Перевод Палласа также был коллективным [Семенников 1913: 45–46]. О переводчиках Академии наук в целом см. [Marker 1985: 50–58, 89–91; Баренбаум 2006: 12–18, 93–94; Анненкова 2022].

[32] В 1774–1783 гг. одним из исполнительных редакторов («цензоров») Собрания, оценивающих качество переводов, был Лепехин; он же, среди других академиков, по заказу Собрания занимался переводом «Естественной истории» Бюффона [Семенников 1913: 12; Сухомлинов 1874–1888, II: 210–231]. Вероятно, работу Собрания можно рассматривать как пример гибридизации такого института европейской публичной сферы, как книгоиздание, со структурами придворного патронажа, наряду с деятельностью ВЭО [Leckey 2011: 20–30; Marker 1985: 91–95].

[33] Как и немецкие издания, русские выходили тиражом в шестьсот экземпляров с приложением гравюр, которые для части тиража (вероятно, подарочных экземпляров) раскрашивались вручную [СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 541. Л. 69об., 148об., 160об.].

Желание двора увидеть экспедиционные результаты опубликованными по-русски может быть еще одним свидетельством национального поворота екатерининского времени. С помощью перевода на русский создавалась принципиальная возможность для показного — и патриотического — потребления трудов по естественной истории Российской империи. Тем самым круг потенциальных читателей должен был расширяться. Труды на немецком были важны для утверждения своего приоритета внутри европейских академических кругов, но немецкий как ведущий язык многоязычного русского дворянства в эту эпоху сдавал свои позиции — в первую очередь в пользу французского [Баренбаум 2006: 8–11, 95–97; Dahmen 2015; Argent et al. 2015][34]. Языковые предпочтения элиты могли влиять на интерес к тем или иным авторам и даже на администрирование науки: так, видимо, именно культивированию французских вкусов обязан своим появлением проект русского перевода Бюффона, а ранее — переход протоколов конференций Академии наук с немецкого на более «придворный» французский в апреле 1773 г. [Райнов 1939: 129; Протоколы ИАН 1897–1911, III: 88][35]. Но на фоне возрастающей с 1750-х гг. роли французского как языка русской аристократии повышался и статус русского, который постепенно начинал осмысляться как элемент патриотического габитуса[36]. В 1760-х гг. русский язык официально стал языком преподавания в Московском университете и в академической

[34] Доля переводов с французского и немецкого в общем объеме русскоязычной печатной продукции XVIII в. оценивается в 18,8% и 11%, среди переводов — 46,5% и 27,2% соответственно [Польской, Ржеуцкий 2022: 63–64].

[35] В том же 1773 г. казеннокоштных студентов академической гимназии обязали учить французский [СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 187. Л. 7]. Хотя ввести в Академии наук русский язык пытались еще в 1749 г. (после распоряжения переводить на русский и печатать «книги гражданские различного содержания», данного Академии в январе 1748 г.), протоколы стали регулярно вестись по-русски только с 1863 г. [Dahmen 2015: 26; СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Протоколы конференции АН]. О не менее напряженных отношениях между немецким, латинским и французским как языками науки в немецких академиях см. [Schellenberg 2011: 92–93].

[36] О принципах дворянской образованности и включения в них навыков грамотного и ясного письма по-русски как сословного долга см., в частности, [Осповат 2020: 108–180].

гимназии, а также обязательным предметом в Сухопутном шляхетном корпусе (занятия изящной словесностью начались еще раньше, в правление Анны Иоанновны); «национальное» самосознание было важным импульсом для русскоязычной печати в вольных типографиях и для дискуссий о грамматических и лексических нормах русского языка между 1750-ми и 1780-ми гг. [Offord et al. 2015; Dahmen 2015: 35][37].

В контексте языковой политики и языковой рефлексии елизаветинского и екатерининского времени, связанных с новыми формами государственного престижа, и можно рассматривать русскоязычные публикации академических путешествий, начиная с «Описания Земли Камчатки» Крашенинникова (1755)[38]. Научное описание регионов империи было еще и способом производства престижа — государственного, а позднее национального. Публикация на национальном языке не просто увеличивала число читателей, по крайней мере потенциально, но и была актом «культурного перемещения» научного текста [Rupke 2000: 210]. В результате создавались новые языковые формы, призванные сохранять авторитет европейского научного знания и при этом транслировать новые сообщения для русскоязычной публики. Хотя неясно, до какой степени естественнонаучные описания, публикуемые на русском, были прочитаны за пределами академии, важно, что они были рассчитаны на нового, не-академического читателя, т. е. должны были выходить за пределы той группы, к которой принадлежали их авторы. Отметим, что как раз в эту эпоху и складывается некоторая публика, объединяемая в том числе привычкой чтения светской литературы (а также следованием моде и участием в сало-

[37] О буме русскоязычной печати в последней трети XVIII в. и взрывном росте числа переводов см. также [Польской, Ржеуцкий 2022: 59–86].

[38] Данный Крашенинникову приказ готовить русскоязычное, а не латинское описание также отвечает тогдашним дискуссиям вокруг языка академических публикаций, мотивированных экономической логикой: согласно отчетам академической канцелярии, издания на латинском и немецком распродавались годами — при этом Академия наук печатала около половины всех новых книг, выходивших в России [Marker 1985: 44–45, 55–56]. О желании публиковать русские описания империи говорит и поддержка «Топографии Оренбургской» Петра Рычкова (1762), пришедшей в Академию наук «самотеком» и утвержденной к печати в 1755 г. [Протоколы ИАН 1897–1911, II: 332, 334].

нах, литературных кружках и объединениях)[39]. Одновременно заказ на русский перевод создавал определенный конфликт между «научным интернационализмом», полагающим языком науки латинский, и «государственным национализмом», который постулировал возможность научного дискурса на национальном языке [Sörlin 2000: 65]. Кроме того, перевод выявлял зазоры между латинским и вернакулярным лексиконами. Независимо от своего опыта и знания иностранных языков, переводчики сталкивались с проблемой поиска русских эквивалентов для специальной терминологии.

«Путешествие» Гмелина представляло собой жанрово разнородный текст: согласуясь с запросами государственных институтов и с личными интересами автора, оно соединяло экономические очерки, ботанические и зоологические описания и этнографические зарисовки. Это сочетание было обусловлено рядом причин, от камералистского внимания к локальному знанию до общеевропейских моделей травелогов, посвященных чужим обычаям и политическим порядкам. Сам выбор для описания путешествия немецкого языка, а не латинского, исторически значим: к 1770-м гг. немецкий, имевший еще ренессансную традицию ботанического дискурса, использовался как язык публичной науки в Германии [Schellenberg 2011]. Вероятно, в России его статус как научного языка мог быть еще выше из-за преобладания немцев среди петербургских академиков и тесных связей с немецкими академическими кругами.

Жанровая разнородность сопровождалась переключением между языками: в описаниях конкретных растений или животных Гмелин

---

[39] Естественнонаучные сочинения использовались в преподавании — так, в середине XVIII в. в библиотеке Троицкой семинарии имелись тома Крашенинникова и Буксбаума [Хотеев 1993: 56–57]. Однако за пределами образовательных институций спрос на такую литературу, видимо, был невелик: например, в 1794–1798 гг. в книжной лавке Академии наук еще продавались тома Лепехина (выпущенные в 1771–1780 гг.) и Бюффона (выпущенные в 1784 г.), от двух до двенадцати экземпляров в год [Зайцева 1984]. Тем не менее можно говорить об увеличении читательской аудитории, заинтересованной в светской литературе, как и об общей интенсификации общественной интеллектуальной жизни [Marker 1985: 70–77; Самарин 2000]. См. также обсуждение круга чтения провинциального дворянства в последней трети XVIII в. в [Чечулин 1889: 61–62, 76–78].

использует латинский язык, а кроме того приводит слова на местных языках, отсылающие к локальным практикам. Развернутые или редуцированные до биномиалов и полиномиалов описания на латинском в сопровождении иллюстраций, с отсылками к другим ботаникам, представляли собой вклад Гмелина в дискуссии о систематике. Академические экспедиции имели дело со значительным разнообразием местных растений, но эта ситуация отличалась от более раннего **избытка информации**, возникшего благодаря притоку в Европу растительных ресурсов Нового Света и выявлению тонких различий между растениями с помощью сравнительного метода. Натуралисты второй половины XVIII в. имели дело с растениями как известными, но растущими в неизвестных местностях, так и с новыми для европейцев. Но для упорядочивания и первых, и вторых уже существовали конкурирующие модели. Тем не менее количество описываемых ими растений было значительным: в четырех томах «Дневных записок» Лепехин упоминает более шестисот растений и описывает 29 новых для европейцев таксонов[40]. Гмелин упоминает в «Путешествии» около тысячи растений на латинском и немецком, из которых больше ста также описывает первым из европейцев [Соколов, Парнес 1993: 198][41]. Описания новых видов, а также сжатые определения тех или иных растений Гмелин включал в свои отчеты и в текст «Путешествия» по-латински.

Камералистская перспектива предполагала другой, экономический подход к локальному природному разнообразию [Ellen 2016; Koerner 1996]. На первый план выходили местные практики и местное знание — медицинское, охотничье, красильное, сельскохозяйственное, которое включало и локальную терминологию. Поэтому, обнаруживая утилитарно значимое растение, натуралисты часто приводили его

[40] Эти цифры приведены в [Сухомлинов 1874–1888, II: 483–502; Кузнецов (ред.) 1962: 377] и подтверждаются данными базы PhytoLex [PhytoLex]; см. данные о новых описаниях в базе POWO: https://powo.science.kew.org/results?cursor=AoMIQR9gfz8ENjAwUmFudW5jdWxhY2VhZVJhbnVuY3VsdXNhc2lhdGljdXMsVGF4b25fMTI3Njg1&p=1&q=Lepech.

[41] База POWO дает 120 описанных Гмелином таксонов, включая семь родовых названий: https://powo.science.kew.org/results?page.size=120&q=S.G.Gmel.

название на местном языке — русском, татарском, армянском, мокшанском и др. — и ссылались на местную практику. Вернакулярное название становилось ключом к более подробным сведениям. Такой подход этноботаник Рой Эллен называет «естествоиспытательской онтологией раннего Нового времени» (early modern naturalist ontology): растение перемещалось в новый контекст — контекст ученого знания, а его культурный смысл сворачивался до локального названия [Ellen 2016]. В конкретных записях это могло выражаться в смешении языков, когда вернакулярная номинация и указание на место произрастания сочетались с латинским описанием.

Подобный подход существовал уже в более ранней европейской традиции «местных флор», которые также задействовали латинский как язык универсальной науки и вернакуляр как язык конкретного, укорененного в практике знания (что находило отражение и в распределении шрифтов — например, антиквы и фрактуры). «Местные флоры», появившиеся в немецкоязычном культурном пространстве в XVII в., были призваны познакомить студентов-медиков с лекарственными свойствами локальных растений и внедрить их в практику, что требовало опоры на знание ландшафта. Например, «Flora Gedanensis» (1650) Кристиана Менцеля помимо латинского использовала варианты немецкого и польского, бывшие в ходу в окрестностях Данцига, и приводила вернакулярные названия мест, где можно было отыскать те или иные растения [Cooper 2007: 28–29, 33–34]. Таким образом, каждый язык выполнял свою функцию: латинский был языком описания и классификации, а живые местные языки — языком фиксации конкретных локусов и народных представлений. Соответственно, многоязычие обслуживало разные способы работы с флорой и использования текста[42]. Из-за усиления вернакулярных языков и становления национальных форм академии это функциональное многоязычие проблематизировалось, однако камералистский подход помогал ему сохраняться, пусть

[42] О локальной информации в ранних ботанических текстах, которая утрачивалась с переходом от описательных принципов к классификаторским, см. [Egmond 2012: 151–159]. На российском материале ранние примеры включения локальных названий и топонимов обнаруживаются в сибирских трудах Мессершмидта, где они фиксируются в латинской, кириллической и старомонгольской графике [Бондарь, Сытин 2022: 63–75].

и в редуцированном виде. Кроме того, камерализм оказывался удобен для транспонирования локальных подходов (воплощенных в «местных флорах»), характерных для небольших европейских государств — Швеции или княжеств Германии, выключенных из глобальной морской торговли, в масштабах России как сухопутной империи.

5. Стратегии перевода

Фитонимический лексикон немецкого «Путешествия» был многоязычным: хотя более половины названий растений Гмелин приводит по-немецки, около 20% указано на латинском, и еще 30% — на местных языках, в число которых, помимо русского, входят персидский, турецкий, татарский, армянский и др. (точно так же местные названия растений приведены в описаниях путешествий Палласа, Гюльденштедта и Фалька). Для ряда латинских номинаций Гмелин не приводит никаких немецких соответствий, что может объясняться рядом причин. Во-первых, натуралисты в принципе мыслили флору, особенно не знакомую им из повседневного опыта, в латинских терминах: точно так же латинскими названиями и описаниями без перевода на немецкий насыщены, например, тексты Палласа. Во-вторых, это свидетельствует о тех трудностях, которые могли возникать при натурализации латинских научных названий. Система Линнея предлагала адептам своего рода картотеку, где родовое понятие по принципу зонтика объединяло как уже описанные, так и еще не известные европейцам виды, и конструктор из латинских и греческих корней для номинации (в нем могли использоваться в том числе и вернакулярные слова — так, Гмелин создает латинский таксон *Nochotta oleracea* для турецкого гороха на основании его персидского названия *nochot* / *nachot*)[43]. Однако готовых схем перевода этой

[43] Обсуждение отношения Гмелина к линнеевской систематике не входит в задачи исследования. Тем не менее мы хотели бы подчеркнуть присутствие Линнея в его профессиональной деятельности: как и другие представители международной «ботанической республики» XVIII в., Гмелин переписывался с Линнеем, сообщая ему о планах экспедиций, собственных изысканиях и новых публикациях петербургской Академии наук [The Linnaean Correspondence Collection. L3926; L4009; L4518]. Во время экспедиции Гмелин также заказывал свежие издания Линнея для более внимательной работы [СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 34. Д. 16. Л. 110].

системы на немецкий язык еще не было. В любом случае латинские вкрапления той или иной степени развернутости говорили о переключении кодов и смене жанра повествования на ботаническое описание.

Периодически в немецком тексте возникают «гибридные» биномиалы, в которых латинское родовое название сочетается с немецким эпитетом, переведенным Гмелином с латинского. Смешение языков можно трактовать как попытку натурализации научной терминологии с сохранением латинского родового названия. Это приводило к появлению на немецком полукалек, которые могли влиять и на решения переводчиков русской версии: нем. *das Italische Echium* — рус. *италианская ехиея*; нем. *die wolligte Androsace* — рус. *шерстистая андрозация*. Тем не менее переводчики далеко не всегда следовали за немецкими полукальками, ср. нем. *wilde Angelica* — рус. *дикий дягильник*; нем. *die Thüringische Lavatera* — рус. *разноцветная рожа*.

Таблица 1. Немецко-латинские «гибридные» биномиалы и полиномиалы в трех томах оригинального «Путешествия по России для исследования трех царств естества» С. Г. Гмелина и их перевод на русский

Table 1. German-Latin ‘hybrid’ binomials and polynomials in the first three volumes of Samuel Gottlieb Gmelin’s “Reise durch Rußland zur Untersuchung der drey Natur-Reiche” and their Russian translations

Лексема	**Слово в оригинале**	**Способы передачи**[44]	**Том**
Немецкий эпитет + латинское родовое название			
разноцветная рожа	*die Thüringische Lavatera*	перевод на русский	1
каргазин	*die blätterlose Anabasis*	перевод на русский (локальный тюркизм)	2
птичье гнездо трава	*das mit einem Schirm versehene Ornithogalum*	перевод на русский	2
куманика	*Stauden-Rubus*	перевод на русский	3.2
осенний болотник	*die Herbst-Callitriche*	калька	1
дикий дягильник	*wilde Angelica*	калька	1

[44] См. сн. 47.

Лексема	Слово в оригинале	Способы передачи	Том
глухая сибирская крапива	*der Sibirische Leonurus*	калька	1
татарская крапива	*der Tatarische <Leonurus>*	калька	1
восточный чертополох	*die Orientalische Centaurea*	калька	1
нагорный чертополох	*die Berg Centaurea*	калька	1
сибирский чертополох	*die Sibirische Centaurea*	калька	1
восточной козелец	*das orientalische Tragopogon*	калька	2
якинф мохнатой	*der haarigte (comosus) <Hyacinthe>*	калька	3.2
евоним с узкими листами	*der schmalblättrigte Euonymus*	полукалька	1
евоним с широкими листами	*der breitblättrigte Euonymus*	полукалька	1
италианская ехиея	*das Italische <Echium>*	полукалька	1
австрийская крепис	*die Oesterreichische Crepis*	полукалька	1
стенная крепис	*die Mäure*[45] *Crepis*	полукалька	1
европейский ликоп	*der Europäische Lycopus*	полукалька	1
большая андрозация	*die große <Androsace>*	полукалька	2
шерстистая андрозация	*die wolligte <Androsace>*	полукалька	2
грецкий булдырян	*die haarichte Varietät des blaues Polemonium*	другое	1
Немецкое родовое название + латинский эпитет			
двузубчатый тысячалистник	*Schafgarbe bipinnata*	калька	1

[45] Вероятно, опечатка вместо *Mauer*; Гмелину приписывается введение таксона *Crepis murorum*, букв. «крепис стен», что согласуется с видовым эпитетом, выбранным переводчиками (см.: https://powo.science.kew.org/taxon/200084-1).

Дистанция между языками в немецком оригинале была хорошо видима, поскольку немецкие фитонимы, как и остальной текст, набирались фрактурой, а латинские — антиквой. Для передачи русских слов (в 20 номинациях растений) использовался один из кириллических шрифтов гражданской печати, нарезанный типографщиками петербургской Академии наук[46]. Однако устойчивым такое распределение шрифтов было лишь в первом немецком томе: его издание Гмелин курировал лично, а корректуру держал ботаник Йозеф Гертнер (1732–1791), знакомый Гмелина по Тюбингену, в 1768–1770 гг. служивший директором ботанического сада Академии наук. В последующих томах — их просматривал Якоб Штелин и другие академики, ботаникой не занимавшиеся, — соответствие «один язык — один шрифт» смазывается, и местные фитонимы на разных языках набираются фрактурой (рус. *Mylnaja Trawa,* перс. *Turinz*), хотя в третьем, «персидском» томе отдельные названия передаются антиквой (например, перс. *Siaguschan* — локальное название для лекарственного растения *Sanguis Draconis offic.*; на той же странице другое локальное название, перс. *Agergarha*, напечатано фрактурой). Этот том выделяется на фоне остальных обилием транслитерированных или транскрибированных названий, прежде всего с персидского языка, что имеет двоякое объяснение. Некоторая часть растений еще не была известна европейцам, и при общем описании было важно сохранить местное название. Но в основном к транскрипции автору приходилось прибегать при невозможности увидеть растение в природе и сравнить его с уже известными: львиная доля таких глухих фиксаций сделана при описании персидских медикаментов или же при конспектировании медицинских рецептов со слуха. Об этом свидетельствует, например, персидское название лаванды *Us tuchutus*, оставшееся без латинского определения или перевода на немецкий [Gmelin 1770–1784, III: 332].

Заказ на создание русского варианта описания, наряду с выработкой все более детальной научной терминологии, вносил в распределение языков и шрифтов некоторое возмущение. При этом, несмотря

[46] Наборы шрифтов петербургской академической типографии, которая первой ввела в употребление гражданского шрифта после петровской реформы книгопечатания, долгое время испытывали немецкое влияние, но вернули себе некоторые черты полуустава после обновления 1748 г. [Шицгал 1985: 51–73].

на коллективную и растянутую по времени работу над переводом, рассогласований между тремя русскими томами в переводе фитонимов практически не наблюдается. Лишь два названия растений переведены по-разному: *Gypsophila muralis → перекати поле* (т. 1) и *мышьи глазки* (т. 2); *Althaea officinalis → проскурняк*, *просвирки* (т. 1) и *большой просвирняк* (т. 2). Впрочем, разные варианты перевода наблюдались и в рамках одного тома, даже в тех случаях, когда перевод выполнял один человек. Например, *Harmala* во всех томах переводится как *горная рута*, но во втором томе переводчик Мошков также использует транслитерацию *гармала*. Такие нюансы могут указывать на особенности работы над путешествиями, которые собирались Гмелином из дневниковых записей и рапортов, и возможное использование переводчиками «технических» переводов, делавшихся в академической канцелярии.

Особенности перевода в каждом из трех русских томов обусловлены сочетанием факторов: степенью знакомства переводчиков с растениями; более или менее последовательными попытками автора натурализовать латинские термины по-немецки и обилием немецко-латинских окказионализмов («гибридных» биномиалов); наличием местных названий как подсказок; личным вкусом переводчиков. Например, работу переводчикам первого тома облегчала используемая в оригинале кириллица:

> Die Früchte des Ulmen-Baums waren schon reiff. Er heißt in der Landsprache Wesok (вязокъ) und eine Spiel-Art von derselben, deren Blumen mit eigenen Stielen versehen sind, berest (берестъ) [Gmelin 1770–1784, I: 125].
>
> Плоды на дереве, называемом *вязок*, уже созревали. Я видел еще другое дерево, которое тем от прежняго разнится, что имеет цветы с обыкновенными стебельками; оно называется *берест* [Гмелин 1771–1785, I: 187].

На общем фоне выделяется третий том, посвященный Персии. Подобно переводчикам первого и второго томов, неизвестный переводчик Академии наук явно пытался перевести на русский как можно больше иноязычных названий. Однако на втором месте из используемых им стратегий перевода всех фитонимов (включая латинские) была транслитерация, к которой переводчики других томов прибегали лишь в крайних случаях: следуя за автором, лишенным возможности идентифицировать растения, переводчик задействовал кириллическую транслитерацию романизированных или германизированных названий (*Рис. 1.1*).

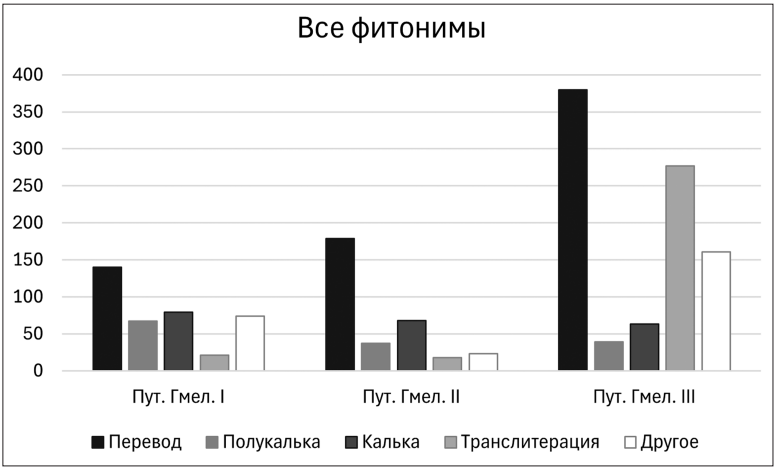

Рис. 1.1. Распределение типов передачи всех фитонимов в русском переводе «Путешествия по России для исследования трех царств естества» С. Г. Гмелина

Fig. 1.1. Distribution of types of transmission of all plant names in the Russian translation of Samuel Gottlieb Gmelin's "Travels"

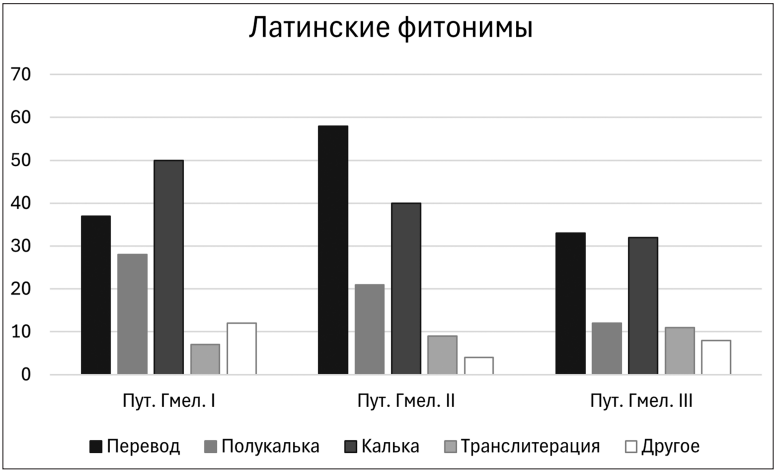

Рис. 1.2. Распределение типов передачи латинских и «гибридных» латинско-немецких фитонимов в русском переводе «Путешествия» Гмелина

Fig. 1.2. Distribution of types of transmission of Latin and 'hybrid' German-Latin plant names in the Russian translation of Gmelin's "Travels"

Таблица 2. Типы передачи латинских названий растений на русском языке

Table 2. Types of transmission of Latin plant names into Russian

Тип передачи латинского названия растения на русский язык	**Сокращенное обозначение на диаграмме**	**Пример**
Калька с русифицированной синтаксической структурой	Калька РУСИФ. БИНОМ	*Campanula racemosa* → *кистяный колокольчик*
Калька латинских идиоматических названий	Калька ЛАТ. ИДИОМ.	*Sanguis draconis* → *кровь драконова*
Калька с сохранением синтаксической структуры	Калька ЛАТ. БИНОМ	*Nymphaea lutea* → *кувшинчики желтые*
Калька биномиала с усложнением синтаксической структуры	Калька БИНОМ+	*Ranunculus auricomus* → *лютик с золотыми космами*
Отсутствие перевода	ЛАТ. БИНОМ	*Anthemis cotula*
Калька полиномиала	Калька ЛАТ. ПОЛИНОМ	*Plantago foliis linearibus spica oblonga* → *папутник с весьма узкими листами и продолговатым колосом*
Перевод с использованием вернакулярного фитонима	Перевод / вернакулярный	*Ranunculus* → *лютик*; *Spiraea crenata* → *тавалга*; *Pilosella* → *мышьи ушки*; *Potentilla supina* → *куримской чай*
Приблизительный перевод	Приблизительный перевод	*Lysimachia ephemerum* → *некоторая порода вербейника*
Частичная транслитерация	Транслитерация частичная	*Astragalus alopecuroides* → *астрагал Alopecuroides*
Полукалька биномиала с усложнением синтаксической структуры	Полукалька БИНОМ+	*Amaranthus caudatus* → *амаранф с хвостом*
Полукалька с русифицированной синтаксической структурой	Полукалька РУСИФ. БИНОМ	*Clematis integri folia* → *целолистная клемата*
Полукалька с сохранением синтаксической структуры	Полукалька ЛАТ. БИНОМ	*Astragalus grandiflorus* → *астрагал крупноцветной*

Тип передачи латинского названия растения на русский язык	**Сокращенное обозначение на диаграмме**	**Пример**
Транслитерация	Транслитерация	*Ceratocarpus → цератокарп / кератокарп*
Транслитерация с морфологической адаптацией и добавлением гиперонима	Транслитерация РУСИФ.	*Messerschmidia → мессершмидова трава*
Другое	Другое	*Vicia exstipulata → степной горох с сердцеобразными листами*

Каким образом переводчики действовали в тех случаях, когда сталкивались в оригинальном тексте только с латинскими названиями, без подсказок в виде местных слов или немецких автопереводов?[47] Примерно в трети случаев (38 в т. 1, 58 в т. 2 и 32 в двух частях третьего тома, всего 128 из 361, см. также *Рис. 1.2*) переводчики использовали вернакулярные слова для перевода латинского видового или родового названия. Под вернакулярными мы понимаем 1) названия, возводимые к праславянскому языку (*белена*, *вербейник*, *таль*), 2) лексемы различного происхождения, зафиксированные в письменных источниках не позднее 1771 г. — времени публикации первого тома Гмелина, в том числе более ранние кальки, например, *глухая кропива* (фиксируется с 1599 г.)

[47] Мы опираемся на классификацию приемов передачи реалий при переводе, приведенную в [Влахов, Флорин 1980: 87–93]. *Кальку* мы будем понимать в широком смысле: в нашем материале к ней относятся как характерный для классической кальки буквальный перевод, реконструирующий внутреннюю форму исходного слова, так и перевод словосочетаний с использованием вернакулярных фитонимов. Буквальный перевод чаще используется при передаче видового эпитета, а перевод с помощью вернакулярных фитонимов — при передаче родового имени. Классического калькирования латинских биномиалов и полиномиалов в переводе «Путешествия» не встречается, за исключением передачи вернакулярных латинских фитонимов, проникших в русский язык ранее через фармакопеи. К ним относятся *herba venti → ветреная трава*, *thlaspi bursa pastoris → пастушья сумка* или *faba St. Ignatii → бобы Св. Игнатия*. Под *полукальками* в нашей классификации понимается сочетание буквального перевода видового эпитета и транслитерации родового имени.

← нем. *Taubnessel, солодковый корень* (с 1717 г.) ← греч. *γλυκύρριζα*. К вернакулярным также предположительно принадлежат восходящие к общеславянским корням фитонимы, которые не встречаются в источниках ранее 1771 г., но отмечены лексикографами XIX в.: *бабьи румяна*, *болотник*, *быковник*, *белолозник*, *водяная греча* (в «Ботаническом словаре» Анненкова — *водяная гречиха* [Анненков 1878: 263]), *ворсальная шишка* (у Анненкова — *ворсовальная шишка* [Анненков 1878: 127]). Вероятно, отсутствие более ранних вхождений объясняется жанровой спецификой и/или лакунами в существующих источниках.

Имея дело с линнеевскими биномиалами, переводчики сталкивались с проблемой подбора вернакулярных эквивалентов для конкретного вида (которых могло не существовать вовсе из-за разницы в принципах вычленения растений в научной ботанике и народной таксономии). Это, однако, не мешало им использовать русские фитонимы как родовые названия. Такие решения приводили к созданию калек, как дублирующих латинский синтаксис с прилагательным в постпозиции (*Erica herbacea → вереск травяной*; *Achillea aegyptiaca → тысячалистник египетской*; *Lenticula palustris → чечевичка болотная*), так и с типичной для русского языка препозицией прилагательного (*Plantago indica → индейской папутник*; *Ranunculus parvulus → маленький лютик*; *Centaurea phrygia → фригийский чертополох*). Иногда встречались оба варианта: *Dracocephalum ruyschiana → змееголовник руишиев / руйшиев змееголовник*. Нестабильными были и словообразовательные модели для русских видовых эпитетов: *Campanula racemosa → кисточный колокольчик / кистяный колокольчик*. В отдельных случаях переводчик не находил для специализированного видового эпитета столь же компактный русский эквивалент и ему приходилось задействовать предложную, адъективную или причастную группу, усложняя синтаксическую структуру: *Fumaria bulbosa → дымчатка с луковочным корнем*; *Artemisia laricifolia → полынь лист калмыцкаго ладона имеющая*; *Campanula fastigiata → заостренный к верьху колокольчик*. В отдельных случаях переводчики обходили проблему перевода видового эпитета с помощью транслитерации (*Euphorbia paralias → молочайник паралиас*; *Lisimachia ephemerum → лисимахия ефемерум*) или же парафразы или описательного перевода (*Cucubalus dioicus → некоторая порода ягодичной мокрицы*; *Lysimachia ephemerum → некоторая порода вер-*

бейника; *Silene quinquevulnera → порода смолевки*). Один из видовых эпитетов греческого происхождения оказался настолько непроницаемым для перевода, что был перенесен в русский текст без изменений:

> Я назвал ее <Astragalus hybridus> *выродком*, по тому что она может быть составлена из астрагала Alopecuroides именуемаго, и из астрагала волосатого, так что перьвая та трава вместо отца, а сия вместо матери почтена быть может [Гмелин 1771–1785, I: 174–176].

Тем не менее трудности с переводом видовых эпитетов решались за счет творческой мобилизации языковых возможностей. Родовые названия такому подходу сопротивлялись: если переводчик не обнаруживал подходящий на роль родового имени вернакулярный фитоним, ему оставалось прибегать к транслитерации: *Astragalus grandiflorus → астрагал крупноцветной*; *Myagrum rugosum → миагр морщиноватый*; *Salicornia herbacea → саликорния травяная*; *Phellandrium aquaticum → водяная фелландрия.* В случае топонимических и мемориальных названий растений такой подход, казалось бы, был более чем оправдан, однако примечательно, что переводчики не чувствовали себя вправе использовать лишь транслитерацию и вписывали личное имя (и, реже, топоним) в более «русскую» модель с опорой на гипероним: *Messerschmidia → мессершмидова трава*; *Frankenia laevis → франкениева гладкая трава*; *Colchicum → кольхидское растение*. В целом же видно, что полное калькирование скорее способствовало русификации синтаксиса биномиалов, тогда как затруднение с переводом любого из элементов (родового имени или видового эпитета) было фактором сохранения латинского синтаксиса: вероятно, в таких случаях фитоним воспринимался как менее освоенный.

Помимо линнеевских биномиалов, во второй половине XVIII в. все еще использовались полиномиалы — многосоставные описательные названия, бывшие в употреблении в долиннеевский период. В «Путешествии» Гмелина они также встречаются: *melones minimi, ad pomi magnitudinem ex albo et rubro striati, odoris suavissimi, non esculenti*. В русском тексте полиномиалы, как правило, переведены полностью: *маленькая, величиною с яблоко, белыми и красными полосками испещренная, благовонная и в пищу неупотребляемая дыня* (в данном случае русский полиномиал приведен к конвенциональному единственному числу). Как и в случае биномиалов, затруднения у перевод-

чиков вызывали специальные эпитеты, даже если переводчики могли видеть сами растения в природе. Например, перевод полиномиала, включающего эпитет *ciliatus* (от лат. *cilia* ‘ресница’), был расширен за счет парафразы: *das Basilicum Ocymum (basilicum) foliis ovatis glabris, calycibus* ***ciliatis*** *→ базилик с листами продолговато круглыми и чашками,* ***по краям редкими волосами осыпанными***. Но иногда в переводе наблюдаются попытки сделать полиномиал более похожим на линнеевский биномиал — с помощью синтаксической модификации по образцу «существительное + прилагательное»: *Eruca hirsuta* ***floribus albis → белая*** *мохнатая горчица; Cyperoides* ***longifolium*** *culmo pumilo veluti folioso spicis obsesso →* ***долголистной*** *циперой*.

Другая группа исторических латинских фитонимов, к середине XVIII в. уже совсем малочисленная, представляла собой устойчивые выражения, заимствованные в более ранний период из вернакулярного знания. В переводе они также калькировались пословно: *Sanguis draconis → кровь драконова*, *Thlaspi bursa pastoris → пастушья сумка* (с опущенным родовым наименованием). Однако, несмотря на выраженное стремление к русификации ботанической номенклатуры, восемь латинских фитонимов вошли в русский текст в неизменном виде, представляя собой иноязычное вкрапление:

> Scabiosa ochroleuca. Стебель у нее бывает иногда длиною в три и в четыре фута; а прочия ея качества те же самыя, какия показаны у Кавалера Линнея в книге о породах растений [Гмелин 1771–1785, I: 206–207].

Перевод записок Гмелина был коллективным проектом, и каждая из его частей в той или иной степени сохранила отпечаток индивидуальной экспертизы. Переводчики первого тома, имевшие гуманитарное, а не естественнонаучное образование, тем не менее старались следовать правилам систематики и предпочитали калькирование и перевод остальным типам трансмиссии латинских названий растений (*Рис. 2.1*). Они стремились русифицировать синтаксис ботанических названий и использовали модель с видовым эпитетом в препозиции к родовому названию, однако сохраняли последовательность использования родового названия (за редкими исключениями)[48]: *Hieracium → сокольная*

[48] См. *Таб. 4*.

трава (перевод с использованием вернакулярного фитонима), *Hieracium flexiosum → извивающаяся сокольная трава* (калька с русифицированным синтаксисом), *Hieracium dichotomum → с раздвоенными ветвями сокольная трава* (калька с усложнением синтаксической структуры); *Amaranthus caudatus → амаранф с хвостом* (полукалька с усложнением синтаксической структуры), *<Amaranthus> tricolor → амаранф троецветный* (полукалька с сохранением синтаксической структуры).

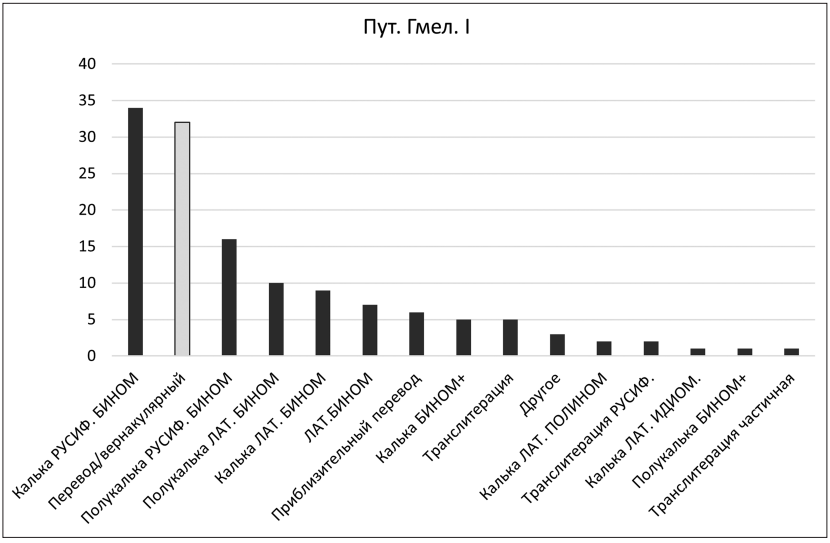

Рис. 2.1. Стратегии перевода в первом томе «Путешествия» Гмелина

Fig. 2.1. Translation strategies in the first volume of Gmelin's "Travels"

Опыт «естественника» Сергея Мошкова, работавшего с Гмелином, отразился в переводе второго тома, где вернакулярные фитонимы использованы в максимальной степени. Он единственный предлагал несколько вариантов перевода одного латинского термина: *Daphne mezereum → дикой или волчей перец*, *Polygonum aviculare → спорыш или птичей поддорожник*, что свидетельствует о достаточно широкой экспертизе, как книжной, так и полевой. При затруднениях с поиском местных названий Мошков следовал модели латинских биномиалов и по возможности сохранял их, калькируя полностью или частично (*Рис. 2.2*).

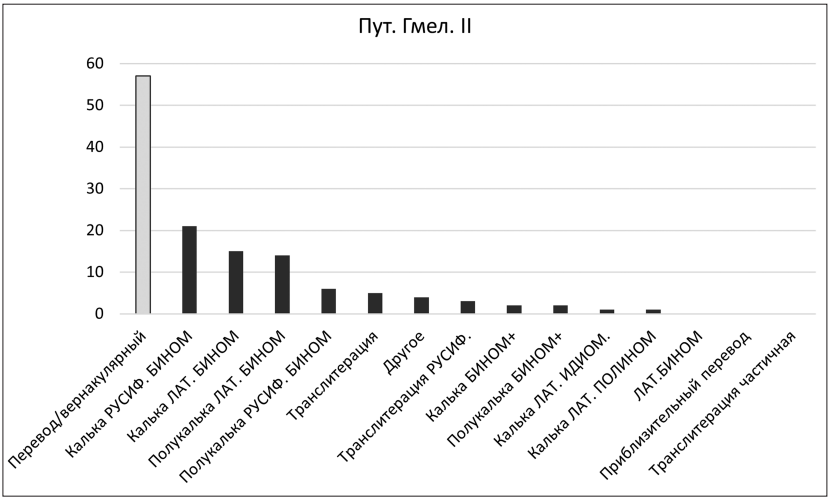

Рис. 2.2. Стратегии перевода во втором томе «Путешествия» Гмелина

Fig. 2.2. Translation strategies in the second volume of Gmelin's "Travels"

В третьем, «персидском» томе названия тех растений, которые автору удалось опознать и сопроводить латинским термином, были переведены и на русский. В случаях, когда латинское название имело форму полиномиала, переводчик следовал за Гмелином, пользуясь калькированием. Непрозрачные экзотические названия требовали транслитераций. Однако в этом же томе сложности при передаче ряда латинских названий привели к появлению переводов, которые сложно обосновать из-за отсутствия каких-либо сведений о переводчике (ср. категорию «Другое» на *Рис. 2.3* и в работе [Беличенко и др. 2025]).

По сравнению с периодом до середины XVIII в. стратегии перевода фитонимов в екатерининское время резко изменились. С одной стороны, стремление документировать вернакулярные названия растений, заявленное уже в первых академических экспедициях, сохранилось и даже усилилось. Этому способствовали и камералистские задачи экспедиций, и формат сочинения, нацеленного на представление «трех царств естества» Российской империи, в том числе растений, не-академическому читателю. Посредством таких изданий в публичное поле вводились и русские **локализмы**, и названия на языках других народов, населяю-

щих империю. С другой стороны, революция, произведенная Линнеем в описании и каталогизации растений, и соблюдение принципов ботанической номенклатуры, которых придерживался автор оригинала, заставляли переводчиков системно подходить к переводу названий родственных растений, хотя за русскими локализмами и сохранялся приоритет.

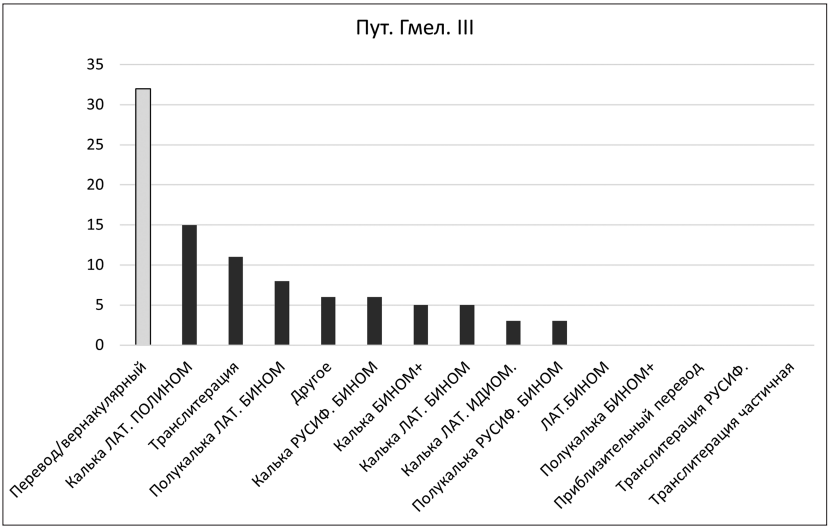

Рис. 2.3. Стратегии перевода в двух частях третьего тома «Путешествия» Гмелина

Fig. 2.3. Translation strategies in the two parts of the third volume of Gmelin's "Travels"

6. Ботаническая систематика vs народная таксономия

История ботанической номенклатуры свидетельствует о том, что на разных этапах своего становления научная классификация исходила из тех же предпосылок, что и народные классификации «трех царств естества» и растений в частности [Atran 1990: 5–7, 127–150, 252–269]. Например, принцип деления растений на роды и более абстрактные категории, построенные на обнаружении общего между родами, долгое время существовал отдельно от представлений о том, что названия таксонов, принадлежащих одному роду, следует создавать, сохраняя родовое название и присоединяя к нему эпитет [Atran 1990: 130–132; Куприянов 2005: 39–41], хотя уже в XVI в. исследователи флоры

организовывали растения в некие подобия семейств, объединенных по внешним признакам [Egmond 2012: 146–149]. В народных классификациях также существует принцип сходной номинации растений, похожих друг на друга, но основанием выступает не только внешнее сходство, но и другие признаки, нерелевантные для научной систематики, — место произрастания или лекарственное действие. Так, русский этнотаксон *сердечная трава* может объединять растения, далекие с точки зрения систематики, а его наполнение — варьировать в зависимости от времени, места и локальной культуры. И Гмелин, и Лепехин приводят это название для *Leonurus cardiaca*: немецкое *Herzkraut* (калькированное в переводе) и русское *сердечная трава* соответственно; при этом Лепехин мог ориентироваться на значение латинского названия. Кроме того, *сердечная трава* у Лепехина указана как местный термин для *Polygonum Bistorta*; это же название он использует как перевод родового имени для *Orobus* (=*Lathyrus* sp.)[49]. Таким образом, вернакулярное название, отсылающее к лекарственному применению растения, покрывает отдельные виды из семейств Губоцветные, Гречишные и Бобовые.

Европейская латинизация ботаники — присвоение незнакомым растениям латинских названий и описание их вида и свойств на латинском языке — имела целью унификацию и удобство при обмене информацией [Egmond 2012: 132]. Несмотря на менявшийся статус вернакулярных, а позже национальных языков, за латинским на долгое время закрепилась роль языка научного описания. Хотя обилие вернакулярных немецких фитонимов в сочинении Гмелина говорит и о роли немецкого как языка ботанического описания, и о его особом статусе в российской Академии, в собственно ботанических описаниях Гмелин отдает латинскому предпочтение, а в ряде случае конструирует гибридные немецко-латинские биномиалы. Поэтому мы рассматривали корпус латинских фитонимов, которые безоговорочно вос-

[49] Ср. пояснения Лепехина к полевым записям (в квадратных скобках указаны приведенные им в сносках латинские биномиалы): «Сердечная трава [*Polygonum Bistorta*]: когда ея сырой корень будешь жевать и глотать, остановится простой и кровавый понос» [Лепехин 1771: 77]; «⟨...⟩ а более всех изобиловал весенний составный горох [*Orobus vernus*], которого цветки собирают Волжские жители под именем сердечной травы, и пьют от сердца» [Лепехин 1771: 304].

принимались как научные и, в отличие от немецких, были встроены в традицию систематики. Наблюдая латинские названия растений в тексте оригинала, переводчики могли делать индуктивные выводы об их прагматике и учитывать или игнорировать их в своей работе.

Анализ фитонимического лексикона в русском варианте «Путешествия» показывает, что для научных названий переводчики подбирали вернакулярные эквиваленты. Эмпиризм науки раннего Нового времени и принципы камерализма повышали ценность народного знания, поэтому сословная дистанция между исследователем и носителями такого знания не мешала воспринимать информацию из первых рук[50]. В рассуждении о флоре Российской империи Лепехин, ссылаясь на опыт Стеллера и Крашенинникова, сообщал, что «камчадалы ⟨...⟩ все свои травы поимянно знают, известна им как сила их порознь, так и различие силы в травах по разности природного места» [Лепехин 1783: 24]. Однако многообразие народных названий порождало проблему при попытке их совмещения с линнеевской систематикой: как использовать местные названия и не потерять возможность проследить принадлежность растения к тому или иному роду? Функциональное многоязычие «местных флор» решало этот вопрос, но издание путешествий на вернакулярных языках подразумевало широкий круг читателей, для которых специализированная ботаническая латынь имела мало смысла[51]. Решением стали кальки и полукальки латинских биномиалов, встраивавшиеся в пробелы вернакулярной таксономии. С точки зрения систематики они прекрасно справлялись с задачей, сохраняя форму биномиала, состоящего из унифицированного родового названия (для которого использовался тот или иной вернакулярный фитоним) и видового эпитета. Напомним, что полукальки, сочетавшие латинское родовое название с немецким эпитетом («гибридные»

[50] Так, один из корреспондентов нидерландского ботаника Карла Клузиуса на острове Сан-Томе спрашивал рабов, как отличить ямс от маниока и сделать последний съедобным. Его сообщение, вместе с вернакулярными названиями маниока, было включено Клузиусом в фундаментальный труд «Rariorum plantarum historia» [Egmond 2012: 135–136].

[51] В итоге латинские названия в русском издании Гмелина попали в постраничные сноски.

биномиалы), встречались и в немецком оригинале. Они также могли натолкнуть переводчиков на мысль о сохранении родовых названий и в русском варианте, при этом, в силу приоритета вернакулярных названий, латынь не транслитерировалась, а переводилась.

Как проблему совмещения линнеевской систематики и вернакулярного знания решали русскоязычные исследователи? Для ответа на этот вопрос мы обратились к корпусу фитонимов из «Дневных записок» Лепехина — натуралиста, для которого русский был родным и который входил как в «Собрание, старающееся о переводе», так и в состав комиссии Словаря Академии Российской, где отвечал, среди прочего, и за фитонимическую лексику [Биржакова 2010: 118]. Первичный анализ корпуса показал, что при автопереводе латинской номенклатуры на русский язык Лепехин также часто выбирал вернакулярное название в качестве родового и калькировал видовой эпитет, например: *Atriplex → лебеда*, *Atriplex h<a>stata → стрелолистная лебеда*, *Atriplex Tatarica → матарская лебеда* и т. д.[52] *Astragalus alopecuroides*, вызвавший затруднения у переводчиков Гмелина, обозначен Лепехиным и как *алопекуроидес*, и как *сплюснутый горох*; далее, за исключением нескольких таксонов[53], у видов рода Астрагал Лепехин сохраняет родовое название *горох*, хотя уточняет его несколькими эпитетами: *Astragalus sulcatus → дорошчетой горох*, *Astragalus glycyphyllos → солотколистный сплюснутый горох*, *Astragalus pilosus → полевой волосистой горох*, *Astragalus uralensis → уральской составной горох*[54]. К такой модели Лепехин прибегает в 25% случаев автопереводов. Гораздо чаще — более чем в половине случаев — Лепехин устанавливает соответствие между латинским названием и вернакулярным фитонимом — видимо, потому что соответствующие растения были

[52] При этом *Atriplex l<a>ciniata* Лепехин также передает просто *лебеда*.

[53] *Желтоголовник* (*Astragalus grandiflorus*), *мыший чай* (*Astragalus tragacanthoides*) — по-видимому, локальные названия растений.

[54] Такие трехсловные обозначения распадаются на эпитет и родовое имя из двух элементов, поскольку автор пытался отделить астрагал от собственно гороха: *сплюснутый горох*, *волосистой горох* и *составной горох*. Хотя эти обозначения непоследовательны (иногда родовое имя астрагала все же обозначается просто как *горох*), тем не менее общая тенденция сохраняется.

не просто частью ландшафта, но и потенциальным ресурсом, который можно было описать через местное название растения и локальные способы обращения с ним. Необходимостью угодить сразу нескольким требованиям — и систематики и камерализма — объясняется и существование нескольких обозначений для одного и того же ботанического таксона. Например, для латинского родового названия *Adonis* Лепехин выбирает русское соответствие *желтоцвет*, которое использует и для видов внутри рода: *Adonis Apennina → желтоцвет апеннинский*, *Adonis vernalis → желтоцвет весенний*. Однако в последнем случае Лепехин также регистрирует народные названия *запорная трава* и *стародубка*.

Рассмотренный корпус переводов латинской номенклатуры в «Путешествии» Гмелина также показывает тенденцию к сохранению переводчиками типа передачи родовых названий в случаях, когда попадалось несколько видов одного рода (*Таб. 3*). Кроме того, выше мы отмечали единообразие перевода названия одного и того же таксона разными переводчиками на протяжении трех томов. Наиболее яркий пример — *ягодичная мокрица*, фитоним, обнаруженный во всех трех томах «Путешествия», и, по данным базы PhytoLex, более нигде не встречающийся[55], в отличие от фитонима *мокрица*, который встречается с конца XVI в. и означает целый ряд растений. Образованное путем перевода латинского родового имени и калькирования видового эпитета в биномиале *Cucubalus bacciferus*, это соответствие экстраполируется на род *Cucubalus* в целом и образует девять видовых названий на протяжении трех томов «Путешествия». Также в двух случаях русский фитоним имеет несколько латинских соответствий (*мокрица — Cucubalus*, *Alsine*; *жабрей — Antirrhinum*, *Linaria*). Речь идет о родственных, с точки зрения современной ботаники, видах, которые локальное знание не дифференцировало: как *Cucubalus* (*C. baccifer* и др., см. *Таб*. 3) и *Alsine media* (=*Stellaria media* (L.) Vill.), так и *Linaria* и *Antirrhinum* внешне похожи[56].

---

[55] В сочинении Палласа упоминается *der Cucubalus tataricus* [Pallas 1771–1776, I: 21], переданный в русском издании как *татарская ягодная мокрица* [Паллас 1773–1788, I: 33].

[56] В нынешней систематической классификации *Linaria* является родом в трибе *Antirrhinum*, а виды, входящие в них, в современном русском языке известны под названием *льнянка* или *львиный зев*.

Таблица 3. Сохранение родовых названий растений при переводе с латинского в трех томах «Путешествия» Гмелина

Table 3. Consistent translation of Latin generic names of plants into Russian in three volumes of Gmelin's "Travels"

Родовое название лат. / рус.	**Том**	**Латинский оригинал**	**Русский перевод**
Cucubalus, Alsine / *мокрица*	1	*Cucubalus <baccifer>*[57]	*ягодичная мокрица*
		Cucubalus dioicus	*некоторая порода ягодичной мокрицы*
		Cucubalus sibiricus	*сибирская ягодичная мокрица*
	2	*Cucubalus astrachanensis*	*астраханская ягодичная мокрица*
		Cuculabus sibiricus	*сибирская ягодичная мокрица*
	3	*Alsine*	*мокрица*
		Alsine media	*средняя ягодичная мокрица*
		Cucubalus	*мокрица*
		Cucubalus catholicus	*католицкая ягодичная мокрица*
		Cucubalus mollissimus	*мягколистная ягодичная мокрица*
		Cucubalus procumbens	*стелющаяся ягодичная мокрица*
Cynanchum acutum / *острый кинанх*	1, 2, 3	*Cynanchum acutum*	*острый кинанх*
Astragalus / *астрагал, стручковая трава*	1	*Astragalus alopecuroides*	*астрагал Alopecuroides*
		Astragalus pilosus	*астрагал волосатый*
		Astragalus varius	*разнообразный астрагал*
		<Astragalus> glycyphyllos	*сладколистная стручковая трава*
		<Astragalus> hybridus	*выродок астрагала*

[57] В оригинале *Cucubalus baviferus* [Gmelin 1770–1784, I: 171]; в переводе *Cucubalus baccifer* [Гмелин 1771–1785, I: 256].

Родовое название лат. / рус.	**Том**	**Латинский оригинал**	**Русский перевод**
Astragalus / *астрагал, стручковая трава*	2	*Astragalus grandiflorus*	*астрагал крупноцветной*
		Astragalus physodes	*астрагал с надутыми стручками*
		Astragalus tragacanthoides	*астрагал колючей*
		Astragalus varius	*астрагал разновидной*
Antirrhinum, Linaria / *жабрей*	2	*Antirrhinum genistifolium*	*жабрей с листами дрока*
		Linaria	*жабрей простой*
		Linaria	*жабрей*
	3	*Antirrhinum*	*жабрей*
		Antirrhinum (majus) corollis ecaudatis, floribus spicatis, calycibus rotundatis Linn. Sp. pl. 2. p. 859. n. 35.	*жабрей большой, имеющий цветы без хвостиков; цветки, расположенные на подобие колосов; чашки кругловатыя*
		Antirrhinum majus alterum folio longiore Bauh. pin. 211.	*жабрей большой с долгайшими листами*
Serratula / *серпуха*	1	*Serratula incana*	*мохнатая серпуха*
		Serratula alata	*крилатая серпуха*
	2	*Serratula arvensis*	*пашенная серпуха*
Veronica / *вероника*	1	*Veronica spuria*	*подложная вероника*
	2	*Veronica agrestis*	*вероника полевая*
Vicia / *(мышей) горох*	2	*Vicia*	*мышей горох*
	3	*Vicia clymenum*	*полевой горох мелколистной*
		Vicia clymenum	*мелколистной горох*
		Vicia exstipulata	*степной горох с сердцеобразными листами*
		Vicia exstipulata	*степной горох*
		Vicia pedunculis unifloribus, floribus laxis foliis ovatis, infra glaucis	*мышей горох, имеющей черешки одноцветные, цветы широкие, листы овальные, снизу синие*
		Vicia sativa	*горох, сеемый на полях*

Таблица 4. Несовпадающие родовые названия растений при переводе с латинского в трех томах «Путешествия» Гмелина

Table 4. Inconsistent translation of Latin generic names of plants into Russian in three volumes of Gmelin's "Travels"

Родовое название лат.	**Том**	**Латинское название**	**Русский перевод**
Achillea	1	*Achillea*	*дикая греча*
	2	*Achillea aegyptiaca*	*тысячалистник египетской*
		Achillea ptarmica	*чихотная трава*
		Achillea pubescens	*тысячалистник мошистой*
		Achillea tomentosa	*тысячалистник рунистой*
Anthemis	1	*Anthemis cotula*	[без перевода]
	2	*Anthemis tinctoria*	*пупавка*
Apocynum	1	*Apocynum syriacum*	*моло<ч>ай*[58] *сирийской*
		Apocynum syriacum	*апоцин сирийской*
Crataegus	1	*Crataegus*	*кратега, барыня*
	2	*Crataegus nobilis*	*боярыня*
Eryngium	1	*Eryngium campestre*	*простой синеголовник*
	2	*Eryngium amethystinum*	*синеголовник*
		Eryngium planum	*синяя колюшка*
Leontodon	1	*Leo<n>todon taraxacum*	*попово гуменце*
		Leontodon tuberosum	*одуванчик с шишковатым корнем*
Lysimachia ephemerum	1	*Lysimachia ephemerum*	*лисимахия ефемерум*
			некоторая порода вербейника
Polygonum	2	*Polygonum amphibium*	*макаршино коренье*
		Polygonum aviculare	*спорыш*
		Polygonum aviculare	*птичей поддорожник*
		Polygonum frutescens	*кустарная греча*
Potentilla	1	*Potentilla supina*	*куримской чай*
	2	*Potentilla*	*серебряник*

[58] См. сн. 60.

Родовое название лат.	Том	Латинское название	Русский перевод
Scabiosa	1	*Scabiosa arvensis*	*полевая грудная трава*
		Scabiosa heterophyllos	*разнолистная грудная трава*
		Scabiosa heterophyllos	*украинская грудная трава*
		Scabiosa ochroleuca	[без перевода]
		Scabiosa tatarica	*татарская одышная трава*
		Scabiosa ucrainica	*украинская грудная трава*
Sedum	1	*Sedum telephium*	[без перевода]
	3.2	*Sedum stoloniferum*	*коленчатая заячья капуста*[59]
Silene	1	*Silene*	*смолевка*
		Silene quinquevulnera	*порода смолевки*
	2	*Silene*	*дрема*
		Silene oppositifolia	*дрема с противоположными листами*
Symphytum	1	*Symphytum*	*лошаково ухо*
	2	*Symphytum*	*симфит*
		Symphytum regium	*симфит королевской*
		Symphytum secundum	*симфит односторонней*
Teucrium	1	*Teucrium arenarium*	*песчаная тевкрия*
		Teucrium chamaepithys	*параличная трава*
Thlaspi	2	*Thlaspi bursa pastoris*	*пастушья сумка*
		Thlaspi perfoliatum	*тляспи сквозелистная*
		<Thlaspi> arvense	*тляспи пашенная*
Tribulus	1	*Tribulus terrestris*	*земляный трибул*
	2	*Tribulus*	*земной чилим*
		Tribulus terrestris	*земляной чалим*
Verbascum	1	*Verbascum Thapsus*	*царский скипетр*
		Verbascum Lichnitis	*другая порода травы царский скипетр*
	2	*Verbascum*	*медвежье ухо*
		Verbascum	*быковник*

[59] В этом же томе *заячья капуста* приведена как перевод для *Sempervivum montanum*.

Тем не менее иногда один и тот же латинский биномиал мог переводиться непоследовательно в рамках одного тома, а также родовые названия на протяжении нескольких томов могли не сохраняться (*Таб. 4*). На это могла влиять экспертиза конкретного переводчика в вернакулярной фитонимии. Некоторое количество разночтений, иногда касающихся одного и того же вида, встречается уже внутри первого русского тома — возможно, причиной этому была спешка в работе двух переводчиков (ср. *Apocynum syriacum*, один из видов, впервые описанных Гмелином, → *апоцин сирийской*, *мологай*[60] *сирийской*). Иногда желание задокументировать как можно большее количество вернакулярных названий шло вразрез с принципами линнеевской систематики, как, например, в переводах названий разных видов *Polygonum* во втором томе: *макаршино коренье*, *спорыш*, *птичей поддорожник*, *кустарная греча*. В целом же несогласованность переводов связана с распределением частей текста между разными переводчиками: в пределах ответственности каждого из них родовые названия по возможности сохранялись, при условии, что для какого-либо вида не находилось вернакулярного названия, тогда приоритет оставался за ним. Последовательные переводы родовых названий, сохраняющиеся между томами, говорят о желании следовать систематике, а нарушение консистентности переводов — о невозможности это сделать из-за отсутствия глоссариев и нормативных словарей.

7. Заключение

Лексическая система русского языка XVIII в. была, по словам Е. Э. Биржаковой, Л. А. Войновой и Л. Л. Кутиной, «разобщенной, замкнутой в своих стилистических и социально-профессиональных делениях», с «узким кругом контактных сфер» [Биржакова и др. 1972: 333]. Академические путешествия представляют собой одну из редких ситуаций задокументированного непосредственного контакта зарождающейся в России академической науки и народного знания, контакта, отразившегося в том числе в столкновении фитонимов различного происхождения в рамках ботанического дискурса. На страницах

[60] Видимо, опечатка вместо *молочай* [Гмелин 1771–1785, II: 275].

полевых записей передовые линнеевские биномиалы соседствовали с **локализмами**, более или менее уверенно расслышанными иностранным ухом, — названиями географических мест, животных и растений. Таким образом вернакулярные названия попадали в международный научный контекст, минуя этап общенационального лексикона. При необходимости на основе локализмов могли создаваться и латинские ботанические названия (ср. *Nochotta oleracea* ← *nochot*). Испытывала ли локальная лексика встречное влияние академических экспедиций, пока неизвестно.

В свою очередь, перед переводчиками (и авторами) академических путешествий стояла нетривиальная задача **натурализации** терминов — адекватной передачи нюансированного категориального аппарата естественной истории и, в исследуемом случае, ботаники с опорой на структурные принципы, выводимые из немецких и латинских описаний, а также арсенал вернакулярной лексики. В отличие от предыдущих периодов — включая путешествие Крашенинникова, систематика начала играть существенную роль в выборе тех или иных переводческих стратегий, что видно по попыткам сохранения консистентности родовых названий растений. Тем не менее вернакулярным названиям даже в этой ситуации отдавался приоритет. При обнаружении фитонима, выбивающегося из системы родовых названий, можно предположить, что перед нами локализм, который может быть интересен диалектологам и историкам языка.

Латинский был языком европейской науки и ботанической номенклатуры в частности и в этом смысле находился в сильной позиции: неслучайно сам Гмелин использовал латинско-немецкие «гибридные» биномиалы, вводя в свое сочинение латинизмы для обозначения родовых названий. В достаточно сильной позиции был и немецкий, который в России XVIII в. также имел статус языка производства и администрирования науки. Вопрос, к каким стратегиям прибегали русские переводчики, работавшие с немецкой фитонимией (и, шире, с немецкой естественнонаучной терминологией), требует дальнейших исследований. Тем не менее придворная языковая политика способствовала усилению русского как языка просвещения и публичной науки.

Перевод «Путешествия» Гмелина демонстрирует разнонаправленные тенденции в российской ботанике последней трети XVIII в.

Одной из них было стремление к выработке научного языка описания, который испытывал мощное влияние латинского и немецкого. Напротив, камералистский взгляд на растения как на потенциальный ресурс или товар помогал выявлять их местные названия и функции. Одновременно шел процесс стандартизации русского языка — и люди, занимавшиеся сбором данных на местах и переводом, вовлекались в создание нормативных словарей, способствуя обретению локализмами нового статуса.

То, что исследователи терминологического русского языка XVIII в. обозначали как «номинационный вакуум», можно описать иначе — как столкновение и приспособление друг к другу подходов, по-разному распределяющих внимание к растительному миру и по-разному членящих его на денотаты. С одной стороны, латинизированная систематическая ботаника, пытаясь справиться с постоянным **избытком информации**, упраздняла старые и порождала новые названия растений, для перевода которых требовалось мобилизовать лексические и словообразовательные возможности вернакулярного языка. В похожей ситуации оказались и другие национальные языки Европы, сталкивавшиеся с необходимостью инкорпорирования линнеевской систематики либо через калькирование латинских слов, либо через их морфологическую адаптацию (таким путем пошла французская ботаника). С другой стороны, экономическая ботаника, нацеленная на исследование утилитарного и экономического потенциала растений в государственных интересах, зависела от местного знания и местных практик природопользования и потому сохраняла многочисленные локальные названия, которые на низовом уровне служили проводниками экономических интересов. Соответственно, российский камерализм, с унаследованным от прусского камерализма стремлением к импортозамещению, оказывался проводником локального этноботанического знания. Облекая эту информацию в жанр путешествий, имевших политическое и экономическое значение и писавшихся на живых языках, натуралисты выходили в поле публичной науки и создавали репрезентацию естественных богатств империи — при одновременных попытках заявить о себе в академической дискуссии. В свою очередь, их переводчики пересоздавали эту репрезентацию в интересах российского двора и его просвещенных подданных.

Список условных сокращений

РНБ — Российская национальная библиотека, Отдел рукописей

СПбФ АРАН — Санкт-Петербургский филиал Архива Российской Академии наук

Литература

Александровская 1989 — О. А. Александровская. Становление географической науки в России в XVIII веке. М.: Наука, 1989.

Анненкова 2022 — Е. А. Анненкова. Об академических переводчиках XVIII в. (по документам СПбФ АРАН) // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2022. Т. 13. № 4 (114) (электронный ресурс). URL: https://history.jes.su/s207987840021183-0-1/ (дата обращения: 17.02.2025). DOI: 10.18254/S207987840021183-0.

Баренбаум 2006 — И. Е. Баренбаум. Французская переводная книга в России в XVIII веке. М.: Наука, 2006.

Бахманн-Медик 2017 — Д. Бахманн-Медик. Культурные повороты: Новые ориентиры в науках о культуре / Пер. С. Ташкенова. М.: Новое литературное обозрение, 2017.

Бекасова 2010 — А. В. Бекасова. Изучение Российской империи экспедициями 1760–1780-х годов: «взгляд» естествоиспытателей и формирование представлений о государственных богатствах // Историко-биологические исследования. 2010. Т. 4. № 2. С. 13–34.

Биржакова 2010 — Е. Э. Биржакова. Словарь Академии Российской (1789–1794 гг.) // Е. Э. Биржакова. Русская лексикография XVIII века. СПб.: Нестор-История, 2010. С. 114–144.

Биржакова и др. 1972 — Е. Э. Биржакова, Л. А. Войнова, Л. Л. Кутина. Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века: Языковые контакты и заимствования. Л.: Наука, 1972.

Бобров 1970 — Е. Г. Бобров. Карл Линней (1707–1778). Л.: Наука, 1970.

Богоявленский 1960 — Н. А. Богоявленский. Древнерусское врачевание в XI–XVII вв. Источники для изучения истории русской медицины. М.: Медгиз, 1960.

Бондарь, Сытин 2022 — Л. Д. Бондарь, А. К. Сытин. Ботаническая графика в экспедиции Д. Г. Мессершмидта // А. К. Сытин (отв. ред.). От кунсткамеры к травопознанию. Развитие ботаники в России в первой половине XVIII века. СПб.: Келлер, 2022. С. 63–77.

Веклич 1999 — М. В. Веклич. Формирование русской анатомической терминологии (XVIII век). Дисс. ... канд. филол. наук. Астрахань: Астраханский государственный педагогический университет, 1999.

Веклич 2008 — М. В. Веклич. Собственное словопроизводство как один из способов пополнения русского анатомического терминологического словаря XVIII в. // Вопросы лингвистики и литературоведения. 2008. № 4. С. 7–20.

Веселова 2004 — А. Ю. Веселова. Вопросы «земледелия и домостроительства» в деятельности Императорского Вольного экономического общества // Отечественные записки. 2004. № 1 (16). С. 146–154.

Влахов, Флорин 1980 — С. И. Влахов, С. П. Флорин. Непереводимое в переводе. М.: Международные отношения, 1980.

Волков 2019 — С. С. Волков. Древ и трав великолепие, красота цветов и плодов изобилие (заметки о фитонимах в текстах М. В. Ломоносова) // С. А. Мызников (отв. ред.). Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2019. СПб.: ИЛИ РАН, 2019. С. 214–232.

Волков 2021 — С. С. Волков. К вопросу о формировании языков для специальных целей естественных наук во второй половине XVIII в.: народные фитонимы в докладе И. Лепехина // С. А. Мызников (отв. ред.). Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2021. СПб.: ИЛИ РАН, 2021. С. 105–122.

Доуэльд 2004 — А. Б. Доуэльд. *Разседание, разверзание, растрескивание, вскрывание* или *раскрывание* плодов? // Turczaninowia. 2004. Т. 7. № 4. С. 60–67.

Забинкова 1965 — Н. Н. Забинкова. О переводе на русский язык латинских названий растений (к вопросу о русской ботанической номенклатуре) // Ботанический журнал. 1965. Т. 50. № 7. С. 962–966.

Забинкова 1966 — Н. Н. Забинкова. Некоторые вопросы происхождения и правописания русских ботанических терминов // Ботанический журнал. 1966. Т. 51. № 3. С. 389–395.

Зайцева 1984 — А. А. Зайцева. Ассортимент книжной лавки Академии наук в конце XVIII века // С. П. Луппов (отв. ред.). Книга и книготорговля в России в XVI–XVIII веках. Л.: БАН СССР, 1984. С. 140–143, Приложение б/п.

Живов 2017 — В. М. Живов. История языка русской письменности: В 2 т. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017.

Иванов, Левичкин 2022 — С. В. Иванов, А. Н. Левичкин. Николай Бюлов — переводчик «Сказания о пропущении вод»? // Slověne. 2022. Vol. 11. № 1. P. 146–165. DOI: 10.31168/2305-6754.2022.11.1.6.

Итунина 1999 — А. Л. Итунина. Формирование ботанической терминологии в языке русской науки XVIII — первой четверти XIX века. Дисс. ... канд. филол. наук. Смоленск: Смоленский государственный педагогический университет, 1999.

Коваленко 2017 — К. И. Коваленко. «Сказание о пропущении вод» как лексикографический источник // Acta Linguistica Petropolitana. Т. XIII. Ч. 2. Этноботаника 2: Растения в языке и культуре. С. 416–472.

Коваленко 2018 — К. И. Коваленко. Азбуковник Давида Замарая как источник по русской лексикографии XVII века. Дисс. ... канд. филол. наук. СПб.: ИЛИ РАН, 2018.

Коваленко, Колосова 2024 — К. И. Коваленко, В. Б. Колосова. К вопросу о происхождении фитонимов в трудах ученых-путешественников XVIII века // Тезисы научной конференции с международным участием «Три царства естества» (к 300-летию основания Российской академии наук). СПб.: ИЛИ РАН, 2024. С. 26–29. DOI: 10.30842/9785605189404.

Колосова, Коваленко 2023 — В. Б. Колосова, К. И. Коваленко. Этноботаническая база данных *PhytoLex* // Историко-географический журнал. 2023. Т. 2. № 3. С. 152–153. DOI: 10.58529/2782-6511-2023-2-3-152-153.

Колчинский и др. 2004 — Э. И. Колчинский, А. К. Сытин, Г. И. Смагина. Естественная история в России (очерки развития естествознания в России в XVIII веке). СПб.: Нестор-История, 2004.

Коннова 2000 — В. Ф. Коннова. Русская медицинская терминология в словаре Марка Ридли // Russian Linguistics. 2000. Vol. 24. № 1. P. 31–61.

Коннова 2017 — В. Ф. Коннова. Ботаническая терминология в историческом словаре // Е. П. Осипова (отв. ред.). И. И. Срезневский и русское историческое языкознание: опыт и перспективы. К 205-летию со дня рождения И. И. Срезневского. Сборник статей. Рязань: Б. и., 2017. С. 157–164.

Костина 2017 — Т. В. Костина. Студенты в Физических экспедициях 1768–1774 гг: между службой и образованием // Н. А. Ащеулова (отв. ред.). Наука и техника: Вопросы истории и теории. Вып. XXXIII. СПб.: СПбФ ИИЕТ РАН, 2017. С. 300–301.

Кузнецов (ред.) 1962 — И. В. Кузнецов (ред.). Люди русской науки — очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники. В 4 т. Т. 2: Геология, география. М.: Физматгиз, 1962.

Куприянов 2005 — А. В. Куприянов. Предыстория биологической систематики: «народная таксономия» и развитие представлений о методе в естественной истории конца XVI — начала XVIII в. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2005.

Кутина 1964 — Л. Л. Кутина. Формирование языка русской науки: Терминология математики, астрономии, географии в первой трети XVIII в. М.; Л.: Наука, 1964.

Кутина 1966 — Л. Л. Кутина. Формирование терминологии физики в России. Период предломоносовский: первая треть XVIII века. М.; Л.: Наука, 1966.

Мальцева 1981 — И. М. Мальцева. Записки путешествий XVIII века как источник литературного языка и языка художественной литературы (к постановке вопроса) // Ю. С. Сорокин (отв. ред.). Язык русских писателей XVIII века. Л.: Наука, 1981. С. 130–150.

Морозов 2001 — Б. Н. Морозов. К истории Травника Любчанина 1533/34 г. // С. О. Шмидт (отв. ред.). Археографический ежегодник за 2000 год. М.: Наука, 2001. С. 112–114.

Никитин 1950 — Н. П. Никитин. Зарождение экономической географии в России: обзор материалов XVIII в. // Вопросы географии. 1950. № 17. С. 43–102.

Николаев 2008 — С. И. Николаев. Польско-русские литературные связи XVI–XVIII вв. Библиографические материалы. СПб.: Нестор-История, 2008.

Олехнович 2020 — О. Г. Олехнович. Проблемы перевода фитонимов с латинского языка на русский в документах «Аптекарского приказа» XVII в. // Т. А. Шарыпина, И. К. Полуяхтова, М. К. Меньщикова (отв. ред.). Парадигмы культурной памяти и константы национальной идентичности. Нижний Новгород: Издательство ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2020. С. 97–108.

Осипов 1993 — В. И. Осипов. Предисловие // В. И. Осипов (сост.). Научное наследие П.-С. Палласа. Письма. 1768–1771 гг. СПб.: Тиалид, 1993. С. 5–20.

Осповат 2020 — К. А. Осповат. Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века. М.: Новое литературное обозрение, 2020.

Переводчики и переводы 2019 — Д. В. Лисейцев, С. М. Шамин (отв. ред.). Переводчики и переводы в России конца XVI — начала XVIII столетия. Материалы международной научной конференции, Москва, 12–13 сентября 2019 г. М.: ИРИ РАН, 2019.

Покровский 1912 — А. А. Покровский. Библиотека Московской синодальной типографии. Ч. 2. Печатные книги. Вып. 2. Иностранные книги XVI в. М.: Синодальная типография, 1912.

Польской, Ржеуцкий 2022 — С. В. Польской, В. С. Ржеуцкий. Перевод и развитие политического языка в России XVIII века // С. В. Польской, В. С. Ржеуцкий (ред.). Лаборатория понятий: Перевод и языки политики в России XVIII века. М.: Новое литературное обозрение, 2022. С. 7–102.

Райнов 1939 — Т. И. Райнов. Русские академики второй половины XVIII в. и Бюффон. (К 150-летию русского перевода Бюффона) // Вестник АН СССР. 1939. № 10. С. 126–147.

Романов 1997 — Н. А. Романов. Русская анатомическая терминология XVIII века. Смоленск: САУ, 1997.

Самарин 2000 — А. Ю. Самарин. Читатель в России во второй половине XVIII века (по спискам подписчиков). М.: Издательство МГУП, 2000.

Семенников 1913 — В. П. Семенников. Собрание, старающееся о переводе иностранных книг, учрежденное Екатериной II. 1768–1783 гг.: историко-литературное исследование. СПб.: Типография «Сириус», 1913.

Семенов 1878 — Н. П. Семенов. Русская номенклатура наиболее известных в нашей флоре и культуре и некоторых общеупотребительных растений. СПб.: Типография Н. А. Лебедева, 1878.

Сикорская 1989 — Л. Н. Сикорская. Синонимические средства выражения в сфере русской ботанической терминологии конца XVIII — первой половины XIX века // Е. Н. Борисова (отв. ред.). Лексическая и синтаксическая синонимия. Смоленск: СГПИ, 1989. С. 33–43.

Соколов 2013 — А. И. Соколов. Из истории химической терминологии XVIII — начала XIX вв. (*земля — известь — пепел — оксид*) // О. А. Старовойтова (отв. ред.). От буквы к словарю: Сб. научных статей к 200-летию со дня рождения академика Я. К. Грота. СПб.: Наука, 2013. С. 275–282.

Соколов, Парнес 1993 — В. Е. Соколов, Я. А. Парнес. У истоков отечественной териологии. М.: Наука, 1993.

Сорокин 1966 — Ю. С. Сорокин. Из истории русской естественнонаучной терминологии и ее литературного распространения (Термин *растение* и его синонимы) // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1966. Т. XXV. Вып. 3. С. 218–225.

Степанов 1949 — Н. Н. Степанов. Степан Петрович Крашенинников и его труд «Описание Земли Камчатки» // С. П. Крашенинников. Описание Земли Камчатки. С приложением рапортов, донесений и других неопубликованных материалов. М.; Л.: Издательство Главсевморпути, 1949. С. 13–84.

Тарасова 1993 — Е. Н. Тарасова. Формирование физиологической терминологии в русском литературном языке конца XVIII — первой половины XIX в. Дисс. ... канд. филол. наук. Смоленск: Смоленский государственный педагогический университет, 1993.

Тарко 1967 — Г. Н. Тарко. К вопросу о формировании русской научной терминологии в XVIII веке: лексико-словообразовательный анализ ботанических терминов-прилагательных. Дисс. ... канд. филол. наук. М.: Московский областной педагогический институт им. Н. К. Крупской, 1967.

Филин 1972 — Ф. П. Филин. Происхождение русского, украинского и белорусского языков: Историко-диалектологический очерк. Л.: Наука, 1972.

Хомякова 1984 — Е. Ю. Хомякова. Русская химическая терминология XVIII в. Дисс. ... канд. филол. наук. М.: Научно-исследовательский институт преподавания русского языка в национальной школе, 1984.

Хотеев 1993 — П. И. Хотеев. Книга в России в середине XVIII в. Библиотеки общественного пользования. СПб.: БАН, 1993.

Цвелев 2011 — Н. Н. Цвелев. О русских названиях семейств покрытосеменных растений // Новости систематики высших растений. 2011. Т. 42. С. 24–29.

Шицгал 1985 — А. Г. Шицгал. Русский типографский шрифт: вопросы истории и практика применения. М.: Книга, 1985.

Щербакова 1960 — А. А. Щербакова. История русской ботанической (морфологической) терминологии // Труды Института истории естествознания и техники. 1960. № 32. С. 203–250.

Щербакова 1979 — А. А. Щербакова. История ботаники в России до 60-х гг. XIX в. (додарвиновский период). Новосибирск: Наука, 1979.

Эбель 2008 — А. Л. Эбель. Научные названия видов растений. Томск: ТГУ, 2008.

Argent et al. 2015 — G. Argent, D. Offord, V. Rjéoutski. The Functions and Value of Foreign Languages in Eighteenth-century Russia // The Russian Review. 2015. Vol. 74. № 1. P. 1–19. DOI: 10.1111/russ.10752.

Atran 1990 — S. Atran. Cognitive Foundations of Natural History: Towards an Anthropology of Science. Cambridge; Paris: Cambridge University Press; Editions de la maison des sciences de l'homme, 1990.

Bret, Peiffer (eds.) 2020 — P. Bret, J. Peiffer (eds.). La traduction comme dispositif de communication dans l'Europe moderne. Paris: Hermann, 2020.

Burke, Hsia (eds.) 2007 — P. Burke, R. P. Hsia (eds.). Cultural Translation in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Cook, Dupré (eds.) 2012 — H. J. Cook, S. Dupré (eds.). Translating Knowledge in the Early Modern Low Countries. Zurich; Wien; Münster: LIT, 2012.

Cooper 2007 — A. Cooper. Latin Words, Vernacular Worlds: Language, Nature, and the 'Indigenous' in Early Modern Europe // East Asian Science, Technology, and Medicine. 2007. Vol. 26. № 1. P. 17–39. DOI: 10.1163/26669323-02601004.

Dahmen 2015 — K. Dahmen. The Use, Functions, and Spread of German in Eighteenth-century Russia // The Russian Review. 2015. Vol. 74. № 1. P. 20–40. DOI: 10.1111/russ.10754.

Dietz 2016a — B. Dietz. Introduction // Annals of Science. 2016. Vol. 73. № 2. Special Issue: Translating and Translations in the History of Science. P. 117–121. DOI: 10.1080/00033790.2016.1141641.

Dietz 2016b — B. Dietz. Linnaeus' Restless System: Translation as Textual Engineering in Eighteenth-Century Botany // Annals of Science. 2016. Vol. 73. № 2. P. 143–156. DOI: 10.1080/00033790.2014.929742.

Duris (ed.) 2008a — P. Duris (ed.). Traduire la science: Hier et aujourd'hui. Pessac: Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, 2008.

Duris 2008b — P. Duris. Traduire Linné en français à la fin du XVIIIe siècle // P. Duris (ed.). Traduire la science: Hier et aujourd'hui. Pessac: Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, 2008. P. 86–107.

Egmond 2012 — F. Egmond. Names of Naturalia in the Early Modern Period: Between the Vernacular and Latin, Identification and Classification // H. J. Cook, S. Dupré (eds.). Translating Knowledge in the Early Modern Low Countries. Zurich; Wien; Münster: LIT, 2012. P. 131–163.

Ellen 2016 — R. Ellen. Is There a Role for Ontologies in Understanding Plant Knowledge Systems? // Journal of Ethnobiology. 2016. Vol. 36. № 1. P. 10–28. DOI: 10.2993/0278-0771-36.1.10.

Griffin 2022 — C. Griffin. Mixing Medicines: The Global Drug Trade and Early Modern Russia. Montreal: McGill University Press, 2022.

Gunnarsson (ed.) 2011 — B.-L. Gunnarsson (ed.). Languages of Science in the Eighteenth Century. Berlin; Boston: De Gruyter Mouton, 2011.

Hodacs 2018 — H. Hodacs. Linnaean Scholars Out of Doors: So Much to Name, Learn and Profit From // A. MacGregor (ed.). Naturalists in the Field: Collecting, Recording and Preserving the Natural World from the Fifteenth to the Twenty-First Century. Leiden: Brill, 2018. P. 240–257. DOI: 10.1163/9789004323841_010.

Koerner 1996 — L. Koerner. Purposes of Linnaean Travel: A Preliminary Research Report // D. P. Miller, P. H. Reill (eds.). Visions of Empire: Voyages, Botany, and Representations of Nature. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1996. P. 117–152.

Leckey 2011 — C. Leckey. Patrons of Enlightenment: The Free Economic Society in Eighteenth-Century Russia. Newark: University of Delaware Press, 2011.

Marker 1985 — G. Marker. Publishing, Printing, and the Origins of the Intellectual Life in Russia, 1700–1800. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985.

Montgomery 2000 — S. L. Montgomery. Science in Translation: Movements of Knowledge through Cultures and Time. Chicago; London: University of Chicago Press, 2000.

Moon 2010 — D. Moon. The Russian Academy of Sciences Expeditions to the Steppes in the Late Eighteenth Century // Slavonic and East European Review. 2010. Vol. 88. № 1. P. 204–236. DOI: 10.1353/see.2010.0085.

Müller-Wille, Charmentier 2012 — S. Müller-Wille, I. Charmentier. Natural History and Information Overload: The Case of Linnaeus // Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences. 2012. Vol. 43. P. 4–15. DOI: 10.1016/j.shpsc.2011.10.021.

Offord et al. 2015 — D. Offord, G. Argent, V. Rjéoutski. French and Russian in Catherine's Russia // D. Offord, L. Ryazanova-Clarke, V. Rjéoutski, G. Argent (eds.). French and Russian in Imperial Russia. 2 vols. Vol. 2. Language Attitudes and Identity. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015. P. 32–40. DOI: 10.1515/9780748695522-006.

Olohan 2014 — M. Olohan. History of Science and History of Translation: Disciplinary Commensurability? // The Translator. 2014. Vol. 20. № 1. P. 9–25. DOI: 10.1080/13556509.2014.899091.

Olohan, Salama-Carr (eds.) 2011 — M. Olohan, M. Salama-Carr (eds.). The Translator. 2011. Vol. 17. № 2. Special Issue: Translating Science.

Raeff 1986 — M. Raeff. Der wohlgeordnete Polizeistaat und die Entwicklung der Moderne im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts. Versuch eines vergleichenden Ansatzes // E. Hinrichs (ed.). Absolutismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986. S. 310–346.

Rosenberg (ed.) 2003 — D. Rosenberg (ed.). Journal for the History of Ideas. 2003. Vol. 64. № 1. Special Issue: Early Modern Information Overload.

Rowell 1980 — M. Rowell. Linnaeus and Botanists in Eighteenth-Century Russia // Taxon. 1980. Vol. 29. № 1. P. 15–26. DOI: 10.2307/1219592.

Rupke 2000 — N. Rupke. Translation Studies in the History of Science: The Example of the *Vestiges* // British Journal for the History of Science. 2000. Vol. 33. № 2. P. 209–222. DOI: 10.1017/S0007087499003957.

Sabra 1987 — A. I. Sabra. The Appropriation and Subsequent Naturalization of Greek Science in Medieval Islam: A Preliminary Statement // History of Science. 1987. Vol. 25. № 3. P. 223–243.

Schellenberg 2011 — R. Schellenberg. Scientific Literacy in Eighteenth-Century Germany // B.-L. Gunnarsson (ed.). Languages of Science in the Eighteenth Century. Berlin; Boston: De Gruyter Mouton, 2011. P. 91–106.

Sörlin 2000 — S. Sörlin. Ordering the World for Europe: Science as Intelligence and Information as Seen from the Northern Periphery // Osiris. 2000. Vol. 15. № 1. P. 51–69. DOI: 10.1086/649318.

Stone (ed.) 1996 — G. C. Stone (ed.). *A Dictionarie of the Vulgar Russe Tongue*, Attributed to Mark Ridley. Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 1996.

Sumillera et al. (eds.) 2020 — R. G. Sumillera, J. Surman, K. Kühn (eds.). Translation in Knowledge, Knowledge in Translation. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2020.

Tribe 1984 — K. Tribe. Cameralism and the Science of Government // Journal of Modern History. 1984. Vol. 56. № 2. P. 263–284. DOI: 10.1086/242667.

Wright 2000 — D. Wright. Translating Science: The Transmission of Western Chemistry into Late Imperial China, 1840–1900. Leiden; Boston; Köln: Brill, 2000.

Источники

Анненков 1878 — Н. И. Анненков. Ботанический словарь. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1878.

Беличенко и др. 2025 — О. Беличенко, К. Коваленко, Е. Карнаухова, М. Пироговская, В. Колосова, А. Щекин. Латинские фитонимы и их русские переводы в «Путешествии по России для исследования трех царств естества» С. Г. Гмелина (1770–1785) и в «Дневных записках» И. И. Лепехина (1771–1805). Репозиторий открытых данных по русской литературе и фольклору, 2025. DOI: 10.31860/openlit-2025.7-R009.

Волков (ред.) 2010 — С. С. Волков (отв. ред.). Словарь языка М. В. Ломоносова: Минералогия. СПб.: Нестор-История, 2010.

Гильденштедт 1809 — Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа из Путешествия г-на академика И. А. Гильденштедта чрез Россию и по Кавказским горам, в 1770, 71, 72 и 73 годах. СПб.: Императорская Академия наук, 1809.

Гмелин 1771–1785 — С. Г. Гмелин. Путешествие по России для исследования трех царств естества. В 3 ч. СПб.: При Императорской Академии наук, 1771–1785.

Гнучева (сост.) 1940 — В. Ф. Гнучева (сост.), В. Л. Комаров (ред.). Материалы для истории экспедиций Академии Наук в XVIII и XIX веках: хронологические обзоры и описание архивных материалов. М.; Л.: Издательство АН СССР, 1940.

Клейтман — А. Клейтман. Бауэр (Bauer) Федор (Кристиан Фридрих) (?–?), художник, участник экспедиции С. Г. Гмелина 1768–1774 гг. // Энциклопедия немцев России (электронный ресурс). Б. г. URL: https://enc.rusdeutsch.ru/articles/5551 (дата обращения: 17.02.2025).

Лепехин 1771 — Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российскаго государства. СПб.: При Императорской Академии наук, 1771.

Лепехин 1783 — И. И. Лепехин. Размышления о нужде испытывать лекарственную силу собственных произрастений. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1783.

Лепехин 1821 — Записки Путешествия Академика Лепехина // Полное собрание ученых путешествий по России. В 8 т. Т. 3. СПб.: При Императорской Академии наук, 1821.

Материалы для истории ИАН 1885–1900 — Материалы для истории Императорской академии наук. В 10 т. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1885–1900.

Паллас 1773–1788 — П.-С. Паллас. Путешествие по разным провинциям Российского государства. В 3 т. СПб.: Императорская Академия наук, 1773–1788.

Протоколы ИАН 1897–1911 — Протоколы заседаний Конференции Императорской Академии наук с 1725 по 1803 года. В 4 т. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1897–1911.

Поленов 1865 — Д. В. Поленов. А. Я. Поленов, русский законовед XVIII века // Русский архив. 1865. Вып. 4. С. 446–470 (начало); Вып. 5. С. 703–736 (окончание).

СРП 1988–2010 — А. М. Панченко (ред.). Словарь русских писателей XVIII века. В 3 т. Л.; СПб.: Наука, 1988–2010.

Сухомлинов 1874–1888 — М. И. Сухомлинов. История Российской Академии. В 8 т. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1874–1888.

Фальк 1824 — Записки путешествия академика Фалька // Полное собрание ученых путешествий по России. В 8 т. Т. 6. СПб.: При Императорской Академии наук, 1824.

Фрадкин 1950 — Н. Г. Фрадкин. Инструкция для академических экспедиций 1768–1774 годов // Вопросы географии. 1950. № 17. С. 213–218.

Чечулин 1889 — Н. Д. Чечулин. Русское провинциальное общество во второй половине XVIII века. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1889.

Erik-Amburger-Datenbank — Erik-Amburger-Datenbank (электронный ресурс). S. a. URL: https://amburger.ios-regensburg.de (дата обращения: 17.02.2025).

Falk 1785 — J.-P. Falk. Beyträge zur topographischen Kenntniss des russischen Reichs. 3 Th. St. Petersburg: Kayserliche Akademie der Wissenschaften, 1785.

Gmelin 1770–1784 — S. G. Gmelin. Reise durch Rußland zur Untersuchung der drey Natur-Reiche. 4 Th. St. Petersburg: Kayserliche Akademie der Wissenschaften, 1770–1784.

Güldenstädt 1787–1791 — J.-A. Güldenstädt. Reisen durch Russland und im Caucasischen Gebürge. 2 Th. St. Petersburg: Kayserliche Akademie der Wissenschaften, 1787–1791.

The Linnaean Correspondence Collection — The Linnaean Correspondence Collection. The Linnean Society of London (электронный ресурс). URL: https://linnean-online.org (дата обращения: 17.02.2025).

Nordblad 1760 — E. A. Nordblad. Instructio peregrinatoris // Amoenitates academicae. Vol. 5. Lugduni Batavorum: Westenium, 1760. P. 298–313.

Pallas 1771–1776 — P.-S. Pallas. Reise durch verschiedene Provinzen des Rußischen Reichs in den Jahren 1768–1773. 3 Th. St. Petersburg: Kayserliche Akademie der Wissenschaften, 1771–1776.

PhytoLex — PhytoLex. Этноботаническая база данных (электронный ресурс). S. a. URL: https://phytolex.eusp.org/ (дата обращения: 17.02.2025).

POWO — Plants of the World Online. Ботаническая база данных Королевского Ботанического сада Кью (электронный ресурс). 2017. URL: https://powo.science.kew.org/ (дата обращения: 17.02.2025)

References

Aleksandrovskaya 1989 — O. A. Aleksandrovskaya. *Stanovleniye geograficheskoy nauki v Rossii v XVIII veke* [The Development of geography in the 18th century Russia]. Moscow: Nauka, 1989.

Annenkova 2022 — E. A. Annenkova. Ob akademicheskikh perevodchikakh XVIII v. (po dokumentam SPbF ARAN) [About the Academy of Sciences' translators of the 18th century (based on the documents of the SPbB ARAS)]. *Elektronnyy nauchno-obrazovatelnyy zhurnal «Istoriya».* 2022. Vol. 13. No. 4 (114). Available at: https://history.jes.su/s207987840021183-0-1/ (accessed on 17.02.2025). DOI: 10.18254/S207987840021183-0.

Argent et al. 2015 — G. Argent, D. Offord, V. Rjéoutski. The Functions and Value of Foreign Languages in Eighteenth-century Russia. *The Russian Review*. 2015. Vol. 74. No. 1. P. 1–19. DOI: 10.1111/russ.10752.

Atran 1990 — S. Atran. *Cognitive Foundations of Natural History: Towards an Anthropology of Science*. Cambridge; Paris: Cambridge University Press; Editions de la maison des sciences de l'homme, 1990.

Bachmann-Medick 2017 — D. Bachmann-Medick. *Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften.* Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2006. (Russian translation: D. Bachmann-Medick. *Kulturnyye povoroty: Novyye oriyentiry v naukakh o kulture.* Translated by S. Tashkenov. Moscow: Novoye literaturnoye obozreniye, 2017.)

Barenbaum 2006 — I. E. Barenbaum. *Frantsuzskaya perevodnaya kniga v Rossii v XVIII veke* [Translations of French books in the 18th century Russia]. Moscow: Nauka, 2006.

Bekasova 2010 — A. V. Bekasova. Izucheniye Rossiyskoy imperii ekspeditsiyami 1760–1780-kh godov: «vzglyad» yestestvoispytateley i formirovaniye predstav-

leniy o gosudarstvennykh bogatstvakh [Studies of the Russian Empire by the expeditions of the 1760–1780s: the 'view' of naturalists and the formation of the concept of the state's natural resources]. *Istoriko-biologicheskiye issledovaniya*. 2010. Vol. 4. No. 2. P. 13–34.

Birzhakova 2010 — E. E. Birzhakova. Slovar Akademii Rossiyskoy (1789–1794 gg.) [The Dictionary of the Russian Academy (1789–1794)]. E. E. Birzhakova. *Russkaya leksikografiya XVIII veka* [Russian lexicography of the 18th century]. St. Petersburg: Nestor-Istoriya, 2010. P. 114–144.

Birzhakova et al. 1972 — E. E. Birzhakova, L. A. Voynova, L. L. Kutina. *Ocherki po istoricheskoy leksikologii russkogo yazyka XVIII veka: Yazykovyye kontakty i zaimstvovaniya* [Essays in historical lexicology of the Russian language of the 18th century: Language contacts and borrowings]. Leningrad: Nauka, 1972.

Bobrov 1970 — E. G. Bobrov. *Karl Linney (1707–1778)* [Carl Linnaeus (1707–1778)]. Leningrad: Nauka, 1970.

Bogoyavlenskiy 1960 — N. A. Bogoyavlenskiy. *Drevnerusskoye vrachevaniye v XI–XVII vv. Istochniki dlya izucheniya istorii russkoy meditsiny* [Old Russian medicine in the 11–17th centuries. Sources for the history of Russian medicine]. Moscow: Medgiz, 1960.

Bondar, Sytin 2022 — L. D. Bondar, A. K. Sytin. Botanicheskaya grafika v ekspeditsii D. G. Messershmidta [Botanical drawings of Daniel Gottlieb Messerschmidt's expedition]. A. K. Sytin (ed.). *Ot kunstkamery k travopoznaniyu. Razvitiye botaniki v Rossii v pervoy polovine XVIII veka* [From the Kunstkammer to the science of plants. The development of botany in Russia in the first half of the 18th century]. St. Petersburg: Keller, 2022. P. 63–77.

Bret, Peiffer (eds.) 2020 — P. Bret, J. Peiffer (eds.). *La traduction comme dispositif de communication dans l'Europe moderne*. Paris: Hermann, 2020.

Burke, Hsia (eds.) 2007 — P. Burke, R. P. Hsia (eds.). *Cultural Translation in Early Modern Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Cook, Dupré (eds.) 2012 — H. J. Cook, S. Dupré (eds.). *Translating Knowledge in the Early Modern Low Countries*. Zurich; Wien; Münster: LIT, 2012.

Cooper 2007 — A. Cooper. Latin Words, Vernacular Worlds: Language, Nature, and the 'Indigenous' in Early Modern Europe. *East Asian Science, Technology, and Medicine*. 2007. Vol. 26. No. 1. P. 17–39. DOI: 10.1163/26669323-02601004.

Dahmen 2015 — K. Dahmen. The Use, Functions, and Spread of German in Eighteenth-century Russia. *The Russian Review*. 2015. Vol. 74. No. 1. P. 20–40. DOI: 10.1111/russ.10754.

Dietz 2016a — B. Dietz. Introduction. *Annals of Science*. 2016. Vol. 73. No. 2. Special Issue: Translating and Translations in the History of Science. P. 117–121. DOI: 10.1080/00033790.2016.1141641.

Dietz 2016b — B. Dietz. Linnaeus' Restless System: Translation as Textual Engineering in Eighteenth-Century Botany. *Annals of Science*. 2016. Vol. 73. No. 2. P. 143–156. DOI: 10.1080/00033790.2014.929742.

Doweld 2004 — A. B. Doweld. Razsedaniye, razverzaniye, rastreskivaniye, vskryvaniye ili raskryvaniye plodov? [The cracking [rassedanie], yawning [razverzanie], splitting [rastreskivanie], unsealing [vskryvanie] vs. the opening [raskryvanie] of fruits?]. *Turczaninowia.* 2004. Vol. 7. No. 4. P. 60–67.

Duris (ed.) 2008a — P. Duris (ed.). *Traduire la science: Hier et aujourd'hui*. Pessac: Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, 2008.

Duris 2008b — P. Duris. Traduire Linné en français à la fin du XVIIIe siècle. P. Duris (ed.). *Traduire la science: Hier et aujourd'hui*. Pessac: Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, 2008. P. 86–107.

Ebel 2008 — A. L. Ebel. *Nauchnyye nazvaniya vidov rasteniy* [Scientific names of the plant species]. Tomsk: Tomsk State University Press, 2008.

Egmond 2012 — F. Egmond. Names of Naturalia in the Early Modern Period: Between the Vernacular and Latin, Identification and Classification. H. J. Cook, S. Dupré (eds.). *Translating Knowledge in the Early Modern Low Countries*. Zurich; Wien; Münster: LIT, 2012. P. 131–163.

Ellen 2016 — R. Ellen. Is There a Role for Ontologies in Understanding Plant Knowledge Systems? *Journal of Ethnobiology*. 2016. Vol. 36. No. 1. P. 10–28. DOI: 10.2993/0278-0771-36.1.10.

Filin 1972 — F. P. Filin. *Proiskhozhdeniye russkogo, ukrainskogo i belorusskogo yazykov: Istoriko-dialektologicheskiy ocherk* [The origin of Russian, Ukrainian and Belarusian languages: An historical and dialectological study]. Leningrad: Nauka, 1972.

Griffin 2022 — C. Griffin. *Mixing Medicines: The Global Drug Trade and Early Modern Russia*. Montreal: McGill University Press, 2022.

Gunnarsson (ed.) 2011 — B.-L. Gunnarsson (ed.). *Languages of Science in the Eighteenth Century*. Berlin; Boston: De Gruyter Mouton, 2011.

Hodacs 2018 — H. Hodacs. Linnaean Scholars Out of Doors: So Much to Name, Learn and Profit From. A. MacGregor (ed.). *Naturalists in the Field: Collecting, Recording and Preserving the Natural World from the Fifteenth to the Twenty-First Century*. Leiden: Brill, 2018. P. 240–257. DOI: 10.1163/9789004323841_010.

Ivanov, Levichkin 2022 — S. V. Ivanov, A. N. Levichkin. Nikolay Byulov — perevodchik "Skazaniya o propushchenii vod"? [Nicolaus Bulow: the translator of the "Destillierbuch"?]. *Slověne.* 2022. Vol. 11. No. 1. P. 146–165. DOI: 10.31168/2305-6754.2022.11.1.6.

Itunina 1999 — A. L. Itunina. *Formirovaniye botanicheskoy terminologii v yazyke russkoy nauki XVIII — pervoy chetverti XIX veka* [The development of botanical terminology in the language of Russian science from the 18th century to the first quarter of the 19th century]. Candidate thesis. Smolensk: Smolensk State Pedagogical University, 1999.

Khomiakova 1984 — E. Yu. Khomiakova. *Russkaya khimicheskaya terminologiya XVIII v.* [The Russian chemical terminology of the 18th century]. Candidate thesis.

Moscow: Research Institute of Russian Language Teaching in a National School, 1984.

Khoteev 1993 — P. I. Khoteev. *Kniga v Rossii v seredine XVIII v. Biblioteki obshchestvennogo polzovaniya* [Books in Russia in the middle of the 18th century. Public libraries]. St. Petersburg: Library of the Russian Academy of Sciences, 1993.

Koerner 1996 — L. Koerner. Purposes of Linnaean Travel: A Preliminary Research Report. D. P. Miller, P. H. Reill (eds.). *Visions of Empire: Voyages, Botany, and Representations of Nature*. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1996. P. 117–152.

Kolchinskiy et al. 2004 — E. I. Kolchinskiy, A. K. Sytin, G. I. Smagina. *Yestestvennaya istoriya v Rossii (ocherki razvitiya yestestvoznaniya v Rossii v XVIII veke)* [Natural history in Russia (Essays on the development of natural science in the 18th century Russia)]. St. Petersburg: Nestor-Istoriya, 2004.

Kolosova, Kovalenko 2023 — V. B. Kolosova, K. I. Kovalenko. Etnobotanicheskaya baza dannykh *PhytoLex* [*PhytoLex* ethnobotanical database]. *Historical Geography Journal*. 2023. Vol. 2. No. 3. P. 152–153. DOI: 10.58529/2782-6511-2023-2-3-152-153.

Konnova 2000 — V. F. Konnova. Russkaya meditsinskaya terminologiya v slovare Marka Ridli [Russian medical terminology in Mark Ridley's dictionary]. *Russian Linguistics*. 2000. Vol. 24. No. 1. P. 31–61.

Konnova 2017 — V. F. Konnova. Botanicheskaya terminologiya v istoricheskom slovare [Botanical terminology in the historical dictionary]. E. P. Osipova (ed.). *I. I. Sreznevskiy i russkoye istoricheskoye yazykoznaniye: opyt i perspektivy. K 205-letiyu so dnya rozhdeniya I. I. Sreznevskogo* [I. I. Sreznevsky and Russian historical linguistics: Experience and prospects. To the 205th anniversary of I. I. Sreznevsky]. Ryazan: S. n., 2017. P. 157–164.

Kostina 2017 — T. V. Kostina. Studenty v Fizicheskikh ekspeditsiyakh 1768–1774 gg: mezhdu sluzhboy i obrazovaniyem [Students in the Physical expeditions of 1768–1774: between state service and education]. N. A. Ashcheulova (ed.). *Nauka i tekhnika: Voprosy istorii i teorii* [Science and technology: Questions of history and theory]. Vol. 33. St. Petersburg: St. Petersburg branch of S. I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology of the Russian Academy of Sciences, 2017. P. 300–301.

Kouprianov 2005 — A. V. Kouprianov. *Predystoriya biologicheskoy sistematiki: «narodnaya taksonomiya» i razvitiye predstavleniy o metode v yestestvennoy istorii kontsa XVI — nachala XVIII v.* [The prehistory of biological systematics: 'folk taxonomy' and the development of the concept of method in natural history from the late 16th century to the early 18th century]. St. Petersburg: European University at St. Petersburg Press, 2005.

Kovalenko 2017 — K. I. Kovalenko. «Skazaniye o propushchenii vod» kak leksikograficheskiy istochnik [„Das New Distilleir Buch" as a lexicographical source]. *Acta Linguistica Petropolitana.* 2017. Vol. XIII. Pt. 2. P. 416–472.

Kovalenko 2018 — K. I. Kovalenko. *Azbukovnik Davida Zamaraya kak istochnik po russkoy leksikografii XVII veka* [The alphabet book by David Zamaray as a source for the 17th-century Russian lexicography]. Candidate thesis. St. Petersburg: Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences, 2018.

Kovalenko, Kolosova 2024 — K. I. Kovalenko, V. B. Kolosova. K voprosu o proiskhozhdenii fitonimov v trudakh uchenykh-puteshestvennikov XVIII veka [On the origins of phytonyms in works by academic travellers of the 18th century]. *Tezisy nauchnoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem «Tri tsarstva yestestva» (k 300-letiyu osnovaniya Rossiyskoy akademii nauk)* [Abstracts of the Conference 'Three realms of nature' (to the 300th anniversary of the Russian Academy of Sciences)]. St. Petersburg: Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences, 2024. P. 26–29. DOI 10.30842/9785605189404.

Kutina 1964 — L. L. Kutina. *Formirovaniye yazyka russkoy nauki: Terminologiya matematiki, astronomii, geografii v pervoy treti XVIII v.* [The development of the language of Russian science: Terminology of mathematics, astronomy, and geography in the first third of the 18th century]. Moscow; Leningrad: Nauka, 1964.

Kutina 1966 — L. L. Kutina. *Formirovaniye terminologii fiziki v Rossii. Period predlomonosovskiy: pervaya tret XVIII veka* [The development of the terminology of physics in Russia before Lomonosov: the first third of the 18th century]. Moscow; Leningrad: Nauka, 1966.

Kuznetsov (ed.) 1962 — I. V. Kuznetsov (ed.). *Lyudi russkoy nauki — ocherki o vydayushchikhsya deyatelyakh yestestvoznaniya i tekhniki. V 4 t. T. 2: Geologiya, geografiya* [Figures of Russian science — Essays on prominent representatives of natural science and technology. 4 vols. Vol. 2: Geology and geography]. Moscow: Fizmatgiz, 1962.

Leckey 2011 — C. Leckey. *Patrons of Enlightenment: The Free Economic Society in Eighteenth-Century Russia*. Newark: University of Delaware Press, 2011.

Maltseva 1981 — I. M. Maltseva. *Zapiski puteshestviy XVIII veka kak istochnik literaturnogo yazyka i yazyka khudozhestvennoy literatury (k postanovke voprosa)* [Travel notes of the 18th century as a source of literary language and the language of fiction (presentation of an issue)]. Yu. S. Sorokin (ed.). *Yazyk russkikh pisateley XVIII veka* [The language of Russian writers of the 18th century]. Leningrad: Nauka, 1981. P. 130–150.

Marker 1985 — G. Marker. *Publishing, Printing, and the Origins of the Intellectual Life in Russia, 1700–1800*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985.

Montgomery 2000 — S. L. Montgomery. *Science in Translation: Movements of Knowledge through Cultures and Time*. Chicago; London: University of Chicago Press, 2000.

Moon 2010 — D. Moon. The Russian Academy of Sciences Expeditions to the Steppes in the Late Eighteenth Century. *Slavonic and East European Review*. 2010. Vol. 88. No. 1. P. 204–236. DOI: 10.1353/see.2010.0085.

Morozov 2001 — B. N. Morozov. K istorii travnika Lyubchanina 1533/34 g. [Toward a history of the 1533/34 Lubchanin's herbal]. S. O. Schmidt (ed.). *Arkheograficheskiy yezhegodnik za 2000 god* [Archaeographical yearbook for 2000]. Moscow: Nauka, 2001. P. 112–114.

Müller-Wille, Charmentier 2012 — S. Müller-Wille, I. Charmentier. Natural History and Information Overload: The Case of Linnaeus. *Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences*. 2012. Vol. 43. P. 4–15. DOI: 10.1016/j.shpsc.2011.10.021.

Nikitin 1950 — N. P. Nikitin. Zarozhdeniye ekonomicheskoy geografii v Rossii: obzor materialov XVIII v. [The origins of economic geography in Russia: a review of 18th century materials]. *Voprosy geografii*. 1950. No. 17. P. 43–102.

Nikolaev 2008 — S. I. Nikolaev. *Polsko-russkiye literaturnyye svyazi XVI–XVIII vv. Bibliograficheskiye materialy* [Polish-Russian literary ties in the 16th-18th centuries. Bibliographic materials]. St. Petersburg: Nestor-Istoriya, 2008.

Offord et al. 2015 — D. Offord, G. Argent, V. Rjéoutski. French and Russian in Catherine's Russia. D. Offord, L. Ryazanova-Clarke, V. Rjéoutski, G. Argent (eds.). *French and Russian in Imperial Russia*. 2 vols. Vol. 2. Language Attitudes and Identity. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015. P. 32–40. DOI: 10.1515/9780748695522-006.

Olekhnovich 2020 — O. G. Olekhnovich. Problemy perevoda fitonimov s latinskogo yazyka na russkiy v dokumentakh «Aptekarskogo prikaza» XVII v. [Problems of translation of phytonyms from Latin into Russian in the documents of "Aptekarsky prikaz" of the 17th century]. T. A. Sharypina, I. K. Poluyakhtova, M. K. Menshchikova (eds.). *Paradigmy kulturnoy pamyati i konstanty natsionalnoy identichnosti* [Paradigms of cultural memory and constants of national identity]. Nizhny Novgorod: N. I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod Press, 2020. P. 97–108.

Olohan 2014 — M. Olohan. History of Science and History of Translation: Disciplinary Commensurability? *The Translator*. 2014. Vol. 20. No. 1. P. 9–25. DOI: 10.1080/13556509.2014.899091.

Olohan, Salama-Carr (eds.) 2011 — M. Olohan, M. Salama-Carr (eds.). *The Translator*. 2011. Vol. 17. No. 2. Special Issue: Translating Science.

Osipov 1993 — V. I. Osipov. Predisloviye [Preface]. V. I. Osipov (comp.). *Nauchnoye naslediye P.-S. Pallasa. Pisma. 1768–1771 gg.* [The scientific heritage of P. S. Pallas. Letters. 1768–1771]. St. Petersburg: Tialid, 1993. P. 5–20.

Ospovat 2020 — K. A. Ospovat. *Pridvornaya slovesnost: institut literatury i konstruktsii absolyutizma v Rossii serediny XVIII veka* [Courtly letters: Russian literature and visions of absolutism in the mid-eighteenth century]. Moscow: Novoye literaturnoye obozreniye, 2020.

Perevodchiki i perevody 2019 — D. V. Liseytsev, S. M. Shamin (eds.). *Perevodchiki i perevody v Rossii kontsa XVI — nachala XVIII stoletiya* [Translators and

translations in Russia from the late 16th to the beginning of the 18th century]. Proceedings of the International scientific conference. Moscow, 12–13 September 2019. Moscow: The Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences, 2019.

Pokrovskiy 1912 — A. A. Pokrovskiy. *Biblioteka Moskovskoy sinodalnoy tipografii. Ch. 2. Pechatnyye knigi. Vyp. 2. Inostrannyye knigi XVI v.* [The Library of the Moscow Synodal Typography. Pt. 2. Printed books. Vol. 2. Foreign books of the 16th century]. Moscow: Synodal Typography, 1912.

Polskoy, Rjéoutski 2022 — S. V. Polskoy, V. S. Rjéoutski. Perevod i razvitiye politicheskogo yazyka v Rossii XVIII veka [Translations and the development of political language in 18th century Russia]. S. V. Polskoy, V. S. Rjéoutski (ed.). *Laboratoriya ponyatiy: Perevod i yazyki politiki v Rossii XVIII veka* [A Laboratory of concepts: translations and the languages of politics in the 18th century Russia]. Moscow: Novoye literaturnoye obozreniye, 2022. P. 7–102.

Raeff 1986 — M. Raeff. Der wohlgeordnete Polizeistaat und die Entwicklung der Moderne im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts. Versuch eines vergleichenden Ansatzes // E. Hinrichs (ed.). *Absolutismus*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986. S. 310–346.

Raynov 1939 — T. I. Raynov. Russkiye akademiki vtoroy poloviny XVIII v. i Byuffon. (K 150-letiyu russkogo perevoda Byuffona) [Russian academicians of the second half of the 18th century and Buffon. (To the 150th anniversary of the Russian translation of Buffon's works)]. *Vestnik AN SSSR*. 1939. No. 10. P. 126–147.

Romanov 1997 — N. A. Romanov. *Russkaya anatomicheskaya terminologiya XVIII veka* [Russian anatomical terminology of the 18th century]. Smolensk: Smolensk Association of Researchers, 1997.

Rosenberg (ed.) 2003 — D. Rosenberg (ed.). *Journal for the History of Ideas*. 2003. Vol. 64. No. 1. Special Issue: Early Modern Information Overload.

Rowell 1980 — M. Rowell. Linnaeus and Botanists in Eighteenth-Century Russia. *Taxon*. 1980. Vol. 29. No. 1. P. 15–26. DOI: 10.2307/1219592.

Rupke 2000 — N. Rupke. Translation Studies in the History of Science: The Example of the *Vestiges. British Journal for the History of Science*. 2000. Vol. 33. No. 2. P. 209–222. DOI: 10.1017/S0007087499003957.

Sabra 1987 — A. I. Sabra. The Appropriation and Subsequent Naturalization of Greek Science in Medieval Islam: A Preliminary Statement. *History of Science*. 1987. Vol. 25. No. 3. P. 223–243.

Samarin 2000 — A. Yu. Samarin. *Chitatel v Rossii vo vtoroy polovine XVIII veka (po spiskam podpischikov)* [The Russian readership in the second half of the 18th century (according to the subscription lists)]. Moscow: Moscow State University of Printing Arts Press, 2000.

Schellenberg 2011 — R. Schellenberg. Scientific Literacy in Eighteenth-Century Germany. B.-L. Gunnarsson (ed.). *Languages of Science in the Eighteenth Century*. Berlin; Boston: De Gruyter Mouton, 2011. P. 91–106.

Semennikov 1913 — V. P. Semennikov. *Sobraniye, starayushcheyesya o perevode inostrannykh knig, uchrezhdennoye Yekaterinoy II. 1768–1783 gg.: istoriko-literaturnoye issledovaniye* [The Society for Foreign Books Translation, established by Catherine II. 1768–1783: a historical and literary study]. St. Petersburg: Sirius Typography, 1913.

Semyonov 1878 — N. P. Semyonov. *Russkaya nomenklatura naiboleye izvestnykh v nashey flore i kulture i nekotorykh obshcheupotrebitelnykh rasteniy* [Russian nomenclature of the most well-known in our flora and cultivation, and of some commonly used plants]. St. Petersburg: N. A. Lebedev's Typography, 1878.

Shcherbakova 1960 — A. A. Shcherbakova. Istoriya russkoy botanicheskoy (morfologicheskoy) terminologii [History of Russian botanical (morphological) terminology]. *Trudy Instituta istorii yestestvoznaniya i tekhniki*. 1960. Vol. 32. P. 203–250.

Shcherbakova 1979 — A. A. Shcherbakova. *Istoriya botaniki v Rossii do 60-kh gg. XIX v. (dodarvinovskiy period)* [A history of botany in Russia before the 1860^{s} (pre-Darwinian period)]. Novosibirsk: Nauka, 1979.

Shitsgal 1985 — A. G. Shitsgal. *Russkiy tipografskiy shrift: voprosy istorii i praktika primeneniya* [Russian typographic font, its history and uses]. Moscow: Kniga, 1985.

Sikorskaya 1989 — L. N. Sikorskaya. Sinonimicheskiye sredstva vyrazheniya v sfere russkoy botanicheskoy terminologii kontsa XVIII — pervoy poloviny XIX veka [Synonymic means of expression in the sphere of Russian botanical terminology from the late 18th to the first half of the 19th century]. E. N. Borisova (ed.). *Leksicheskaya i sintaksicheskaya sinonimiya* [Lexical and syntactic synonymy]. Smolensk: Smolensk State Pedagogical Institute Press, 1989. P. 33–43.

Sokolov 2013 — A. I. Sokolov. Iz istorii khimicheskoy terminologii XVIII — nachala XIX vv. (zemlya – izvest – pepel – oksid) [Glimpses of the history of chemical terminology of the 18th and early 19th centuries (earth – lime – ash – oxide)]. O. A. Starovoytova (ed.). *Ot bukvy k slovaryu: Sbornik nauchnykh statey k 200-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Ya. K. Grota* [From a letter to dictionary: Collection of papers for the 200th anniversary Academician Ya. K. Grot]. St. Petersburg: Nauka, 2013. P. 275–282.

Sokolov, Parnes 1993 — V. E. Sokolov, Ya. A. Parnes. *U istokov otechestvennoy teriologii* [The origins of Russian theriology]. Moscow: Nauka, 1993.

Sorokin 1966 — Yu. S. Sorokin. Iz istorii russkoy yestestvennonauchnoy terminologii i yeye literaturnogo rasprostraneniya (Termin *rasteniye* i yego sinonimy) [Glimpses of the history of Russian natural science terminology and its spread in writings (The term 'plant' and its synonyms)]. *Izvestiya AN SSSR. Seriya literatury i yazyka*. 1966. Vol. 25. No. 3. P. 218–225.

Sörlin 2000 — S. Sörlin. Ordering the World for Europe: Science as Intelligence and Information as Seen from the Northern Periphery. *Osiris*. 2000. Vol. 15. No. 1. P. 51–69. DOI: 10.1086/649318.

Stepanov 1949 — N. N. Stepanov. Stepan Petrovich Krasheninnikov i yego trud «Opisaniye Zemli Kamchatki» [Stepan Petrovich Krasheninnikov and his oeuvre 'The history of Kamtschatka']. S. P. Krasheninnikov. *Opisaniye Zemli Kamchatki. S prilozheniyem raportov, doneseniy i drugikh neopublikovannykh materialov* [The history of Kamtschatka. With the appendices of reports, accounts and other unpublished materials]. Moscow; Leningrad: Chief Directorate of the Northern Sea Route Press, 1949. P. 13–84.

Stone (ed.) 1996 — G. C. Stone (ed.). *A Dictionarie of the Vulgar Russe Tongue, Attributed to Mark Ridley*. Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 1996.

Sumillera et al. (eds.) 2020 — R. G. Sumillera, J. Surman, K. Kühn (eds.). *Translation in Knowledge, Knowledge in Translation*. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2020.

Tarasova 1993 — E. N. Tarasova. *Formirovaniye fiziologicheskoy terminologii v russkom literaturnom yazyke kontsa XVIII — pervoy poloviny XIX v.* [The development of physiological terminology in the Russian literary language from the late 18th to the first half of the 19th century]. Candidate dissertation. Smolensk: Smolensk State Pedagogical University, 1993.

Tarko 1967 — G. N. Tarko. *K voprosu o formirovanii russkoy nauchnoy terminologii v XVIII veke: leksiko-slovoobrazovatelnyy analiz botanicheskikh terminov-prilagatelnykh* [On the development of Russian scientific terminology in the 18th century: lexical and morphological analysis of botanical adjectives]. Candidate dissertation. Moscow: N. K. Krupskaya Moscow Regional Pedagogical Institute, 1967.

Tribe 1984 — K. Tribe. Cameralism and the Science of Government. *Journal of Modern History*. 1984. Vol. 56. No. 2. P. 263–284. DOI: 10.1086/242667.

Tsvelev 2011 — N. N. Tsvelev. O russkikh nazvaniyakh semeystv pokrytosemennykh rasteniy [On the Russian names of the Magnoliophyta families]. *Novosti sistematiki vysshikh rastenii.* 2011. Vol. 42. P. 24–29.

Veklich 1999 — M. V. Veklich. *Formirovaniye russkoy anatomicheskoy terminologii (XVIII vek)* [The development of Russian anatomical terminology (18th century)]. Candidate dissertation. Astrakhan: Astrakhan State Pedagogical University, 1999.

Veklich 2008 — M. V. Veklich. Sobstvennoye slovoproizvodstvo kak odin iz sposobov popolneniya russkogo anatomicheskogo terminologicheskogo slovarya XVIII v. [Vernacular word-formation as a method for the build-up of Russian anatomical vocabulary in the 18th century]. *Voprosy lingvistiki i literaturovedeniya*. 2008. No. 4. P. 7–20.

Veselova 2004 — A. Yu. Veselova. Voprosy "zemledeliya i domostroitelstva" v deyatelnosti Imperatorskogo Volnogo ekonomicheskogo obshchestva [Issues of "farming and house-keeping" in the work of the Imperial Free Economic Society]. *Otechestvennyye zapiski*. 2004. No. 1 (16). P. 146–154.

Vlakhov, Florin 1980 — S. I. Vlakhov, S. P. Florin. *Neperevodimoye v perevode* [The untranslatable in translation]. Moscow: Mezhdunarodnyye otnosheniya, 1980.

Volkov 2019 — S. S. Volkov. Drev i trav velikolepiye, krasota tsvetov i plodov izobiliye (zametki o fitonimakh v tekstakh M. V. Lomonosova) [Splendor of trees and herbs, beauty of flowers and abundance of fruits (notes on phytonyms in the texts of M. V. Lomonosov)]. S. A. Myznikov (ed.). *Leksicheskiy atlas russkikh narodnykh govorov (Materialy i issledovaniya) 2019* [Lexical atlas of Russian dialects (Materials and research) 2019]. St. Petersburg: Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences, 2019. P. 214–232.

Volkov 2021 — S. S. Volkov. K voprosu o formirovanii yazykov dlya spetsialnykh tseleiy yestestvennykh nauk vo vtoroy polovine XVIII v.: narodnyye fitonimy v doklade I. Lepekhina [On the formation of languages for special purposes of natural sciences in the second half of the 18th century: folk phytonyms in Ivan Lepekhin's report]. S. A. Myznikov (ed.). *Leksicheskiy atlas russkikh narodnykh govorov (Materialy i issledovaniya) 2021* [Lexical atlas of Russian dialects (Materials and research) 2021]. St. Petersburg: Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences, 2021. P. 105–122.

Wright 2000 — D. Wright. *Translating Science: The Transmission of Western Chemistry into Late Imperial China, 1840–1900*. Leiden; Boston; Köln: Brill, 2000.

Zabinkova 1965 — N. N. Zabinkova. O perevode na russkiy yazyk latinskikh nazvaniy rasteniy (k voprosu o russkoy botanicheskoy nomenklature) [On the Russian translation of Latin plant names (toward the problem of Russian botanical nomenclature)]. *Botanicheskiy zhurnal*. 1965. Vol. 50. No. 7. P. 962–966.

Zabinkova 1966 — N. N. Zabinkova. Nekotoryye voprosy proiskhozhdeniya i pravopisaniya russkikh botanicheskikh terminov [Problems of the origin and spelling of Russian botanical terms]. *Botanicheskiy zhurnal*. 1966. Vol. 51. No. 3. P. 389–395.

Zaytseva 1984 — A. A. Zaytseva. Assortiment knizhnoy lavki Akademii nauk v kontse XVIII veka [Inventories of the bookstore of the Academy of Sciences in the late 18th century]. S. P. Luppov (ed.). *Kniga i knigotorgovlya v Rossii v XVI–XVIII vekakh* [Books and book trade in Russia in the 16th–18th centuries]. Leningrad: Library of the Academy of Sciences of the USSR, 1984. P. 140–143, Appendix s.p.

Zhivov 2017 — V. M. Zhivov. *Istoriya yazyka russkoy pismennosti* [History of the Russian written language]. 2 vols. Moscow: Russian Foundation for Education and Science, 2017.

Получено / received 21.02.2025 *Принято / accepted 21.05.2025*

Acta Linguistica Petropolitana. 2025. Vol. 21.2. P. 176–198
DOI: 10.30842/alp23065737212176198

Гот. *runa*, др.-исл. *rún* ‘тайна; руна’: сравнительный анализ

Т. В. Топорова

Институт языкознания РАН (Москва, Россия); t1960@list.ru;
ORCID ID 00000002-4977-2402

Аннотация. Сравнительный анализ гот. *runa* ‘тайна’, представленной в Готской Библии, и др.-исл. *rún* ‘тайна; руна’, засвидетельствованной в древнеисландском поэтическом эпосе «Старшая Эдда», приводит к выводу об их соотнесенности с актом творения и Творцом. На основании языковых фактов реконструируется предложение **Guþ — kannjan — runa* ‘*Бог* дает *знать тайну* (человеку)’, то есть Творец позволяет узнать самого себя творению (людям), а также форма изложения *тайны* в виде *распева.* Источником расхождений является подвергшаяся христианизации модель мира в Готской Библии и сохранение исконной эддической мифопоэтической модели мира, отражающей языческое мировоззрение.

Ключевые слова: древнегерманские языки, Готская Библия, древнеисландская «Старшая Эдда», сравнительно-исторический анализ, семантическая реконструкция, мифопоэтическая модель мира.

Goth. *runa*, Old-Icel. *rún* ‘mystery; rune’: comparative historical analysis

Tatyana V. Toporova

Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia);
t1960@list.ru; ORCID ID 0000-0002-4977-2402

Abstract. A comparative analysis of Gothic and Old Icelandic Eddaic evidence can reveal a range of important **coincidences** in the semantic structure of the lexemes addressed. Associated with the *Act of Creation* and the *Creator*, they are both endowed with *sacredness* (cf. the attributes: Gothic *mikils* ‘great’; Old Icelandic *megin-* ‘mighty’) and occur in *ritual* narratives (cf. *mystery* + ritual *administrant* (*sacrificer,*

priest)). This can be confirmed by their occurrence in the **nominative case** in combination with *existential* verbs (*mystery is*) and by conflation of *mystery* and *truth* (lit. the *Existence*; cf. Old Icelandic *sannr* 'true', Gothic *sunja* 'Truth' < Old Islandic **sn̥t-*, part. praes. Indo-European **es-* 'be' [Pokorny 1959: 340-342]). Various contexts also support this point: cf. identification of *full knowledge* with possession of *mysteries* (Kol. 1,26-28) and Old Icelandic *fullrýninn* (Am. 11) 'fully knowledgeable in runes'). Another important feature of Gothic *runa* and Old Icelandic *rún* is that they belong to the domain of *epistemology*; cf. their most frequent syntactic function as objects characterizing cognitive activities (*to know runes*), the association of *mystery* with *intellect* and *judgement*, as well as their ability to be realized in the verbal code (cf. *mystery* + *speech*, *speak*). The nature of the *knowledge* encoded by the lexemes addressed can be specified as having practical intent equivalent to action. Compare the equivalence of the verbs *know* and *be able* in the example: ***Limrúnar*** *scaltu* ***kunna****, ef þú vilt lœcnir vera* / *oc* ***kunna*** *sár at siá* (Sd. 11) '***The branches of rune*** you must ***know***, if a healer you want to be / and ***be able*** to see wounds'. Based on the texts addressed, we can also reconstruct the form of rendering *mystery* as a *chant* (cf. *mystery* + *song, sing*), equated in the Older Edda to conjuration. Mystery is both *theocentric* (cf. *mystery* + *God*) and *anthropocentric* (cf. *mystery* + *kin*, *age*, *epoch*); it links *the Creator* and *Creation* (*mystery* + *God*; *mystery* + *faith*). The **discrepancies** between the meanings of the lexemes addressed are due to the mutual interference of two sources: Gothic Bible with its *Christianization* of the World Model, and the ancestral *mythopoetic World Model* of the Older Edda. It is for this reason that Gothic *runa* identifies with the Creator and Jesus Christ and mostly occurs in the **singular**, while the Old Icelandic *rúna* is associated with Icelandic gods with their *multiple* acts of creation and thus imply the **plural** meaning and refer to the First Creation actualized by the attributes *ancient* and *remembrance*.

Keywords: Old Germanic languages, the Gothic Bible, the Old Icelandic Elder Edda, comparative historical analysis, semantic reconstruction, mythopoetic model of the world.

1. Введение

Неиссякающий интерес исследователей к готскому языку продиктован тем обстоятельством, что он репрезентирует **первый** древнегерманский язык, на котором были засвидетельствованы значительные по объему памятники, служащие уникальным материалом для изучения специфики германской группы языков архаичного периода.

Задача настоящей статьи заключается в сравнительном анализе дистрибуций гот. *runa* ‘тайна’ и ее дериватов (гот. *ga-runi* ‘(тайное) собрание’) в Готской Библии, сохранившейся до наших дней в составе нескольких рукописей V–VI вв., включающих отрывки из четырех Евангелий, апостольских Посланий, фрагментов Ветхого Завета [Die Gotische Bibel 1965; Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета 2016] и «являющихся продуктом длительной письменной традиции, истоки которой восходят к переводческой деятельности вестготского епископа арианина Ульфилы, жившего в IV в.» [Гухман 1958: 16] и др.-исл. *rún* ‘тайна; руна’, засвидетельствованной в древнеисландском поэтическом эпосе «Старшая Эдда». Особое внимание уделяется *контексту*, трактуемому не только как непосредственная среда существования слова, но и в более широком значении как «все категории текста, которые влияют на формирование и актуализацию лексико-семантических тождеств и различий в нем» [Гвоздецкая 2003: 29].

Основная цель состоит в том, чтобы извлечь максимум информации из контекстов, в которых фигурирует эта лексема, детально описать ее падежную парадигму, частотность употребления, структуру значения и синтаксические функции, в которых она выступает. Аналогичная процедура будет проведена с др.-исл. *rún* ‘тайна; руна’, фигурирующей в древнеисландском поэтическом эпосе «Старшая Эдда» (основная рукопись Codex Regius 2365 датируется второй половиной XIII в. [Neckel 1962; Старшая Эдда 1963]). В результате будет проиллюстрировано воздействие на те или иные понятия, зафиксированные в Готской Библии, архетипов древнегерманской мифопоэтической модели мира, отражающей языческое мировоззрение и интерпретируемой как «сокращенное и упрощенное отображение всей суммы представлений о мире внутри данной традиции, взятых в их системном и операционном аспектах» [Токарев 1982: 161]. Такой подход кажется вполне обоснованным, если учесть появление исследований, ориентированных на реконструкцию готской языческой лексики как системы [Ганина 2001]. Не в меньшей степени необходимо также установить роль феномена христианизации, оказавшего мощное влияние на мировоззрение готов.

2. Гот. *runa*

Обратимся к изучению фактов готского языка, приведем словарное значение и этимологию гот. *runa* (1), а также контексты из Готской Библии, в которых зафиксированы интересующие нас словоупотребления (2)–(15):

(1) «**rūna** F ō. 1. μυστήριον *Geheimnis* L 8,10 Mc 4,11 R 11,25 K 13,2 15,51 E 1,9 3,3.4.9 6,19 C 1,26 4,3 T 3,9.16. 2. *Beschluß* βουλή L 7,30, *Anschlag* K 4,5; συμβούλιον M 27,1 CA (: ga-runi C)» [Vergleichendes Wörterbuch der Gotischen Sprache 1939: 112); «**runa** f ō μυστήριον *mystery*, *secret* L 8.10 IC 13.2, βουλή *plan* L 7.30, συμβούλιον *counsel* M 27.1; *ga-runi* n *ja* συμβούλιον *counsel*, *consultation*, acc sg Mk 3,6. Run *runaz* (Istaby) f *ō* acc pl ⟨...⟩. OI **rūn** *secret*, *magic sign*, *rune*, OE **rūn** *secret*, *advice*, *rune*, *writing*; OHG **rūna** *confidential talk*, *advice*; OHG **gi-runi** *secret*; cf also OI **rūni** m *trusted friend*; OE **ge-rūna** m *advisor*; OI **rȳna** wkv *hold a confidential conversation*, *carry out a rune spell*, OS, OHG **rūnōn** wkv *whisper*. ⟨...⟩ OIr **rūn** *secret*, *mystery* ⟨...⟩ PIE problematic» [A Gothic Etymological Dictionary 1986: 287–288][1]

(2) M. 27,1: *At maurgin þan waurþanana,* ***garuni*** *nemun allai þai gudjans jah þai sinistans manageins bi Iesu, ei afdauþidedeina ina.*
‘Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели ***совещание*** об Иисусе, чтобы предать Его смерти’.

(3) L. 7,30: *iþ Fareisaieis jah witodafastjos* ***runa*** *gudis fraqeþun ana sik, ni daupidai fram imma*.
‘А фарисеи и законники отвергли ***волю*** Божию о себе, не крестившись от него’.

---

[1] «rūna ж.р. ō. 1. μυστήριον *тайна* Лк. 8:10; Мк. 4:11; Рим. 11:25; 1 Кор. 13:2, 15:51; Еф. 1:9, 3:3, 4, 9, 6:19; Кол. 1:26, 4:3; 1 Тим. 3:9, 16. 2. *Решение* βουλή Лк. 7:30, *промысл* 1 Кор. 4:5; συμβούλιον Мф. 27:1 (: ga-runi Кол.)» (Готская Библия 1965: 112); «runa ж. р. ō μυστήριον *тайна*, *секрет* Лк. 8:10, I Кор. 13:2; βουλή *план* Лк. 7:30, συμβούλιον *совет* Мф. 27:1; *ga-runi* ср. р. *ja* συμβούλιον *совет*, *совещание*, вин. пад. ед. ч. Мк. 3:6. рун. *runaz* (Istaby) ж. р. *ō* вин. пад. мн. ч. ⟨...⟩. др.-исл. rūn *тайна*, *магический знак*, *руна*, др.-англ. rūn *тайна*, *совет*, *руна*, *письмо*; д.-в.-н. rūna *доверительный разговор*, *совет*; д.-в.-н. gi-runi *тайна*; ср. также др.-исл. rūni м. р. *доверенный друг*; др.-англ. ge-rūna м. р. *советчик*; др.-исл. rȳna сл. гл. *провести конфиденциальную беседу, исполнить руническое заклинание*, др.-сакс., д.-в.-н. rūnōn сл. гл. *шептать*. ⟨...⟩ др.-ирл. rūn *секрет*, *тайна* ⟨...⟩ Протоиндоевропейская реконструкция проблематична» [A Gothic Etymological Dictionary 1986: 287–288].

(4) L. 8,10: *iþ is qaþ: izwis atgiban ist kunnan* ***runos*** *þiudinassaus gudis; iþ þaim anþaraim in gajukom, ei saihvandans ni gasaihvaina, jah gahausjandans ni fraþjaina.*
‘Он сказал: вам дано знать ***тайны*** Царствия Божия, а прочим в притчах, так как они видя не видят и слыша не разумеют’.

(5) Mc. 4,11–12: *jah qaþ im: izwis atgiban ist kunnan* ***runa*** *þiudangardjos gudis, iþ jainaim þaim uta in gajukom allata wairþiþ, // ei saihvandans* ⟨...⟩
‘И сказал им: вам дано знать ***тайну*** Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах; // Так что они смотрят ⟨...⟩’.

(6) R. 11,25: *ni auk wiljau izwis unweisans, broþrjus, þizos* ***runos****, ei ni sijaiþ in izwis silbam frodai, unte daubei <bi> sumata Israela warþ, und þatei fullo þiudo inngaleiþai*.
‘Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении ***тайны*** сей (чтобы вы не мечтали о себе), что ожесточение произошло в Израиле отчасти, *до времени*, пока войдет полное *число* язычников’.

(7) K. 4,5: *þannu nu ei faur mel ni stojaiþ, unte qimai frauja, saei jah galiuhteiþ analaugn riqizis jah gabairhteiþ* ***runos*** *hairtane; jaþ-þan hazeins wairþiþ hvarjammeh fram guda.*
‘Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные ***намерения*** (букв. ***тайны***), и тогда каждому будет похвала от Бога’.

(8) T. 3,8–9: *jah swa diakaununs* ⟨...⟩ *// habandans* ***runa*** *galaubinais in hrainai gahugdai*.
‘Диаконы ⟨...⟩, // хранящие ***таинство*** веры в чистой совести’.

(9) T. 3,15–16: ⟨...⟩ *aikklesjo, gudis libandins, sauls jah tungiþa sunjos // jah unsahtaba mikils ist gagudeins* ***runa*** *saei gabairhtiþs warþ in leika garaihts gadomiþs warþ in ahmin, ataugids warþ þaim aggilum, merids warþ in þiudom, galaubiþs warþ in fairhvau, andnumans warþ in wulþau.*
‘⟨...⟩ Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины. // И беспрекословно — великая благочестивая ***тайна***: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе’.

(10) E. 1,8–9: *þoi ufarassau ganohida in uns in allai handugein jah frodein // kannjan unsis* ***runa*** *wiljins seinis bi wiljin, saei fauragaleikaida imma.*
‘Каковую Он в преизбытке даровал нам по всякой премудрости и разумении, // открыв нам ***тайну*** Своей воли по Своему благоволению, которое он прежде положил в Нем’.

(11) E. 3,3–4: *unte be andhuleinai gakannida was mis so* ***runa****, swe fauragamelida in leitilamma, // duþþe ei siggwandans mageiþ fraþjan frodein meinai in* ***runai*** *Xristaus*.
‘Потому что мне через откровение возвещена ***тайна*** (о чем я и выше писал кратко), // то вы, читая, можете усмотреть мое разумение ***тайны*** Христовой’.

(12) E. 3,9: *jah inluihtjan allans, hvileik þata fauragaggi* ***runos*** *þizos gafulginons fram aiwam in guda þamma alla gaskapjandin.*
‘И открыть всем, в чем состоит домостроительство ***тайны***, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом’.

(13) E. 6,19: *jah fram mis, ei mis gibaidau waurd in usluka munþis mein[a]is in balþein kannjan* ***runa*** *aiwaggeljons.*
‘И о мне, дабы мне дано было слово — устами моими открыто с дерзновением возвещать ***тайну*** благовествования’.

(14) Kol. 1,26–28: ***runa*** *saei gafulgina was fram aiwam jah fram aldim, iþ nu gaswikunþida warþ þaim weiham is, // þaimi wilda guþ gakannjan gabein wulþaus þizos* ***runos*** *in þiudom, þatei is Xristus in izwis, wens wulþaus, // þanei wis gateiham talzjandans all manne jah laisjandans all manne in allai handugein, ei atsatjaima all manne fullawitan in Xristau Iesu.*
‘⟨...⟩ ***Тайну***, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, // Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в ***тайне*** сей для язычников, которая есть Христос в нас, упование славы, // Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе’.

(15) Kol. 4,3–4: *bidjandans samana jah bi uns ei guþ uslukai unsis haurd waurdis du rodjan* ***runa*** *Xristaus, in þizozei jah gabundans im, // ei gabairhtjau ⟨...⟩ þo, swaswe skuljau rodjan*.
‘Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать ***тайну*** Христову, за которую я и в узах, // дабы я открыл ее, как должно мне возвещать’.

Обратимся к анализу изучаемой лексемы в приводимых выше контекстах.

В Готской Библии *runa* встречается 15 раз, формы **ед. ч.** (13) преобладают над **мн. ч.** (2), причем в одном случае наряду с **мн. ч.** фигурирует **ед. ч.** в одинаковых контекстах, то есть их можно рассматривать как равнозначные варианты. Ср.:

Таблица 1. Словоизменительная парадигма и частотность гот. *runa*

Table 1. Inflectional paradigm and frequency of Got. *runa*

Число, падеж	**Лексема**	**Частотность**
Ед. ч. им. пад.	*runa* (T. 3,16; E. 3,3; Kol. 1,26)	3
Ед. ч. род. пад.	*runos* (R. 11,25; E. 3,9; Kol. 1,27)	3
Ед. ч. дат. пад.	(*in*) *runai* (E. 3,3)	1
Ед. ч. вин. пад.	*runa* (L. 7,30; Mc. 4,11; T. 3,9; E. 1,9; E. 6,19; Kol. 4,3)	6
Мн. ч. вин. пад.	*runos* (L. 8,10; K. 4,5)	2

(16) *iþ is qaþ: izwis atgiban ist kunnan* ***runos*** *þiudinassaus gudis* (L. 8,10)
‘Он сказал: вам дано знать ***тайны*** Царствия Божия’.

(17) *jah qaþ im: izwis atgiban ist kunnan* ***runa*** *þiudangardjos gudis* (Mc. 4,11–12).
‘И сказал им: вам дано знать ***тайну*** Царствия Божия’.

В K. 4:5 **мн. ч.** используется метафорически для обозначения помыслов, гнездящихся в сердце:

(18) ⟨...⟩ *Unte qimai frauja jah gabairhteiþ* ***runos*** *hairtane.*
‘⟨...⟩ Пока не придет Господь ⟨...⟩ и обнаружит сердечные ***намерения*** (букв. ***тайны***)’.

Очевидную периферию образует **дат. пад.** в предложной конструкции *in runai* (E. 3,4), зафиксированный один раз и изофункциональный **род. пад.** Ср.:

(19) ⟨...⟩ *mageiþ fraþjan frodein meinai in* ***runai*** *Xristaus* (E. 3,4).
‘⟨...⟩ можете уразуметь мое разумение в ***тайне*** (= **тайны**) Христовой’*[2].

Род. пад. (3 словоупотребления) гетерогенен по функциям, так как в конструкции с отрицанием (*unweisans* ⟨...⟩ *þizos* ***runos*** (R. 11,25) ‘*не* ведающие ⟨...⟩ об этой ***тайне***’) он представляет собой вариант **вин. пад.** В остальных примерах репрезентирован приименной **род. пад.** (*gabein wulþaus* (**род.**) *þizos* ***runos*** (**род.**) *in þiudom* (Kol. 1,27) ‘⟨...⟩ богатство славы этой ***тайны*** для язычников’*) или с постпозицией указательного местоимения и прилагательного. Ср.:

[2] Знак * обозначает дословный перевод автора.

(20) ⟨...⟩ *Þata fauragaggi* ***runos*** *þizos gafulginons fram aiwam in guda* (E. 3,9).
‘⟨...⟩ Домостроительство ***тайны*** той, сокрывавшейся от вечности в Боге’.

Срединное положение занимает **им. пад.**, засвидетельствованный трижды, а максимальной частотностью отличается **вин. пад.** (6 словоупотреблений), преимущественно используемый в словосочетании ‘знать тайну’, например, *kunnan* ***runa*** (Mc. 4,11–12).

Субстантивные словосочетания:

— **тайна + Бог**: **runa** ***gudis*** (L. 7,30) ‘***тайну Бога***’; ⟨...⟩ *du rodjan* ***runa Xristaus*** (Kol. 4,3), ‘⟨...⟩ возвещать ***тайну Христову***’;
— **тайна + воля (Бога)**: *kannjan unsis* ***runa wiljins*** *seinis* ‘открыв нам ***тайну*** Своей *воли*’;
— **тайна + Царство Бога**: **runos** ***þiudinassaus gudis*** (L. 8,10) ‘***тайны Царствия Божия***’; **runa** ***þiudangardjos gudis*** (Mc. 4,11) ‘***тайну Царствия Божия***’;
— **тайна + вера**: ⟨...⟩ *habandans* ***runa galaubinais*** *in hrainai gahugdai* (T. 3,9) ‘⟨...⟩ имеющие ***тайну веры*** в чистой совести’*;
— **тайна + благовествование**: ⟨...⟩ *in balþein kannjan* ***runa aiwaggeljons*** (E. 6,19) ‘⟨...⟩ с дерзновением давать знать ***тайну благовествования***’;
— **тайна + благочестие** (= **божественное**): *jah unsahtaba mikils ist* ***gagudeins runa*** ‘и беспрекословно — великая ***благочестия тайна***’;
— **тайна + ум**: ⟨...⟩ *mageiþ fraþjan* ***frodein*** *meinai in* ***runai*** *Xristaus* (E. 3,4) ‘⟨...⟩ можете уразуметь мое ***разумение*** в ***тайне*** Христовой’*;
— **тайна + сердце**: ⟨...⟩ *jah gabairhteiþ* ***runos hairtane*** (K. 4,5) ‘и осветит скрытое во мраке и обнаружит ***намерения*** (букв. ***тайны***) ***сердца***’*;
— **тайна + слава**: ⟨...⟩ *gakannjan gabein* ***wulþaus*** *þizos* ***runos*** *in þiudom, þatei is Xristus in izwis, wens* ***wulþaus*** (Kol. 1,27) ‘⟨...⟩ дать знать богатство ***славы тайны*** сей для язычников, которая есть Христос в нас, упование ***славы***’*.

Атрибуты:

— **великий**: *jah unsahtaba* ***mikils*** *ist gagudeins* ***runa*** (T. 3,16) ‘И беспрекословно есть ***великая*** благочестия ***тайна***’;

Предикаты субъекта:

— **быть**, *jah unsahtaba mikils* ***ist*** *gagudeins* ***runa*** (T. 3,16) ‘И беспрекословно ***есть*** великая благочестия ***тайна***’*;
— **скрывать** / **быть сокрытым**: ***runa*** *saei* ***gafulgina*** *was fram aiwam jah fram aldim, iþ nu gaswikunþida warþ þaim weiham is* (Kol. 1,26) ‘***Тайна***, которая ***сокрыта*** была от веков и родов, ныне же открыта стала святым Его’*; *jah inluihtjan allans, hvileik þata fauragaggi* ***runos*** *þizos* ***gafulginons*** *fram aiwam in guda þamma alla gaskapjandin* ‘и осветить всем, каково домостроительство ***тайны***, ***скрывавшейся*** от вечности в Боге, создавшем все’*;
— **открывать** / **быть открытым**: ***runa*** *saei gafulgina was fram aiwam jah fram aldim, iþ nu* ***gaswikunþida*** *warþ þaim weiham is* (Kol. 1,26) ‘⟨...⟩ ***тайна***, которая сокрыта была от веков и родов, ныне же ***открыта*** стала святым Его’*.

Предикаты объекта:

— **иметь**: *jah swa diakaununs* ⟨...⟩ // ***habandans runa*** *galaubinais in hrainai gahugdai* (T. 3,8–9): ‘Диаконы ⟨...⟩, // ***имеющие тайну*** веры в чистой совести’*;
— **говорить (возвещать)**: ⟨...⟩ *du* ***rodjan runa*** *Xristaus* ⟨...⟩ *swaswe skuljau* ***rodjan*** (Kol. 4,3) ‘⟨...⟩ ***возвещать тайну*** Христову ⟨...⟩ как должно мне ***возвещать***’;
— **знать**: *izwis atgiban ist* ***kunnan runos*** *þiudinassaus gudis* (L. 8,10) ‘вам дано ***знать тайны*** Царствия Божия’; *izwis atgiban ist* ***kunnan runa*** *þiudangardjos gudis* (Mc. 4,11–12) ‘вам дано ***знать тайны*** Царствия Божия’; ***kannjan*** *unsis* ***runa*** *wiljins seinis bi wiljin* (E. 1,9) ‘дав ***знать*** нам ***тайну*** Своей воли по Своему благоволению’*; *unte be andhuleinai* ***gakannida*** *was mis so* ***runa*** (E. 3,3) ‘потому что мной через откровение ***познана*** та ***тайна***’*; *jah fram mis, ei mis gibaidau waurd in usluka munþis mein[a]is in balþein* ***kannjan runa*** *aiwaggeljons* (E. 6,19) ‘и о мне ⟨...⟩ с дерзновением давать ***знать тайну*** благовествования’; ⟨...⟩ *þaimi wilda guþ* ***gakannjan*** *gabein wulþaus þizos* ***runos*** *in þiudom* (Kol. 1,27) ‘⟨...⟩ которым благоволил Бог дать ***знать*** богатство славы этой ***тайны*** для язычников’*; *ni auk wiljau izwis* ***unweisans****, broþrjus, þizos* ***runos*** (R. 11,25) ‘ибо не хочу оставить вас, братия, ***не ведающими*** о ***тайне*** сей’*;

— **освещать**: ⟨...⟩ *du rodjan* ***runa*** *Xristaus* ⟨...⟩ // *ei* ***gabairhtjau*** ⟨...⟩ *þo, swaswe skuljau rodjan* (Kol. 4, 3) ‘⟨...⟩ возвещать ***тайну*** Христову, ⟨...⟩ // дабы я ***осветил*** ее, как должно мне возвещать’; ⟨...⟩ *jah* ***gabairhteiþ runos*** *hairtane* (K. 4, 5) ‘и ***осветит тайны*** сердца’*; *jah* ***inluihtjan*** *allans, hvileik þata fauragaggi* ***runos*** *þizos gafulginons fram aiwam in guda þamma alla gaskapjandin* ‘и ***осветить*** всем, каково домостроительство ***тайны***, скрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все’*;

— **отвергать**: *iþ Fareisaieis jah witodafastjos* ***runa*** *gudis* ***fraqeþun*** *ana sik* (L. 7,30) ‘А фарисеи и законники ***отвергли тайну*** Божию о себе’;

— **понять (уразуметь)**: ⟨...⟩ *mageiþ* ***fraþjan*** *frodein meinai in* ***runai*** *Xristaus* (E. 3,4) ‘⟨...⟩ можете ***уразуметь*** мое разумение в ***тайне*** Христовой’*.

На основании приводимых контекстов можно сделать некоторые выводы о значении гот. *runa*. Особое внимание следует уделить отождествлению *тайны*, обладающей высочайшей ценностью (ср. атрибут *великая*), и *Бога*, выраженному эксплицитно. Ср.:

(21) ***runa*** *saei gafulgina was fram aiwam jah fram aldim, iþ nu gaswikunþida warþ þaim weiham is, // þaimi wilda guþ gakannjan gabein wulþaus þizos* ***runos*** *in þiudom, þatei is Xristus in izwis, wens wulþaus* (Kol. 1,26–27).
‘***Тайну***, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, // Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в ***тайне*** сей для язычников, которая есть Христос в нас, упование славы’.

(22) *jah unsahtaba mikils ist gagudeins* ***runa*** *saei gabairhtiþs warþ in leika garaihts gadomiþs warþ in ahmin, ataugids warþ þaim aggilum, merids warþ in þiudom, galaubiþs warþ in fairhvau, andnumans warþ in wulþau* (T. 3,16).
‘И беспрекословно — великая благочестивая ***тайна***: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе’.

Такую трактовку поддерживают и другие словоупотребления, в частности, субстантивные конструкции **тайна + Бог**, **тайна** + неотъемлемые характеристики **Бога** (**тайна + Царство Бога**; **тайна + воля Бога**; **тайна + слава Бога**). Иными словами, *тайна* идентифицируется

с *Творцом*; вместе с тем она ассоциируется и с *творением* — человеком, его *умом*, *сердцем*, *верой*, *благочестием*, *благовествованием*, имплицирующими его отношение к Богу, то есть на передний план выдвигается идея *теоцентричности*.

Уникальную информацию об исследуемом концепте предоставляют сочетающиеся с ним *предикаты*, распадающиеся на две неравнозначные по объему группы: *субъекта* (4 примера) и *объекта* (16 примеров). Первый раздел представлен четырьмя глаголами: *быть*, *скрывать* / *быть сокрытым* (дважды), *открывать* / *быть открытым*, которые никак нельзя считать окказиональными, поскольку глагол *бытия* носит фундаментальный характер, а антитеза *скрывать — открывать* определяет важнейшее свойство *тайны* как эпистемиологического понятия. По поводу второй группы можно отметить, что она объединяет следующие глаголы: *иметь* (1), *говорить* (2), *знать* (7), *освещать* (3), *отвергать* (1), *понимать* (1). Ядро образуют эпистемиологические глаголы *знать*, *понимать*, *освещать* (= делать доступным для разумения), к которым примыкают обозначения из вербальной сферы (*говорить*).

На основании приводимых фрагментов Готской Библии можно реконструировать предложение **Guþ — kannjan — runa* ‘*Бог* дает *знать тайну* (человеку)’, то есть Творец позволяет узнать самого себя творению (людям). Глаголы, образующие периферию, — *иметь* (*руну*) и *отвергать* (то есть *не иметь руну*) — образуют бинарную оппозицию.

3. Др.-исл. *rún*

Обратимся к исследованию интересующей нас лексемы в знаменитом древнеисландском поэтическом памятнике — «Старшей Эдде», объединяющей песни мифологического и героического циклов, — который отражает концепты архаической мифопоэтической модели мира. Особого упоминания заслуживает одна из эддических песен, а именно датируемые X в. «Речи Сигрдривы». Она посвящена поучениям в мудрости юного Сигурда валькирией Сигрдривой (эти поучения занимают более половины объема эддической песни). Сигрдрива была усыплена верховным богом скандинавского пантеона Одином

и стала носительницей *рунической* магии, «потому что она проснулась от долгого сна, во время которого ее душа, как полагали, могла скитаться по другим мирам и, следовательно, приобрести тайные знания» [Стеблин-Каменский 1963: 240].

Перейдем к лингвистическому анализу эддических контекстов. Приведем словарное толкование лексемы (23) и примеры, в которых засвидетельствована данная лексема (24)–(30):

(23) «**Rúnar** *f. pl*. 1. *geheimnisse* (*Vsp. 60*, *Vm. 42 u. 43*, *viell. auch Háv. 111*). 2. *heimliches od. vertrautes gespräch* (*Sg. 14 u. 44*, *Gðr. III 4*, *Ghv. 12*). 3. *runen* (*als zauber- u. auch schriftzeichen*). *Vgl*. aldr-, biarg-, bóc-/ *bót-, brim-, gaman-, hug-, lim-, mál-, megin-, sac-, sig-, val-, ævin-, ǫl-rúnar» [Kuhn 1968: 169][3].

Мифологические песни:

(24) *Finnaz æsir á Iðavelli* / *oc um moldþinur, mátcan, dœma,* / *oc minnaz þar á megindóma* / *oc á Fimbultýs fornar* ***rúnar*** (Vsp. 60).
‘Встречаются асы на Идавёлль-поле, / о поясе мира [то есть Мировом змее] могучем беседуют / и вспоминают о славных событиях / и ***рунах*** древних Великого бога [Одина]’.

(25) *Segðu þat iþ tólfta, hví þú tíva rǫc* / *ǫll, Vafðrúðnir, vitir;* / *frá iǫtna* ***rúnom*** *oc allra goða* / *segir þú iþ sannasta,* / *inn alsvinni iǫtunn* (Vm. 42)
‘Скажи мне теперь, откуда ты ведаешь судьбы богов; / о ***майнах*** великих богов и великанов / ты говоришь самое истинное, / великан многомудрый’*.

(26) *Frá iǫtna* ***rúnom*** *oc allra goða* / *ec kann segia satt,* / *þviat hvern hefi ec heim um komit;* / *nío kom ec heima fyr Niflhel neðan,* / *hinig deyia ór helio halir* (Vm. 43).
‘О ***майнах*** великих богов и великанов / я могу сказать истинно: / все девять миров до дна прошел / и Нифльхель увидел, / куда смерть уводит’*.

(27) *Mál er at þylia þular stóli á,* / *Urðar brunni at;* / *... of* ***rúnar*** *heyrða ec dœma, né um ráðom þǫgðo,* / *Háva hǫllo at, Háva hǫllo í* (Háv. 111).
‘Пора мне с престола тула [жреца] поведать / у источника Урд; / ⟨...⟩ говорили о ***рунах***, давали советы, / у дома Высокого, в доме Высокого’.

---

[3] «Rúnar ж. р. мн. ч. 1. *тайны* (*Vsp. 60*, *Vm. 42 u. 43*, *возможно также Háv. 111*). 2. *тайный или доверительный разговор* (*Sg. 14 u. 44*, *Gðr. III 4*, *Ghv. 12*). 3. *runen* (*как магический и также письменный знак*). *Ср*. aldr-, biarg-, bóc-/ *bót-, brim-, gaman-, hug-, lim-, mál-, megin-, sac-, sig-, val-, ævin-, ǫl-rúnar» [Kuhn 1968: 169].

Героические песни:

(28) *nam hann sér Hǫgna heita at* ***rúnom****,* / *þar átti hann allz fulltrúa* (Sg. 14).
‘Хёгни он призвал к себе для ***тайных разговоров***, / тот был ему полностью верным’*.

(29a) *Nam hann sér Hǫgna hvetia at* ***rúnom*** (Sg. 44).
‘Хёгни он стал возбуждать к ***тайным разговорам***’*.

(29b) ⟨...⟩ *aðrar vóro ocrar spekior,* / *er við hǫrmug tvau hnigom at* ***rúnom*** (Gðr. III 4).
‘⟨...⟩ Другими были наши беседы, / когда мы оба скорбные склонялись к ***тайным разговорам***’*.

(30) *Húna hvassa hét mér at* ***rúnom****;* / *máttigac bǫlva bœtr um vinna,* / *áðr ec hnóf hǫfuð af Hniflungom* (Ghv. 12)
‘Мальчиков смелых призвала я к ***тайным разговорам***; / одна мне в несчастье месть оставалась: / сынов обезглавить, Нифлунгов юных’*.

Следует отметить специфику дистрибуции лексем в «Старшей Эдде»: в героических песнях зафиксировано вторичное значение — не ‘*тайна*’, а ‘*тайный разговор*’, аналогичное гот. *ga-runi* ‘собрание как место, где ведутся *тайные разговоры*’, в то время как в мифологическом цикле представлено исконное значение.

Падежную парадигму др.-исл. *rúna* иллюстрирует *Таблица 2*.

Таблица 2. Словоизменительная парадигма и частотность др.-исл. *rún*

Table 2. Inflectional paradigm and frequency of O.-Icel. *rún*

Число, падеж	**Лексема**	**Частотность**
Мн. ч. вин. пад.	*á rúnar* ‘о рунах’ (Vsp. 60); *of rúnar* ‘о рунах’ (Hár. 111) + композиты[4]: *ævin-rúnar, aldr-rúnar, biarg-rúnar, hug-rúnar, mál-rúnar, lim-rúnar, sig-rúnar*	2+7=9
Мн. ч. дат. пад.	*frá rúnom* ‘о рунах’ (Vm. 42; 43); *at rúnom* ‘к рунам’ (Sg. 14; 44; Ghv. 12; Gðr. III 4)	6

Эддические данные демонстрируют, во-первых, только **мн. ч.** и, во-вторых, исключительно предложные конструкции[5]. Очевид-

[4] См. примеры при предикате объекта *знать*.

[5] Это высказывание не относится к композитам.

ное доминирование обнаруживает **вин. пад.** (9 примеров vice versa 6 с **дат. пад.**) благодаря большому удельному весу композитов со вторым компонентом *-rúnar*, выполняющим синтаксическую функцию объекта, в которых представлено сочетание с предикатом *знать*.

Атрибуты:

— **древний**: ⟨...⟩ *Oc minnaz þar á megindóma* / *oc á Fimbultýs* ***fornar rúnar*** (Vsp. 60). ‘⟨...⟩ И вспоминают о славных событиях / и ***майнах древних*** Великого бога [Одина]’.

Предикаты субъекта:

— **быть**: *Þat* ***ero bócrúnar****, þat ero* ***biargrúnar****,* / *oc allar* ***ǫlrúnar****,* / *oc mætar* ***meginrúnar****,* / ⟨...⟩ *sér at heillom hafa* (Sd. 19). ‘Это ***суть руны письма***, ***руны спасения***, / все ***руны пива***, / ценные ***силы руны***, / ⟨...⟩ чтобы себя исцелить’.

Предикаты объекта:

— **возбуждать**, **склонять(ся)**: *Nam hann sér Hǫgna* ***hvetia*** *at* ***rúnom*** (Sg. 44). ‘Хёгни он стал ***возбуждать*** к ***майным разговорам***’*; ⟨...⟩ *Er við hǫrmug tvau* ***hnigom*** *at* ***rúnom*** (Gðr. III 4). ‘⟨...⟩ Когда мы оба скорбные ***склонялись*** к ***майным разговорам***’*;
— **вспоминать**: ⟨...⟩ *Oc* ***minnaz*** *þar á megindóma* / *oc á Fimbultýs fornar* ***rúnar*** (Vsp. 60). ‘⟨...⟩ И ***вспоминают*** о славных событиях / и ***рунах*** древних Великого бога [Одина]’;
— **говорить**: *frá iǫtna* ***rúnom*** *oc allra goða* / ***segir*** *þú iþ sannasta,* / *inn alsvinni iǫtunn* (Vm. 42) ‘о великанов ***майнах*** и всех богов / ***говоришь*** ты самое истинное, / всемудрый великан’*; *Frá iǫtna* ***rúnom*** *oc allra goða* / *ec kann* ***segia*** *satt* (Vm. 43). ‘О великанов ***майнах*** и всех богов / могу я ***сказать*** правдиво’*; ***rúnar*** *heyrða ec* ***dœma*** ⟨...⟩ / *Háva hǫllo at, Háva hǫllo í* (Háv. 111) ‘***говорили*** о ***майнах*** ⟨...⟩ / у дома Высокого, в доме Высокого’;
— **знать**: *Konr ungr* ***kunni rúnar****,* / ***ævinrúnar*** *oc* ***aldrrúnar*** (Rþ. 43) ‘Кон юный ***знал руны***, ***жизни руны*** и ***возраста руны***’*; ***Biargrúnar*** *scaltu* ***kunna****, ef þú biarga vilt* / *oc leysa kind frá konom* (Sd. 9). ‘***Спасения руны*** ты должен ***знать***, если хочешь спасти / и отделить дитя от матери’*; ***Hugrúnar*** *scaltu* ***kunna****, ef þú vilt hveriom vera* / *geðsvinnari guma* (Sd. 13). ‘***Руны мысли*** ты должен ***знать***, если

хочешь быть каждого / из людей мудрее'*; ***Limrúnar*** *scaltu* ***kunna****, ef þú vilt lœcnir vera* / *oc kunna sár at siá* (Sd. 11). '***Ветвей руны*** должен ты ***знать***, если хочешь целителем быть / и мочь видеть раны'*; ***Málrúnar*** *scaltu* ***kunna****, ef þú vilt, at mangi þér* / *heiptom gialdi harm* (Sd. 12). '***Речи руны познай***, если хочешь, / чтобы никто не отомстил тебе'*; ***Sigrúnar*** *þú scaltu* ***kunna****, ef þú vilt* ***sigr*** *hafa* (Sd. 6). '***Победы руны*** ты должен ***знать***, если ты хочешь иметь победу'*;

— **призывать**: *nam hann sér Hǫgna* ***heita*** *at* ***rúnom*** (Sg. 14). 'Хёгни он ***призвал*** к себе для ***тайных разговоров***'*; *Húna hvassa* ***hét*** *mér at* ***rúnom****;* / *máttigac bǫlva bœtr um vinna,* / *áðr ec hnóf hǫfuð af Hniflungom* (Ghv. 12). 'Мальчиков смелых ***призвала*** я к ***тайным разговорам***'*.

На основании эддических фактов можно констатировать наличие некоторых тенденций:

- др.-исл. *rúna* соотносится с прецедентом *первотворения* и наделяется по этой причине атрибутом *древний*, ср. Vsp. 60, где упоминается Мировой змей в контексте космогонического мифа;
- *сакральность* этого понятия детерминирована отождествлением с истоками бытия в мифе творения — с illo tempore и prima materia, ср. синоним ***megin****dóma* (Vsp. 60) '*великие* события', характеризующие следствия космогенеза и эксплицитно выражающие идею об исключительной аксиологической значимости денотата;
- ассоциируется с *богами* (асами или их представителем — главой скандинавского пантеона Одином),
- имеет непосредственное отношение к сфере *ритуала*, произносится в центре мира, возле источника Урд (*Urðar brunni at*), где наделяются судьбы и локализуется *axis mundi* ясень Иггдрасиль, «на престоле жреца» (*þular stóli á*), как об этом повествуют «Речи Высокого»;
- употребляется во **мн. ч.**, так как в эддической мифопоэтической модели мира обозначает *совокупность* демиургических актов, совершенных богами, в результате которых возникла космизированная вселенная;
- сочетается с предикатами *объекта* и кодирующими эпистемиологическую (*вспоминать о рунах*) и теснейшим образом связанную с ней вербальную (*говорить о рунах*; *призывать*, *возбуждать к рунам*) сферы.

4. Сравнительный анализ гот. *runa* и др.-исл. *rún*

В результате исследования можно постулировать черты ***сходства*** в структуре значения изучаемой лексемы в Готской Библии и «Старшей Эдде», проявляющиеся в многообразных фактах, среди которых можно отметить следующие феномены:

— **тайна + Бог**: **runa *gudis*** (L. 7,30) ‘***майну Бога***’; *frá iǫtna* ***rúnom*** *oc allra* ***goða*** ‘о великанах ***майнах*** и всех ***богов***’ (Vm. 42, 43);

— **тайна** / **руна + вера** (/ **доверие**, **верность**): ⟨...⟩ *Habandans* ***runa galaubinais*** *in hrainai gahugdai* (T. 3,9) ‘⟨...⟩ Имеющие ***майну веры*** в чистой совести’*; *nam hann sér Hǫgna heita at* ***rúnom****, / þar átti hann allz* ***fulltrúa*** (Sg. 14) ‘Хёгни он призвал к себе для ***майных разговоров***, / тот был ему ***полностью верным***’*; ***Qlrúnar*** *scaltu kunna, ef þú vill annars qvæn / vélit þic í* ***trygð****, ef þú* ***trúir*** (Sd. 7) ‘***Руны пива*** ты должен знать, если хочешь чужую жену / склонить к нарушению ***верности***, если ***веришь***’*;

— **тайна + истина**: ⟨...⟩ *Aikklesjo, gudis libandins, sauls jah tungiþa* ***sunjos*** *// jah unsahtaba mikils ist gagudeins* ***runa*** (T. 3,15–16) ‘⟨...⟩ Церковь Бога живаго, столп и утверждение ***истины***. // И беспрекословно — великая благочестивая ***тайна***’; *frá iǫtna* ***rúnom*** *oc allra goða / segir þú iþ* ***sannasta*** (Vm. 42) ‘о великанов ***майнах*** и всех богов / говоришь ты самое ***истинное***’*;

— **тайна + ум** (/ **помыслы**): ⟨...⟩ *mageiþ fraþjan* ***frodein*** *meinai in* ***runai*** *Xristaus* (E. 3,4) ‘⟨...⟩ можете уразуметь мое ***разумение*** в ***тайне*** Христовой’*; ⟨...⟩ *Jah swa diakaununs ⟨...⟩ // habandans* ***runa*** *galaubinais in hrainai* ***gahugdai*** (T. 3,9) ‘⟨...⟩ Хранящие ***таинство*** веры в чистых ***помыслах***’*; ***Hugrúnar***[6] *scaltu kunna, ef þú vilt hveriom vera / geðsvinnari guma; / þær of réð, þær of reist, / þær um* ***hugði*** *Hroptr* (Sd. 13) ‘***Руны мысли*** ты должен узнать, если хочешь быть каждого / из людей мудрее; / их разгадал, их вырезал, / их ***измыслил*** Хрофт’*;

— **тайна + век, род** (**возраст**): ***Runa*** *saei gafulgina was fram* ***aiwam*** *jah fram* ***aldim*** (Kol. 1,26). «***Тайну***, сокрытую от ***веков*** и ***родов***’; *Enn Konr ungr kunni* ***rúnar****, /* ***ævinrúnar*** *oc* ***aldrrúnar***[7]*; / meirr kunni*

---

[6] «Hug-rúnar *f. pl. denkrunen* (*Sd. 13*)» [Kuhn 1968: 14; 103].

[7] «Aldr-rúnar, ævin- rúnar *f. pl. lebensrunen* (*Rþ. 43*)» [Kuhn 1968: 14; 234].

hann mǫnnom biarga (Rþ. 43). ‘Кон юный ведал ***руны***, ***века*** (то есть ***жизни***) ***руны*** и ***возраста руны***; / еще мог он людей спасать’*;

— **тайна + речь, говорить**: *Unte be andhuleinai gakannida was mis so **runa**, swe **fauragamelida** in leitilamma* (E. 3,3) ‘потому что мне через откровение возвещена ***тайна*** (о чем я и выше ***говорил*** кратко’); ***Málrúnar***[8] *scaltu kunna, ef þú vilt, at mangi þér* / *heiptom gialdi harm* (Sd. 12) ‘***Речи руны*** познай, если хочешь, / чтобы никто не отомстил тебе’*;

— **тайна + суждение** (< **деяние**), **судить**: ⟨...⟩ *Jah unsahtaba mikils ist gagudeins **runa** saei gabairhtiþs warþ in leika garaihts **gadomiþs** warþ in ahmin* (T. 3,16). ‘⟨...⟩ И беспрекословно — великая благочестия ***тайна***: Бог явился во плоти, оправдал (букв. ***осудил***) Себя в Духе’; *Finnaz æsir á Iðavelli* / *oc um moldþinur, mátcan, **dœma**,* / *oc minnaz þar á megin**dóma*** / *oc á Fimbultýs fornar **rúnar*** (Vsp. 60). ‘Встречаются асы на Идавёлль-поле, / о поясе мира [то есть Мировом змее] могучем ***судят*** / и вспоминают о великих ***деяниях*** / и ***рунах*** древних Великого бога [Одина]’*[9]; ⟨...⟩ *Of **rúnar** heyrða ec **dœma**, né um ráðom þǫgðo,* / *Háva hǫllo at, Háva hǫllo í* (Hám. 111). ‘⟨...⟩ о ***рунах*** я слышал, как ***судили***, давали советы, / у дома Высокого, в доме Высокого’;

— **тайна + песня**, **петь**: *unte be andhuleinai gakannida was mis so **runa**, swe fauragamelida in leitilamma, // duþþe ei **siggwandans** mageiþ fraþjan frodein meinai in **runai** Xristaus* (E 3,3–4). ‘Потому что мне через откровение возвещена ***тайна*** (о чем я и раньше сообщал кратко), // то вы, ***распевая***, можете усмотреть мое разумение ***тайны*** Христовой’*; *Biór fœri ec þér* ⟨...⟩ / *fullr er hann **lióða** oc lícnstafa,* / *góðra galdra oc gamanrúna*[10] (Sd. 5). ‘Пиво несу я тебе

---

[8] «Mál-rúnar *f. pl. rede- oder verhandlungsrunen* (*Sd. 12*); gefa e-m m. *jmdn zum sprechen bringen* (*Gðr. I 23*)» [Kuhn 1968: 14; 135].

[9] В «Прорицании вёльвы» произнесение богами слова, наделенного силой (др.-исл. *dœma* ‘судить’), приравнивается к мгновенному осуществлению действия в акте творения (др.-исл. *megindómra* ‘великих деяний’), то есть мы имеем дело с перформативным высказыванием [Остин 1986; Апресян 1986].

[10] «Gaman-rúnar *f. pl.* 1. *freude bringende runen* (*Sd. 5*). 2. *frohe vertrautheit*, *od. ähnl.* (*Hám. 120 u. 130*)» [Kuhn 1968: 14; 69].

... / полное ***песен*** и исцеляющих рун, / заклятья благие и ***радости руны***'*;

— **тайна + ее исполнитель (жрец, священник)**: ⟨...⟩ ***Garuni*** *nemun allai þai* ***gudjans*** *jah þai sinistans manageins bi Iesu* (M. 27,1). '⟨...⟩ Все ***первосвященники*** и старейшины народа имели ***тайное совещание*** об Иисусе';

— **великая (сильная) тайна**: *Jah unsahtaba* ***mikils*** *ist gagudeins* ***runa*** (T. 3,16). 'И беспрекословно — ***великая*** благочестия ***тайна***'*; *Þat ero* ***bócrúnar****, þat ero* ***biargrúnar****, / oc allar* ***ǫlrúnar****, / oc* ***mætar*** *meginrúnar*[11]*, / ⟨...⟩ sér at heillom hafa* (Sd. 19). 'Это ***руны письма***, ***руны спасения***, / все ***руны пива***, / ***великие силы руны***, / ⟨...⟩ себя исцелить';

— **тайна + быть**: *Jah unsahtaba mikils* ***ist*** *gagudeins* ***runa*** (T. 3,16). 'И беспрекословно ***есть*** великая благочестия ***тайна***'*; *Þat* ***ero bócrúnar****, þat ero* ***biargrúnar****, / oc allar* ***ǫlrúnar****, / oc mætar* ***meginrúnar****, / ⟨...⟩ sér at heillom hafa* (Sd. 19). 'Это ***суть руны письма***, ***руны спасения***, / все ***руны пива***, / ценные ***силы руны***, / ⟨...⟩ чтобы себя исцелить';

— **тайна + знать (давать знать)**: *Izwis atgiban ist* ***kunnan runos*** *þiudinassaus gudis* (L. 8,10). 'Вам дано ***знать тайны*** Царствия Божия'; *Konr ungr* ***kunni rúnar****, / **ævinrúnar** oc* ***aldrrúnar*** (Rþ. 43). 'Кон юный ***знал руны***, ***жизни руны*** и ***возраста руны***'*.

На основании сопоставительного анализа готских и древнеисландских эддических данных можно отметить ряд важнейших **совпадений**, касающихся семантической структуры исследуемых лексем, соотносимых с *актом творения* и *Творцом* и по этой причине наделенных *сакральностью* (ср. атрибуты: гот. *mikils* 'великий'; др.-исл. *megin-* 'могучий') и засвидетельствованных в *ритуале* (ср. *тайна* + *исполнитель* ритуала (*жрец*; *священник*)). Дистрибуции в **им. пад.** в сочетании с глаголом *бытия* (*тайна есть*) и отождествление *тайны* с *истиной* (букв. *сущим*)[12] верифицируют это утверждение. Аргументы в пользу

---

[11] «Megin-rúnar *f. pl. eine unbekannte art runen, die sich durch größe od. besondere magische kräfte ausgezeichnet haben wird* (*Sd. 19*)» [Kuhn 1968: 138].

[12] Др.-исл. *sannr* 'истинный', гот. *sunja* 'истина' < и.-е. **sn̥t-*, part. praes. и.-е. **es-* 'быть' [Pokorny 1959: 340–342]. О семантических мотивировках древнегерманских обозначений *истины* как *сущей* см. [Seebold 1969: 16].

этого тезиса предоставляют и контексты. Ср. идентификацию *полного знания* как владения *тайнами = рунами*:

(31) ⟨...⟩ *Þaimi wilda guþ gakannjan gabein wulþaus þizos* ***runos*** *in þiudom, þatei is Xristus in izwis, wens wulþaus, // þanei wis gateiham talzjandans all manne jah laisjandans all manne in allai handugein, ei atsatjaima all manne* ***fullawitan*** *in Xristau Iesu* (Kol. 1,26–28).
‘⟨...⟩ Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в ***тайне*** сей для язычников, которая есть Христос в нас, упование славы, // Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека *совершенным* (букв. ***полно знающим***) во Христе Иисусе’.

(32) *Heiman goriz þú, Hǫgni, hygðu at ráðom! / fár er* ***fullrýninn****, far þú í sinn annat!* (Am. 11)
‘Из дома ты собираешься, Хёгни, подумай о советах! / мало кто ***полностью сведущ в рунах***, езжай в путь в другой раз!’*

Другой важной особенностью гот. *runa* и др.-исл. *rúna* можно считать их принадлежность *эпистемиологической* сфере (ср. наиболее частотную синтаксическую функцию объекта, характеризующую познавательную деятельность: *знать руны*, а также ассоциации *тайны* с *умом* и *суждением*) и способных реализоваться в вербальном коде (ср. *тайна* + *речь*, *говорить*).

Природу *знания*, кодируемого исследуемыми лексемами, можно конкретизировать: оно имеет практическую направленность и эквивалентно действию. Ср. равноценность глаголов *знать* и *мочь*:

(33) ***Limrúnar*** *scaltu* ***kunna****, ef þú vilt lækni vera / oc* ***kunna*** *sár at siá* (Sd. 11).
‘***Ветвей руны*** должен ты ***знать***, если хочешь целителем быть / и ***мочь*** видеть раны’*.

(34) *Konr ungr* ***kunni rúnar****, / **ævinrúnar** oc **aldrrúnar**; // meirr* ***kunni*** *hann mǫnnom biarga, / eggiar deyfa, ægi lægia* (Rþ. 43).
‘Кон юный ***знал руны***, ***жизни руны*** и ***возраста руны***; ***мог*** он людей спасать, / мечи затупить, успокоить море’*.

Более того на основании исследуемых текстов оказывается возможным реконструировать и форму изложения *тайны* в виде *распева* (ср. *тайна* + *песня, петь*), который в «Старшей Эдде» уподобляется

заговору[13]. Тайна *теоцентрична* (ср. *тайна* + *Бог*) и *антропоцентрична* (ср. *тайна* + *род*, *возраст*, *век*), она соединяет *Творца* и *творение* (*тайна* + *Бог*; *тайна* + *вера*). Особого упоминания заслуживает то обстоятельство, что гот. *ga-runi* ‘тайное собрание’ соответствует, во-первых, значение др.-исл. *rúna* ‘тайный разговор’ в героических песнях «Старшей Эдды» и, во-вторых, др.-исл. *rýna* ‘тайно говорить’[14].

По поводу **расхождений**, наблюдаемых у изучаемых лексем, можно сделать следующие замечания: их источником являются подвергшаяся *христианизации* модель мира, отраженная в Готской Библии, и сохранение исконной *мифопоэтической модели мира* в «Старшей Эдде». Именно по этой причине гот. *runa* отождествляется с Творцом, Иисусом Христом и превалирует **ед. ч.**, а др.-исл. *rúna* — с богами-демиургами, совершившими *множество* актов творения, имплицирующими **мн. ч.** Эти акты творения отсылают к прецеденту первотворения, актуализирующемуся при помощи атрибута *древний* и *воспоминаний* о нем.

Список условных сокращений

Готская Библия

гот. — готский; др.-исл. — древнеисландский; E. — An die Epheser, Послание к Ефесянам; K. — An die Korinther I, Первое послание к Коринфянам; Kol. — An die Kolosser, Послание к Колоссянам; L. — Lukas, Евангелие от Луки; M. — Mattheus, Евангелие от Матфея; Mc. — Markus, Евангелие от Марка; R. — An die Römer, Послание к Римлянам апостола Павла; T. — An Timotheus I, Первое послание к Тимофею апостола Павла.

---

[13] Ср.: *Biór fœri ec þér* ⟨...⟩ / *fullr er hann* ***lióða*** *oc lícnstafa,* / *góðra* ***galdra*** *oc* ***gamanrúna*** (*Sd. 5*) ‘Пиво несу я тебе ⟨...⟩ / полное ***песен*** и исцеляющих рун, / ***заговоры*** благие и ***радости руны***»*; *góðan mann teygðo þér at* ***gamanrúnot*** / *oc nem* ***lícnagaldr****, meðan þú lifir* (*Háv. 120*) ‘С мужем добрым осваивай ***радости руны*** / и воспринимай целебный ***заговор***, пока ты жив’*.

[14] «Rýna (nd) *swv. heimlich reden* (*Rþ. 11*)» [Kuhn 1968: 169]. Ср.: *Niðiargi hvǫtto Gunnar né náungr annarr,* / ***rýnendr*** *né ráðendr, né þeir er ríkir vóro* (Akv. 9). ‘Не подстрекали родичи Гуннара, ни кто-либо из рядом стоящих, / ни ***тайно говорящие***, ни советующие, никто из могучих’*; rœddo oc rýndo, reccio gørðo, / Þrœll oc Þír, þrungin dœgr (Rþ. 11) ‘болтали, ***шептались тайно***, постель расстилали / Тир вместе с Трэлем целыми днями’.

«Старшая Эдда»

Akv. — Atlaqviða in grœnlenzca, «Гренландская песнь об Атли»; Am. — Atlamál in grœnlenzco, «Гренландские речи Атли»; Ghv. — Guðrúnarhvǫt, «Плач Гудрун»; Gðr. I — Guðrúnarqviða in fyrsta, «Первая Песнь о Гудрун»; Gðr, 1., III — Guðrúnarqviða in þriðia, «Третья Песнь о Гудрун»; Háv. — Hávamál, «Речи Высокого»; Rþ. — Rígsþula, «Песнь о Риге»; Sd. — Sigrdrífomál, «Речи Сигрдривы»; Sg. — Sigurðarqviða in scamma, «Краткая песнь о Сигурде»; Vm. — Vafþrúðnismál, «Речи Вафтруднира»; Vsp. —Vǫlospá, «Прорицание вёльвы»

Литература

Апресян 1986 — Ю. Д. Апресян. Перформативы в грамматике и словаре // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1986. Т. 45. № 3. С. 208–223.

Ганина 2001 — Н. А. Ганина. Готская языческая лексика. М.: Издательство Московского университета, 2001.

Гвоздецкая 2003 — Н. Ю. Гвоздецкая. Пролегомены к текстоцентрическому описанию семантики древнеанглийского поэтического слова // Б. С. Жаров (ред.). Philologica Scandinavica. Сборник статей к 100-летию М. И. Стеблин-Каменского. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2003. С. 28–42.

Гухман 1958 — М. М. Гухман. Готский язык. М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1958.

Остин 1986 — Дж. Остин. Слово как действие // Б. Ю. Городецкий (ред.). Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. Теория речевых актов. М.: Прогресс, 1986. С. 22–129.

Стеблин-Каменский 1963 — М. И. Стеблин-Каменский. Вступительная статья и комментарии // Старшая Эдда. Древнеисландские песни о богах и героях / пер. А. И. Корсуна. М.; Л.: Издательство АН СССР, 1963. С. 181–213.

Seebold 1969 — E. Seebold. Germanisch sanþ- / sund- “seiend, wahr” // Die Sprache. 1969. Bd. 15. S. 14–45.

Источники

Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета, в русском переводе. М.: Сибирская Благозвонница, 2016.

Старшая Эдда 1963 — Старшая Эдда. Древнеисландские песни о богах и героях / пер. А. И. Корсуна. ред., вступ. ст. и коммент. М. И. Стеблин-Каменского. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963.

Die Gotische Bibel 1965 — W. Streitberg (Hrsg.). *Die Gotische Bibel. Erster Teil.* Der gotische Text und seine griechische Vorlage. Mit Einleitung, Lesarten und Quellennachweisen sowie den kleineren Denkmälern als Anhang. Fünfte, durchgesehene Aufl. Darmstadt: Ruhr-Universität Bochum. Sprachwissenschaftliches Institut, 1965.

Neckel 1962 — G. Neckel (Hrsg.). Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern. Bd. 1: Text. Vierte, umgearb. Aufl. von Hans Kuhn. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1962.

Словари

Токарев 1982 — С. А. Токарев (ред.). Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 2. К — Я. М.: Советская энциклопедия, 1982.

A Gothic Etymological Dictionary 1986 — W. P. Lehmann. A Gothic Etymological Dictionary. Based on the third edition of Vergleichendes Wörterbuch der Gotischen Sprache by Sigmund Feist with bibliography prepared under the direction of Helen-Jo J. Hewitt. Leiden: E. J. Brill, 1986.

Kuhn 1968 — H. Kuhn (Hrsg.). Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern. Bd. 2: H. Kuhn. Kurzes Wörterbuch. Dritte umgearb. Aufl. Des Kommentierenden glossars. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1968.

Pokorny 1959 — J. Pokorny. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch (IEW). Bern; München: Francke Verlag, 1959. Bd. I–II.

Vergleichendes Wörterbuch der Gotischen Sprache 1939 — S. Feist. Vergleichendes Wörterbuch der Gotischen Sprache mit Einschluss des Krimgotischen und sonstiger zerstreuter Überreste des Gotischen. Dritte neubearbeitete und vermehrte Auflage. Leiden: E. J. Brill, 1939.

References

Apresyan 1986 — Yu. D. Apresyan. Performativy v grammatike i slovare [Performatives in grammar and dictionary]. *Izvestiya AN SSSR. Seriya literatury i yazyka*. 1986. Vol. 45. № 3. P. 208–223.

Ganina 2001 — N. A. Ganina. *Gotskaya yazycheskaya leksika* [Gothic pagan vocabulary]. Moscow: Moscow University Publishing House, 2001.

Gukhman 1958 — M. M. Gukhman. *Gotskiy yazyk* [Gothic language]. Moscow: Publishing House of Literature in Foreign Languages, 1958.

Gvozdetskaya 2003 — N. Yu. Gvozdetskaya. Prolegomeny k tekstotsentricheskomu opisaniyu semantiki drevneangliyskogo poeticheskogo slova [Prolegomena to a text-centric description of the semantics of the Old English poetic word]. B. S. Zharov (ed.). *Philologica Scandinavica. Sbornik statey k 100-letiyu M. I. Steblin-Kamenskogo* [Philologica Scandinavica. Collection of articles for the 100th anniversary of M. I. Steblin-Kamensky]. St. Petersburg: Philological Faculty of St. Petersburg State University Press, 2003. P. 28–42.

Ostin 1986 — Dzh. Ostin. Slovo kak deystviye [Word as action]. B. Ju. Gorodeckij (ed.). *Novoye v zarubezhnoy lingvistike*. Vyp. XVII. Teoriya rechevykh aktov [New in foreign linguistics. Iss. XVII. Theory of speech acts]. Moscow: Progress, 1986. P. 22–129.

Pokorny 1959 — J. Pokorny. *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch* (IEW). Bern; München: Francke Verlag, 1959. Bd. I–II.

Steblin-Kamenskiy 1963 — M. I. Steblin-Kamenskiy (ed.). Vstupitelnaya statya i kommentarii [Introductory article and comments]. *Starshaya Edda. Drevneislandskiye pesni o bogakh i geroyakh*. Perevod A. I. Korsuna [A. I. Korsun (trans.). The Elder Edda. Old Icelandic songs about gods and heroes]. Moscow; Leningrad: Publishing House of Academy of Sciences of the USSR, 1963. P. 181–213.

Seebold 1969 — E. Seebold. Germanisch sanþ- / sund- "seiend, wahr". *Die Sprache.* 1969. Bd. 15. S. 14–45.

Получено / received 26.01.2025 *Принято / accepted 2.07.2025*

Acta Linguistica Petropolitana. 2025. Vol. 21.2. P. 199–240
DOI: 10.30842/alp23065737212199240

Pronoun ‘same’ in the Swedish Dialects of Estonia[1]

Alexander Ye. Mankov
Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia);
St. Tikhon’s University for the Humanities (Moscow, Russia);
mankov@iling-ran.ru; ORCID: 0000-0002-5735-0955

Abstract. This article gives a full list of forms of the pronoun ‘same’ in all Swedish dialects of Estonia using all available, including archival, sources. It proposes a detailed account of the history of its forms, including of the specific semantic development of this pronoun in the dialect of Nuckö where it can be used as a demonstrative pronoun or as a definite article. Further, the article describes the functioning of this pronoun in phrases and compounds. Finally, it studies the history of this pronoun in the dialect of Gammalsvenskby where its evolution was particularly dramatic.

The forms of the pronoun ‘same’ found in the Swedish dialects of Estonia are *sā*, *sama*, *samu*, and *samund*. *Sā* goes back to OSw. *sama* (masc. acc. sg.) used in unstressed positions. The form *samu* reflects OSw. *samu* (fem. acc. sg.). The form *sama* is probably a contamination of forms going back to OSw. *samu* (or *sami*) and *sama*. *Samund* may have appeared by analogy with pronouns which correspond to Sw. *ingen, någon*. The monosyllabic form *sā* results from the loss of *m*, which probably first happened when the pronoun was used as an enclitic or an unstressed element in compounds.

Otherwise indeclinable in the Swedish dialects of Estonia, the pronoun ‘same’ has developed secondary inflected forms in the dialects of Dagö and Gammalsvenskby. As for its syntagmatic behaviour, when used attributively, it invariably requires the definite form of the noun in all the dialects. The free definite article is often absent in the dialects of Nuckö, Ormsö, and Runö. As for compounds, there are many examples where ‘same’ is attached to demonstrative pronouns and to adverbs as an emphasising element meaning ‘here, right, precisely’.

[1] I am grateful to Elis J. Ahlberg, who made valuable comments on this article. I am also grateful to the staff at the archive of the Swedish Institute for Language and Folklore (Institutet för språk och folkminnen, ISOF), Uppsala, Sweden, who scanned and permitted me to use various manuscript sources kept at ISOF.

In the contemporary dialect of Gammalsvenksby, the original pronoun ‘same’ went out of use and was replaced with phrases that involve the indefinite pronoun *än* ‘one’. The only remnant of the old stem ‘same’ in this dialect is the adverb ‘always’ which goes back to the phrase *mä he sa ˈäin*, lit. ‘with the same one’.

Keywords: Swedish dialects of Estonia, language documentation, historical phonetics, historical morphology.

Местоимение ‘тот же’ в шведских диалектах Эстонии

А. Е. Маньков

Институт языкознания РАН (Москва, Россия);
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (Москва, Россия);
mankov@iling-ran.ru; ORCID: 0000-0002-5735-0955

Аннотация. На территории современной Эстонии шведские диалекты были распространены до Второй мировой войны в нескольких селах на побережье, на островах Моонзундского архипелага и на островах Рогё, Рюнё, Наргё. Эти диалекты возникли в результате восточно-скандинавской экспансии в восточном направлении (с XIII в.). В 1782 г. около тысячи шведов — жителей о. Дагё (Хийумаа) были переселены на юг Херсонской губернии, где было основано поселение, впоследствии получившее название Старошведское (по-шведски Gammalsvenskby, современное украинское название — Зміївка). Все эти диалекты являются в настоящее время практически вымершими. В статье дается полный список форм местоимения ‘тот же’ в этих диалектах. Затем рассматривается история всех форм данного местоимения; упоминается специфическое семантическое развитие в диалекте Нюккё, где это местоимение может использоваться как указательное и как определенный артикль. Затем рассматриваются закономерности функционирования данного местоимения в словосочетаниях и в сложных словах. Наконец, подробно описывается история данного местоимения в диалекте с. Старошведское, где оно, претерпев ряд морфологических трансформаций, вышло из употребления. Исследование выполнено на основании всех доступных источников, в том числе архивных и неопубликованных. В случае с. Старошведское использовались также данные полевой работы.

Ключевые слова: шведские диалекты Эстонии, документирование языка, историческая фонетика, историческая морфология.

1. Introduction and sources

The Swedish dialects (listed below using the historical Swedish place names) have existed on the territory of the present-day Estonia since the 13th century [Blumfeldt 1961: 68; Rosenkvist 2018: 8 with references][2]. They include:

1) dialect of the peninsula (earlier, island) of Nuckö and the adjacent district of Rickul (the latter divided into two areas, Bakväldet and Framväldet);
2) dialect of the island of Odensholm;
3) dialect of the island of Ormsö;
4) dialects of the islands of Rågöarna: Lilla Rågö and Stora Rågö;
5) dialects of the villages of Korkis and Vippal;
6) dialect of the island of Dagö;
7) dialect of the village of Gammalsvenskby (located in Kherson region), a descendant of the dialect of Dagö;
8) dialect of the island of Runö; and
9) dialect of the island of Nargö.

The dialect of Nuckö is classified as central in this group [Danell 1951: VI]. This is not because of any specific structural features of this dialect, but is due to the fact that, firstly, Nuckö has always been a home for the majority of Estonian Swedes and, secondly, the dialect of Nuckö has been lucky to be described in detail by eminent linguists: Herman Vendell [1881], Gideon Danell [1905–1934, 1951], and Edvin Lagman [1958], while publications on the other dialects are more scarce. Danell's grammar is an exemplary linguistic description which fully preserves its scientific significance, though it was written more than a hundred years ago. Danell's lexicographic work was supplemented by Fridolf Isberg [1970], a native speaker of the dialect of Nuckö. Though not a linguist by profession, Isberg provided valuable additions to Danell's dictionary, primarily because they include a great number of usage examples. Another factor of the dialect of Nuckö's prominence is that it is Swedes from this area that played a significant role in Estonia's social life [Danell 1951: VI]. Speaking of the linguistic features of these

[2] See [Appelgren 1997] for a bibliography of publications on the Estonian Swedes and their settlements.

dialects, it is the dialect of Nargö alone that sharply differs from the others, because the Swedish population arrived on Nargö only in the 18th century, i.e. much later than to the other Estonian-Swedish areas [Lagman 1979: 13]. Besides, the dialect of Runö — a "flygelmål" as Tiberg [1962: 28] put it — has a number of phono- and morphological idiosyncrasies which make it special against the Estonian-Swedish continuum[3].

The following five monographs outline the linguistic features of these dialects: Rußwurm [1855], Hultman [1894, 1939], Tiberg [1962], and Lagman [1979]. Most of the relevant linguistic material collected during the first half of the 20th century remains unscanned and unpublished. Numerous manuscripts containing invaluable material on the Swedish dialects of Estonia are kept at the Swedish Institute for Language and Folklore (Institutet för språk och folkminnen, ISOF) in Uppsala, Sweden. The main MS source is a card dictionary of the Swedish dialects in Estonia, Estlandssvensk kortordbok (cited as "Ob." in this article[4]), compiled by Nils Tiberg (1900–1980). In 1962, this dictionary included 20 000 lemmata and twice as many cards with usage examples [Tiberg 1962: 101]. The overall number of cards is ca. 84 000 [Estlandssvenskt material]. The number of cards covering *samma* and its derivatives is 26. Despite its overall tidiness and accurateness, Tiberg's dictionary cannot be published as is and requires further refinement. Another important unpublished MS by Tiberg is his description of the dialect of the island of Dagö [Tiberg ms 1931a, b, c]. Material of Tiberg's fieldwork on the island of Dagö in 1923–1934 is also contained in his diaries [Tiberg mss 1923, 1925a–b, 1926, 1927a–b, 1929a–c, 1930a–b, 1931b–d, 1932, 1933, 1934]. The total number of pages in these diaries is 1921. Tiberg's diaries, as well as many letters from residents of Gammalsvenskby to Tiberg have now been transcribed by Elis J. Ahlberg, due to which it became possible to use this valuable primary material.

---

[3] As a brief example, let us mention an odd form *dıḳ,* preterite of the verb *gua* 'go' [Vendell 1882–1887: 50, 96]. Initial *d* in this form is not found in any other EstSw. dialect. It is due to a distant regressive dissimilation in **gıḳ* (cf. Lat. *quīnque* 'five' < **penkʷe* with a distant assimilation).

[4] All examples labelled "Ob." in this article are taken from the entry "samma" unless otherwise specified.

The aim of this article is to give a description of the pronoun ‘same’ in the Swedish dialects of Estonia[5] and illustrate the wealth of the archive materials and their role for description of endangered dialects and languages. The article lists the attested forms together with the available derivatives and includes a study of their history. A large portion of the factual material has not been published before. It comes from either archival MSs, or — in the case of the contemporary dialect of Gammalsvenskby — from my own fieldwork. The article provides a considerable number of usage examples, given that most of them have not been published previously. It includes almost all examples from Tiberg’s cards[6] and all available examples from the published works. The number of illustrating phrases and sentences can and, hopefully, will be increased significantly in future publications, since not all published works have been excerpted so far, and only a small amount of the manuscript materials have been transcribed yet. In most cases, I provide not only the English equivalents and translations, but also the Swedish equivalents and translations from the original source.

2. Specific characters and abbreviations

Many studies of Swedish dialects employ the Swedish Dialect Alphabet, “det svenska landsmålsalfabetet” (LMA). For its comprehensive description, see Eriksson [1961]; a harmonisation of Scandinavian dialect alphabets and the IPA can be found in Haugen [1976: 475–479]. In this article, the following specific LMA characters are used:

ɪ [i];
ɨ [ɪ];
ɪ̣, a̟ — extrashort *i, a*;
i̯ — non-syllabic *i*;
e̞ [ɐ̟];
æ [ɛ];
æ̞ [ɛ̝];

[5] It should be mentioned that this Germanic pronoun was borrowed into Finnish and Estonian; I am grateful to the anonymous reviewer of the article who pointed this out to me.

[6] I left out some examples which are too short to be fully clear.

ɷ [œ];
ɷ [ʉ];
ɷ [o̜], closer than LMA *o* [ɔ];
ɐ [ɐ̟] — “European” or “neutral” *a* (LMA *a* is [a]);
ɑ [o̜];
ɯ [ʉ̟];
ʉ [ɵ];
ɻ [ɽ] — retroflex flap (“thick” *l*);
g — originally [gʲ] (palatalised), but often used alongside *g* [g] (non-palatalised);
ƀ, ƌ, ǧ — non-aspirated *p, t, k* or voiceless *b, d, g*;
d̠, t̠, s̠, ɳ [d̠, t̠, s̠, n̠] (postalveolar);
d̥ — weakly articulated *d*;
ʂ [ʂ], retroflex;
ʈ [ʈ], retroflex;
ŋ [ŋ];
n̥, r̥ — syllabic *n*, *r*;
l̥ — voiceless *l*.

In the LMA, length is marked by underlining the letter, e.g., *a̲*; half-length, by the circumflex under the letter: *a͟*.

Hyphen shows that the word is pronounced with the main and a secondary stress as a compound: *tɷɻe-sɑ́*; cf. *tɷɻesa* with a one-word stress (on the first syllable by default) and *tɷɻe sɑ* with a two-word stress (i.e. as two words).

The ordinary accentuation mark (ˈ) is used to specifically show the main stress, while ˈ is used to show secondary stress, e.g. *fɑ́ŋast sʊ̀o̥sa*.

‿ shows that two words are pronounced as a single accentual unit.

Note that the LMA does not use capital letters.

For special characters used in the representation of the dialect of Gammalsvenskby, see [Mankov 2019].

3. Attested forms

3.1. The pronoun ‘same’ has monosyllabic and disyllabic forms, i.e. those which have lost the intervocalic *m* and those preserving it. Judging by the available material, the dialects of Nuckö, Dagö, and Gammalsvenskby have generalised the monosyllabic forms; in the dialects of Ormsö, Rågöarna, and Vippal, both forms were attested; the dialects

of Runö and Nargö use only disyllabic forms. In EstSw, the originally disyllabic forms like *tăla* remain unchanged in terms of their quantity, i.e. neither the vowel, nor the consonant lengthens [Tiberg 1962: 65–67]. This explains the short *m* in EstSw vs. *-mm-* in Sw. *samma*. Further, Tiberg distinguishes between the stressed and unstressed monosyllabic forms of this pronoun, the former using a long *ā*. This pronoun is indeclinable in all the dialects except for Dagö and Gammalsvenskby, where declined forms secondarily appeared. The recorded forms are provided below.

3.2. Nuckö: *han sa* m., *hån sa* (*a* is *ā*, *å* is a close *ō*) f., *hä sa* n.; pl. *tai sa* m., *tor sa* f., *tom sa* n. 'derselbe, dieser, dieselben, diese / the same; this, these' [Rußwurm 1855: 14]; *sá* 'den, det / that' [Freudenthal, Vendell 1886: 182]; *sa̲* [Danell 1905–1934: 86, 266, 1951: 343]. Tiberg [Ob.] gives the same forms for the dialect of Nuckö as Danell.

3.3. Ormsö: *sammun*, n. *sammunt* [Rußwurm 1855: 56]; *han saand* [Rußwurm ms: 49], *aa* is *ā*; *sá*, *samu, samund, sánd* [Vendell 1881: 184; Freudenthal, Vendell 1886: 182], *á* is *ā*; *sa̲* [Gärdström ms: 86]; *sa̲* (stressed); *samɔ*, *samɔnd* [Ob.]; *samo* (*o* is [u]) [Lagman 1990: 91, 96]; *samond* (*o* is *u*) [Ahlström: ms]. Rußwurm's form with *-mm-* is probably a contamination with Standard Swedish *samma*. The form *sammunt*, which he seems to have interpreted as neuter, is rather an indeclinable form with a parasitic *-d* (see *Section 4.2*) that he took for the neuter ending *-t*.

3.4. Stora Rågö: *sa̲* (stressed), *sa* (unstressed); *samɔ* [Ob.]. Lilla Rågö: *sa̲*, *sa*; *samo*/*-ɔ*[7] [Ob.].

3.5. Vippal: *sá* 'den / that', *samu* [Freudenthal, Vendell 1886: 182], *samɑ*/*samɑ*; *-sa̲*, *-sa* in *tɯlʲeʂá, sɵ̜ʂa* 'in the same way' [Ob.].

3.6. Dagö: *samɑ* [Lagus ms: card № 646]; *sa̲* (stressed), pl. attr. *sa̲*, non-attr. *sa̲nar*; *sa* (unstressed) [Ob.]. The disyllabic form provided by Erik Lagus has not been found in any other sources from Dagö so far, which raises doubts as to whether it really existed in this dialect when Lagus was documenting it, i.e. in 1929[8].

---

[7] SRg. *-ɔ* in unstressed syllables is regularly corresponded by LRg. *-o*, cf. LRg. *svalʲo* 'swallow' (bird), *skɻæro* 'sickle', *fɪno* 'fin', *kaǧor* 'cakes', *naǧoɗ* 'naked', where SRg. has *ɔ* [Pöhl ms 1950: 1–2). The same regards SRg. *-ɪ* and LRg. *-e* [Tiberg 1940: 353–354].

[8] This proves once again the importance of usage examples in documentation of vocabulary. It is hard to regard single-standing isolated forms as secure attestations.

3.7. Gammalsvenskby: *sa̲* and *sa̲ndr̥* m. (stressed); pl. non-attr. *sa̲ndar*; *sa* (unstressed) [Ob.]. The strong form *sa̲ndr̥* could only be used non-attributively, because nouns modified by the pronoun 'same' are always in the definite form (*Section 6.1*), which obligatorily requires a weak form of the adjective, i.e. in the attributive position only the weak form *sa̲* was possible. Elis J. Ahlberg has found the forms *sat* (neuter) and *sa* (weak) in a letter of 15.12.1929 from Joh. Utas to Nils Tiberg [Brev från andra Gammalsvenskbybor (ms)]; these forms should be read *sāt, sā*.

In my interviews, none of these forms occurred; the word has gone extinct.

3.8. Runö: *sama* [Vendell 1882–1887: 128, 154], *sa̲ma̲*/*sama*[9] [Ob.].

3.9. Nargö: *sama* [Ob.].

3.10. Superlative forms, "sammaste", were also recorded: N. *sāăst* in *så sāăst* 'sammalunda / in the same manner' recorded by P. A. Säve [Danell 1951: 344], SRg. *sa̲stɪ* in *toɬɪ sa̲stɪ* 'på samma sätt / in the same way' [Ob.][10], Ng. *sámɔ̈ʂ̩*/*sámɔst* [Ob.] (with *samɔ̈-* borrowed from the dialect of Rågöarna?). Vendell recorded *sást* and *sossást* 'sålunda / this way' in the dialects of Ormsö and Nuckö [Freudenthal, Vendell 1886: 182, 205]; see *Section 7.1* on these forms.

3.11. The form *sa̲* is used as an adverb as well:

(1) N. *to i̯a va‿ʂa̲ gamoɬ sɔm han nɯ æ̯r* 'då jag var lika gammal som han nu är / when I was the same age ("identically old") as he is now' [Danell 1905–1934: 266, 1951: 343].

(2) N. *æ̯nt sa̲ gɯt̲ sɔm* 'inte lika gott som... / not as good as...' [Isberg 1970: 60].

(3) R. *i̯a suaw sama goṯ dæ̯n nuatu som da̲ɯn* 'I slept equally well that night and day' [Vendell 1882–1887: 128, 154].

4. History of forms

4.1. The word 'same' occupies a unique place in EstSw morphology because it is the only adjectival pronoun with a light root (i.e. containing a short vowel and one short consonant) that originally had only weak forms.

[9] A question arises whether the half-length on both syllables is due to level stress here.

[10] The vowel *-ɪ* in SRg. *sa̲stɪ* has nothing to do with *e* in the Swedish superlative suffix *-ste* and was added by analogy with adverbs in *-ɪ*. See *Section 7.2.6* for more.

As adjectival pronouns in EstSw distinguish gender forms in the singular[11], one would therefore expect the following paradigm: masc. *sama* (or *same*), fem. *samu* (or *sama*), neut. *sama*, pl. *samu*. However, such a paradigm would be sole-standing and isolated in the whole system of inflection; therefore, the form *sama* was generalised in most dialects, having become indeclinable. The dialects of Ormsö and Rågöarna use a form that goes back to OSw. fem. acc. sg. (and pl. of all genders) *samu* > *samꙍ*, LRg. *samo*/*-ꙍ*. A different explanation of *samꙍ* was given by Vendell [1881: 184], who compares it with OSw. *samu*, strong neuter dat. sg. This is unlikely, because the remnants of the dative singular are by no means common in EstSw nominal inflection[12]. Besides, *samꙍ* may resemble such indeclinable adjectives as OSw. *helbryghþo* (alongside *helbryghdha*) 'healthy'[13], though this comparison is hardly viable, because there are no other adjectives in EstSw that would clearly go back to OSw. adjectives in *-u*.

The old structure *aCa* regularly gives *oCa* in EstSw, cf. such forms as G. *hona* 'rooster', *toḷa* 'to speak'[14]. It is therefore not granted that *sama*

[11] For example, G. *tän* m., *täss* f., *tät* n. 'this', G. *min* m. & f., *mitt* n. 'my' (attributive forms), *minnan* m., *mīna* f., *mitta* n. (non-attributive forms), etc. Such pronouns have only strong forms. Adjectives also distinguish masculine, feminine, and neuter strong forms; weak forms of adjectives never distinguish genders in the available records due to the apocope of endings of the weak form [Hultman 1894: § 1.49]. By contrast, the pronoun 'same' since ancient times had never had strong forms [Noreen 1904: § 510.6]. Besides, it had a light root, after which — in accordance with the rules of EstSw apocope — the weak endings should have been preserved.

[12] Currently we know only one form which goes back to a dat. sg.: N. *gǫ mæ aḷ o graḷ* 'försvinna spårlöst / disappear without trace' [Danell 1951: 3]. Here, *aḷ* goes back to OSw. *allo*, dat. sg. neut. [Danell 1905–34: 267], in the phrase *mäþ allo* 'completely' [Söderwall 1884–1918: I, 24]; the adverb *graḷ* was added later to make a rhyme. As for the dat. pl., there are more examples, but it is also a rare form.

[13] These adjectives are usually used predicatively, though there is also an example where it is attributive: *j helbrighdha likama* [Söderwall 1884–1918: I, 480].

[14] The development in EstSw is reconstructed as OSw. *aCa* > **aCā* (?) > **aCō* (?) > **oCo* > *oCa*, cf. [Tiberg 1962: 76]. I suppose that the structure CV.CV, i.e. disyllabic forms with light roots, had level stress and accent 2 in EstSw. The length of the second vowel as relative to the first vowel was probably sufficient enough to cause the transition from **ā* to **ō* (*å̄*), as in OSw. *bărn* 'child' > **bārn* > EstSw. *bōn*. Cf. [Kristoffersen 2008: 105–107, 110–112], who provides data from North Gudbrandsdalen, Norway, and Älv-

in the dialects of Vippal and Dagö goes back directly to OSw. *sama*, because in this case the expected form would be ***soma*. Two alternative explanations can be suggested. Firstly, *sama* may be a contamination of forms which go back to OSw. *samu* or *sami* (where the change *a* > *o* could not take place) and *sama*, i.e. the root vowel in V., D. *sama* may go back to OSw. *samu* or *sami*, the ending to OSw. *sama*[15]. Secondly, it should be taken into account that there are a couple of words where *aCa* remains, at least in some EstSw dialects. These are 'bara' ('only', 'but') and 'vara' ('to be')[16]. The forms *bora* and *vora* probably go back to the forms with level

dalen, Sweden, which shows that in both dialects the second vowel in CV.CV is longer than the first vowel in utterance-final positions. The root vowel *o* appeared due to metaphony (or vowel levelling, Sw. *tilljämning* [Haugen 1976: 261]), which is associated with level stress [Kuzmenko 1991: 22, 150]. Later, the vowel *o* in the second syllable of level-stress words gave *a*, together with *o* > *a* after heavy-root syllables in, e.g., **hēno* > *hēna* def. sg. of *hēn* 'hen'; cf. [Hultman 1894: § 9.9]. The change **o* > *a* in the second syllable could take place in EstSw in connection with the disappearance of accent 2, which was probably a necessary condition for the level-stress pattern [Kristoffersen 2008: 94]. I suppose that due to the loss of unstressed vowels after heavy roots in words with accent 2, such forms as *hēn*, def. sg. **hēno* (< OSw. *hōnu*, *hōnuna*), which originally had accent 2, became morphologically and prosodically equal to such forms as EstSw. *hūs* 'house', def. sg. *hūse* (OSw. *hūs, hūsit*), which never had accent 2. This came to be a factor in the overall disappearance of accent 2 in EstSw. In words with light roots, the loss of accent 2 has led to the loss of level stress. In terms of stress, disyllabic light-root forms became identical to disyllabic forms with heavy roots, i.e. such forms as *hona* 'rooster' started to be pronounced identically with *hēna* 'the hen', which is what we observe in, e.g., the contemporary dialect of Gammalsvenskby. The fate of the unstressed **o* in, e.g., **hēno* and **hono* was also identical: both gave *a*, hence the present-day *hona* and *hēna*.

[15] Another example is N., V., Rg., Ng. *hara* 'hare' [Freudenthal, Vendell 1886: 78; Danell 1951: 153; Pöhl ms 1944: 111; Ob.: entry "hare"], which is a contamination of forms going back to OSw. *hare* (nom. sg.) and *hara* (acc. sg.). The accusative *hara* would have given **hora*, but this form is not found in EstSw.

[16] The forms are as follows: O. *bara* [Gärdström ms: 134; Ob.]; Odh., D., G., R., Ng. only *bara* [Ob.]; N. *bara* and *bora* [Danell 1905–1934: 89, 134], Tiberg [Ob.] recorded *bara* in the peninsula of Nuckö, but *bora* in Rickul; Rg., V. only *bora* [Ob.; Tiberg 1962: 76]. "Vara": O. *vara* [Gärdström ms: 135]; Odh., D., G., R., Ng. *vara* [Ob.]; N. *vara* and *vora* [Danell 1905–1934: 89, 135], Tiberg [Ob.] gives only *vora* for Nuckö; Rg., V. only *vora* [Ob.].

stress, whereas *bara, vara* reflect those without level stress. The absence of level stress may be due to generalisation of the variants which were used in the unstressed position. The form *sama* in the dialect of Dagö may also go back to the variant without level stress; this explanation is less likely in the case of the dialect of Vippal, because in this dialect only *bora* and *vora* were recorded; one would therefore expect ***soma*.

The form *sama* in the dialects of Runö and Nargö has the root vowel *a*, because in these dialects vowel levelling did not take place at all.

4.2. Another problem is the origin of the forms *samœnd* and *sānd* in the dialect of Ormsö. In those few examples which are available now (examples 17a, 18b), *samœnd* is used attributively as a weak form and is interchangeable with *samœ*. It may resemble the forms *sāndr̥, sāndar* in the dialects of Dagö and Gammalsvenskby (see *Sections 3.6*, *3.7*) and such adjectives as D. *gulrandr̥* m., *gulra* f., *gulrat* n. (stem *gulra-*) 'yellow' and G. *nakondär, nako, nakot*, pl. *nakondar* (stem *nako-*) 'naked'[17]. However, *samœnd* cannot be regarded as belonging to this type, because such a paradigm of adjectives as ***samœndär* m., ***samœ* f., ***samœt* n. does not exist in the dialect of Ormsö [Freudenthal, Vendell 1886: 10]. Besides, the form *samœnd* is not attested in the dialects of Dagö and Gammalsvenskby. It may be hypothesised that such form used to exist on Dagö and was borrowed into the dialect of Ormsö, but this is hard to prove using the available data.

Vendell [1881: 184] suggests that *samœnd* goes back to OSw. *samulund* 'sammalunda, på samma sätt / in the same way' [Schlyter 1877: 533]. This is doubtful, because *samulund* is an adverb rather than a pronoun; besides, any compounds with *-lund* are not known in the dialect of Nuckö.

I suppose that *samœnd* is comparable with the pronouns *aḷœn* 'alla (människor) / all (people), everybody' and *a̲rœn* 'other(s)' in the dialect of Nuckö[18]; *-d* is a parasitic consonant which is sometimes added after

---

The infinitive *fara* 'travel', found in the dialect of Lilla Rågö and the older dialect of Gammalsvenskby (cf. N. *fora*), does not belong here, because its root vowel *a* (instead of the phonetically regular *o*) is analogical; it was caused by the supine *fare*.

[17] Synchronically, they are disyllabic stems terminating in vowels; historically, they go back to adjectives with *-en-* and *-ig-* (e.g., Sw. *mulen, ynklig*).

[18] Usage examples: *nɯ ær aḷœn ıte* 'Nu har allesammans ätit / Now everybody has eaten', *he ær aḷœns ro̲e* 'Det är allas mening / It's everybody's opinion'; *nœen a̲rœn*

resonants (cf. N. *lokand* and Sw. *lakan* ‘bedsheet’); a form without *-d* was recorded by Rußwurm: *sammun*. Vendell [1904–1907: 6] explains *a̲lɔn* and *a̲rɔn* as definite forms of weak feminine nouns **a̲l*, **a̲r* used in the collective meaning, but, as he himself notes, feminine definite forms in *-un* do not exist in the Swedish dialects of Estonia[19]. I suppose that *-n* in N. *a̲lɔn*, *a̲rɔn* is analogical; it was taken from the non-attributive forms *ɪggen* ‘no, nobody’ and *nœen* ‘some, somebody’ which are used irrespective of gender [Danell 1905–1934: 266, 267][20]. The meaning of the latter form is aptly illustrated by Vendell [1881: 182]: *Nó kám tær nuin, änt vait ia om he vár mann häldur kwinn* ‘Well, there came somebody, I don’t know if it was a man or a woman’, i.e. *nuin* (= *nœen*) is used when it does not matter whether it is a male or female. The pronouns ‘all’ and ‘another’ lacked genderless forms in the singular, and in order to fill this gap, the forms *a̲lɔn*, *a̲rɔn* were constructed; O. *samɔn*(*d*) was also built after this pattern. It should also be noted that the unstressed *-en* after consonants occurs in the dialect of Nuckö only when it is the masculine definite article, after *l* and *r* it becomes *-n* [Danell 1905–1934: 102–103]. In other cases, the unstressed *e* gives *u* (*ɔ*), for example in the suffixes *-ɔ̈s*, *-ɔ̈sk* (Sw. *-else, -erska*); *u* is also an epenthetic vowel in, e.g., *namɔn* ‘name’ [ibid.: 117–118]. When *-en* was added to the roots *all-, ār-*[21], it was not perceived as the definite article, and from the phonetic point of view, it behaved like the above-mentioned suffixes.

The form *sānd*, recorded by Rußwurm and Vendell on Ormsö, looks like a contamination of *samɔnd* and *sa̲*.

4.3. The monosyllabic form of our pronoun, *sā*, appeared due the loss of *m*: *sama* > **sa.a* > *sā*. This probably first happened when this pronoun

---

‘någon annan / some other’, *ɪggen a̲rɔn* ‘ingen annan / no other’ [Danell 1905–1934: 267, 268], *hæm ska a̲rɔŋ ha stoɬe he, æn æn̲ tu̲u* ‘Vem annan skall ha stulit det än en tjuv / Who else could have stolen it but a thief?’ [Isberg 1970: 6].

[19] The regular definite forms would be **a̲la*, **a̲ra*, cf. N. *he̲na,* def. sg. of *he̲n* f. ‘hen’.

[20] The final *-en* in *nœen* was taken from *ɪggen*, where it is original (cf. OSw. *ängin*); in the attributive masculine form, these pronouns have *-an* in the dialect of Nuckö, just like regular adjectives; e.g., *nɪ̲an* ‘new’.

[21] *ār-* is actually a plural root (< OSw. acc. pl. *aþra*). For the declension of this word, see Danell [1905–1934: 267].

was used as an enclitic or an element of a compound, and then the shortened form was generalised in several dialects. The disappearance of the intervocalic *m* is by no means regular in EstSw (for example, the infinitive *koma* 'come' never shortens); other intervocalic resonants and labial stops do not disappear either. The available examples are limited to a very small group of words where the originally short *m* stood between two *a*'s. Apart from 'samma', these are 'samman' ('together'), 'gammal' ('old') and, probably, 'framman' ('from the front side; in front'):

N. *sa̱* in *alɔ̱-sa̱* or *alɔ̱ sa̱* 'allesamman / all together' [Danell 1905–1934: 267, 1951: 3, 344]. The adverb 'samman' (just like 'samma'!) is not used by the contemporary speakers of the dialect of Gammalsvenskby either as a separate word, or in compounds; 'together' is *dehŭp*.

N. *ga̱ɫ* alongside *gaṃɔɫ*, *gamɔɫ* 'old'; this adjective can further shorten, hence *ga̱*, e.g., *ga̱ rɪs̱e* 'the ancient Russians', and — sometimes, but not necessarily, with a pejorative meaning — *ga*: *minn ga sálė fár* 'min gamle salige far / my old blessed father' (recorded by Perklén [Danell 1951: 343]), *ga aɪ̯ken* 'the wretched horse', *ga rɪs̱e* 'the awful Russians' [ibid.: 122]. In the contemporary dialect of Gammalsvenskby, the syncopated form occurs only in compounds: *gaḷ-fār* 'matchmaker', *gaḷ-mann* 'id.', *gaḷ-mūär* 'female matchmaker' (alongside *gamaḷ-* in, e.g., *gamaḷ-fār* 'grandfather'). Otherwise, the adjective 'old' in Gammalsvenskby is *gamḷan*. The form *gāḷ* goes back to OSw. masc. nom. sg. *gamal* with a short *l* < *ll* [Noreen 1904: § 303,3], which in this position was regularly realised as *ḷ* (thick *l*); the form *gamḷan* is an old masc. acc. sg.

N., O. *fra̱* (adverb) 'framme / in front, from the front side' [Danell 1905–1934: 86, 1951: 111; Gärdström ms: 86]; also in a large number of compounds such as N. *fra̱-ve̱lde* lit. 'front area', locality in Rickul. In interviews with the contemporary speakers of the dialect of Gammalsvenskby, only the form *frama-* (never ***froma*) occurs, and only in compounds, e.g., *frama-stjū̃* 'sitting room'.

It is obvious that the loss of *m* in *-ama-* is not consistent cross-dialectally and even within one dialect. This may be due to the fact that *m* was first lost in compounds, enclitics, and in the unstressed position, whereas full forms were used as independent words, which has led to doublets. The relative chronology of this loss is unclear. One is tempted to regard it as rather old and preceding the change of the root *a* to *o* in *aCa* > *oCa*,

because such forms as ***soa* have not been attested anywhere in EstSw, i.e. in this case the change should have been *sama* > **sa.a* > *sā* rather than *sama* > ***soma* > ***soa*. However, it is more likely that the root *a* was preserved for the same reason as in *bara, vara*: in the unstressed position, there was no level-stress effect and no vowel levelling; in this case, the loss of *m* does not have to be particularly old.

Vendell [1904–1907: 781] suggests that *sā* in the sense 'den / that' (see *Section 5*) may go back to the ancient demonstrative pronoun *sā* (cf. OIcel. *sá, sú, þat*). This idea is attractive, though, unfortunately, the modern form *sā* cannot directly reflect OSw. *sā*, because the old *ā* gives *ō* in EstSw. One may only hypothesise that **să*, the phonetically weak form of the demonstrative pronoun (which was not subject to the change *sā* > *sō*), was in use in EstSw up to quite recent times and contaminated with *sā* < *sama* in such contexts as those cited in *Section 5*.

5. Specific semantic development

In the dialect of Nuckö, the pronoun 'same' can lose its original lexical meaning and is sometimes used as a demonstrative pronoun or even as a definite article:

(4) *He va sá, som kám tær* 'Det var den, som kom där / It was that one that came there' [Freudenthal, Vendell 1886: 182].

(5) *sa̱ a̱ɩken som bru̱ka skaɹn, ke̱ft_n̥ from graɹ̱-man* 'Den hästen, som brukade skena, hade han köpt av grannen / The horse which used to bolt he bought from a neighbour' [Danell 1905–1934: 266].

6. Syntagmatic behaviour

6.1. Unlike Standard Swedish, the pronoun 'same', when it is used attributively, invariably requires the definite form of a noun in EstSw. The free definite article can be absent; this concerns the dialects of Nuckö, Ormsö, Runö[22]. Currently we have no examples from other dialects where

[22] A similar regularity is observed in the dialects of Östra Nyland (Finland): in phrases with 'same' the noun has the suffixed definite article, the free definite article is absent [Lundström 1937: 23].

the pronoun ‘same’ is not preceded by the free definite article. Cf. the following phrases from the dialect of Nuckö, where the noun is in the definite form and the free definite article is not included:

(6) *sa̲ vɩ̲se*, *sa̲ vɩ̲sa* ‘på samma sätt / in the same way’ [Danell 1905–1934: 308, 1951: 470].

(7) *sa̲ sondan* ‘samma söndag / the same Sunday’ [Danell 1905–1934: 308–309].

(8) *mæ sa̲ ɻærge* (< Est. *järg* ‘turn, order’) *som fo̲r* ‘i samma ordning som förra gången / in the same order as the last time’ [Danell 1905–1934: 312–313, 1951: 190].

(9) *e sa̲ ru̲me* ‘i samma rum / in the same room’ [Danell 1951: 300].

(10a) *ɔpa sa̲ flræ̲ken* ‘på samma plats / at the same place’ [Isberg 1970: 149].

(10b) *ɔpa sa̲ sta̲ele* ‘på samma ställe / at the same place’ [ibid.: 309].

(11) *ot sa̲ sɩ̲a* ‘åt samma håll / to the same side’ [ibid.: 383].

(12) *e sa̲ dɔ̲p-va̲tne* ‘i samma dopvatten / in the same baptism water’ [ibid.: 57].

(13) *mæ sá ɻégɡen* ‘med samma slag / with the same blow’ [Ob.].

(14) *he æ sá̲ faɻ̲ln* ‘Det är samma fel / It’s the same disease’ [Ob.].

(15) Rk. *from sá̲ ɻæ̲fte* ‘av samma släkt / from the same family’ [Ob.].

It should be noted that in historically weak feminine nouns with short roots (and in neuter nouns of the type “märke”, i.e. neuter *ia*-stems), the singular definite and indefinite forms coincide, which masks the use of the definite form after *sa̲*, e.g.

(16) N. *tær va̲r æn tɻ̲ɯe man̲ o ɔpa sa̲ arɔ mɪ̲gar* ‘Där var en tjugo män och ungefär samma antal kvinnor / There were about twenty men and approximately the same number of women’, *arɔ* (< Est.) is a feminine def. sg. [Danell 1951: 8].

Similar examples from the dialect of Ormsö include:

(17a) *upa samund dáėn* ‘på samma dag / on the same day’ [Freudenthal, Vendell 1886: 182] and

(17b) *opa samo dāen* ‘id.’ [Lagman 1990: 91].

(18a) *samɔ ɻa̲e* or

(18b) *samonḍ‿lɑ̰e* ‘samma sort / the same sort’ [Ob.].

(19) *sámœ hʉ́use* ‘samma hus / the same house’ [Ob.].

(20) *e sɑ́ rɑ́e sɔm tom ár* ‘i samma rad som de andra / in the same row as the others’ [Ob.].

(21) *opa samo vīsa* ‘på samma sätt / in the same way’ [Lagman 1990: 96].

An example from the dialect of Runö:

(22) *han havɐr sama smɑ̰ken* ‘Han har samma smak / He has the same taste’ [Ob.].

6.2. There are also many examples where the free definite article is included in the noun phrase with ‘same’:

(23) N. *He var han sá spérn, sum...* ‘Det var den samme spiritusen, som... / It was the same ghost that...’ (recorded by Perklén in 1885 [Danell 1951: 385]).

(24) LRg. *Gāe nītt åtär baka ŏpa hann sā flʳäcken, kånn ne förr var* ‘Gå (på) nytt åter tillbaka uppå han samma fläcken, där ni förr var / Go back again to the same place where you were earlier yesterday’ [Tiberg 1940: 337].

(25) LRg. *tåm sā ordena* ‘samma ord / the same words’ [Lagman 1990: 168].

(26) SRg. *man gick åter han sa vēgin* ‘Man gick åter samma väg / One went again the same way’ [ibid.: 132].

(27) SRg. *hann sa dāin* ‘samma dag / on the same day’ [ibid.: 146].

(28) SRg. *tåm sā pīgäna* ‘samma flickor / the same girls’ [ibid.: 145].

(29) D. *han sɑ̰/sa gɔ̰rn̥* ‘the same yard’, *hon sɑ̰/sa kɯ̰ɖa* ‘the same cow’, *hæ sɑ̰/sa bɔ̰ne* ‘the same child’, *tom sɑ̰/sa fɔ̰re* ‘the same sheep (pl.)’ [Tiberg ms 1925a: 258].

(30) D. *ve gɻ̰ord he̱ arbete som fær̲ vɑ̰r, ve fɻ̰ altɪ tom sa pænga* ‘We did that same work which was before, we always got the same money’ [Tiberg ms 1925b: 412].

6.3. In the available examples where ‘same’ is used non-attributively, the free definite article is included:

(31) N. *ɯte hɪsn̥ spɑ̰eln blʳɪ spɑ̰el-sɑ̰kana to‿ʂɑ́* (< *tor sɑ̰*; *tor* is fem. pl. free definite article, whose gender is governed by *sɑ̰kana* f. pl. ‘things’) *som ɯte brænˍ-kɔr-spɑ̰eln*, *bara he spɑ̰elas tolʳe mɔ̰d...* ‘I denna lek bli leksakerna de samma

som i leken brännboll, men det lekes sålunda... / In this game the toys are the same as in "brännboll", but it's played this way…' [Danell 1905–1934: 266).

(32) O. *tágk̲en e han ʂámond* 'Tanken är densamma / The thought is the same' [Ob.].

7. Compounds and fixed phrases

7.1. As the first element of a compound, 'same' in the available examples occurs only in the dialect of Nuckö in an adverb which corresponds to Sw. *sammaledes*: *sɑ̲ʂʈ(e)* 'sålunda, så där, just så, på samma sätt / this way, exactly so, in the same way' [Danell 1905–1934: 28][23]. Its development is reconstructed as * ˈ*sama-ˌ läiðis* > * ˈ*sā-ˌ läis*[24] > **sāl̥es*[25] > **sāl̥s* > *sɑ̲ʂ*[26]. The consonant *-ʈ* was added by analogy with other adverbs with the suffix *-t*[27]; *-e* is also due to analogy with such adverbs as *gole* 'already'[28]. The usage is illustrated by the following examples [Danell 1951: 343]:

(33) (*so*) *sɑ̲ʂʈe gæ‿ɖɯ æɪsket* 'Så där gör du alltid / You always do it this way'.

(34) *ɻa kam̲ so sɑ̲ʂʈe* 'Jag kom utan något i händerna, utan särskilt ärende / I came with no specific purpose'.

(35) *ɻa fɪk̲‿e sɑ̲ʂʈe* 'Jag fick det gratis / I got it just like that'.

---

[23] Isberg [1970: 323] erroneously explains it as "så-sammaste": N. *sɑ̲ʂʈe* should not be confused with N. *sāāst* (actual superlative) and SRg. *sɑ̲stɪ* in *tolɾɪ sɑ́stɪ*.

[24] OSw. intervocalic *dh* (*ð*) disappears in most Swedish dialects of Estonia [Hultman 1939: § 198].

[25] The element *-läis* lost the secondary stress, *l* ceased to be perceived as morpheme-initial and turned to a "thick" *l̥*; for details, see [Mankov 2024]. A similar example of *l* becoming *l̥* when it ceases to be perceived as morpheme-initial is N. *ɑ̲ɾe* lit. "av led", i.e. 'ur led, lös / out of joint, loose' < OSw. *aff lidhi* [Danell 1905–1934: 186].

[26] On *l̥s* > *ʂ* in the dialect of Nuckö, see [Danell 1905–1934: § 116].

[27] This is not uncommon: cf. N. *morest* 'i morse / this morning' [Danell 1951: 277], G. *morest* 'id.' vs. R. *morɪs* [Vendell 1882–1887: 117].

[28] Another example of such pleonastic addition of adverbial suffixes is probably LRg. *tɷɾesta* 'på det sättet / this way', SRg. *tolɾɪsta,* Vp. *tɷɾʂ̲esta*, where *-t-* and then *-a-* were added to the adverb LRg. *tɷɾes,* Vp. *tɷɾɐs* [Ob.].

(36) *spɶlman va sɑ̲ʂʈe tɪgga* ‘Spelmannen var särskilt inbjuden / The musician was specifically invited’.

(37) *sɑ̲ʂʈe ɯ̲t* ‘ut åt det där hållet / out in that direction’.

According to Gärdström, the equivalent of N. *so sɑ̲ʂʈe* in the dialect of Ormsö is *so-s̲ɑ̲, sos̲ sɑ̲* ‘sålunda / this way’ [Gärdström ms: 28, 202], see *Section 7.2.5*. Vendell gives *sást* and *sossást* ‘sålunda / this way’ with the label “O” (= Ormsö) and, again, *sossást* ‘id.’ with the label “NO” (= Nuckö, Ormsö) [Freudenthal, Vendell 1886: 182, 205]. This is probably a shortened form of the superlative *så sāăst*, see *Section 3.10*. The forms *sást* and *sossást* cannot be regarded as identical to *sɑ̲ʂʈ*, because in the dialect of Ormsö, *rs* and *ɻs* do not give a dental *s*, cf. O. *boʂʈ* ‘borste / brush’, *bæʂʈ* ‘bröst / breast’, *foʂʈ* ‘först / first’, *hɑ̲ʂ* ‘hals / neck’, *fɑ̲ʂk* ‘falsk / false’ [Gärdström ms: 202]. In the dialect of Nuckö (with the exception of Bakväldet), *ʂ* from *ɻs* does not become *s* either.

7.2. ‘Same’ is often used with pronouns and adverbs as an emphasising or intensifying particle meaning ‘här, just / here. right, precisely, exactly’ [Danell 1905–1934: 265], cf. Lat. *-ce* ‘here, there’ in e.g. *hic* ‘this’ (< **hi-ce*), *ecce* ‘look!’. This regards both short forms (without *-m-*) and long ones (with *-m-*). Available examples include the pronoun ‘same’ attached to the demonstratives ‘that’ (and the personal pronoun ‘he’), ‘such’.

7.2.1. There are many examples where ‘same’ is added to the demonstrative pronouns ‘this’ and ‘that’, i.e. “his same”, “that same”, cf. Sw. *densamma* ‘the same’ (lit. ‘that same’). Attributive forms of ‘this’ in the dialect of Nuckö are *hɪsn̥* m., *hɪsa* f., *hɪt̲* n., pl. *hɪs̲* [Danell 1905–1934: 265]. they require the definite form of the noun, for example:

(38) N. *ɻa blɻɪ̲or ænt o̲ mæ hɪsn̥ sɑ̲ ga brʊtan aɲ go̲gg* ‘Jag blir aldrig av med den här förkylningen / I won’t ever get rid of this damned cold’ [Danell 1951: 52], *brʊtan* is a definite sg. form of *brʊta* ‘cold; headache’.

(39a) N. *hɪsn̥-sɑ́ maɲ* ‘den här mannen / this man’ [Isberg 1970: 123],

(39b) *hɪt sɑ̲ ga mælɪg-sæte* ‘det där gamla vaccinerandet / that old vaccination against smallpox’ [Danell 1951: 284]; cf. also

(39c) *he bo̲ne ær hɪsn̥-sɑ́ mansa* ‘Det där barnet är den här mannens / This child is that man’s’, where *mansa* is a non-attributive genitive [Danell 1905–1934: 228].

The pronoun ‘that’ in EstSw is identical with personal pronouns of the 3rd person, e.g., G. *han, hon, he, tom*, which can mean both ‘he, she, it, they’ and ‘that, those’. The pronoun ‘that’ also requires the definite form of a noun and the weak form of an attributive adjective. It should also be noted that examples listed below cannot be interpreted as containing the free definite article + ‘same’, which can be seen from the translations.

(40) N. *he sa* ‘det där / that’ (*he* is ‘that’, demonstrative): *he sa sɪo̲g̲gase lɪ̲t no̲ vɪl̲t* ‘Det där sjungandet lät nog fult / That singing sounded quite ugly’ [Ob.].

(41) *he sɑ̲ lʊ̈ll o̲de kam ɪve tʊgga bro̲t* ‘Det lilla ordet kom över tungan fort / The small word came quickly from the tongue’ [Danell 1951: 52].

(42) N. *tæ-sɑ̲* m., *to-ʂɑ̲* f., *tom-sɑ̲* n. ‘dessa / those’ (here, *-sɑ̲* is added to the demonstratives *tæ* m., *tor* m., *tom* n. ‘those’):

(42a) *tæ-sɑ̲ mæn̲e sɔm kɔma laʊ̲pandɔr tæ̲r* ‘dessa män som komma löpande (gående) där / these men that come running there’.

(42b) *to-ʂɑ̲ mɪgana sɔm gɔ̲ tæ̲r* ‘dessa kvinnor som gå där / these women that are going there’.

(42c) *tom-sɑ̲ bɔ̲na sɔm laɪ̲ke tæ̲r* ‘dessa barn som leka där / these children that are playing there’ [Isberg 1970: 53].

(43) N. *tom sa græ̲n aksena goɪ̲nas ʊte staɪ̲ken mæ̲* ‘De gröna axen mogna även i stacken / Those green ears (of grain) grow ripe in a stack as well’ [Danell 1951: 10].

(44) Rk. *tæ sɑ̲* ‘dessa samma / just these’: *tæ sɑ́ mæn̲e* ‘dessa samma män / just these men’ (*tæ* is a masc. pl. form of the pronoun ‘that; he’ used in unstressed position) [Ob.].

(45) O. *he sɑ̲* ‘det där / that one’: *he sɑ́ e mɪ́t̲a* ‘Det där är mitt / That one is mine’.

(46a) LRg. *han sɑ́* ‘denne / that one’.

(46b) *hé e̲ he sɑ́* ‘Det är detsamma / It is the same’ [Ob.].

(47) LRg. *hɐ sa gɔ̲́-hʉ̲se* ‘det där god-huset, dvs. avträdet / that good house’, i.e. privy [Ob.].

(48) SRg. *he sa* ‘det där / that’: *ɔ̊ba he sa mjɔ́ɬæt bɔ̲́dɪ* ‘på det där mjöliga bordet / on that floury table’ [Ob.] (*mjɔɬæt* is a weak form, it is obligatory after the demonstrative *he* ‘that’).

(49) V. *hɐ sama* ‘detsamma / the same’: *hɐ sáma vɑr mæ bóʂkaɓɐ* ‘Detsamma gällde nötkreaturen / The same was with the cattle’ [Ob.].

(50a) D. *han sa gréɻs* ‘den där Grejs / that Gregory’.

(50b) *hon sa̱ kuda* ‘just den kon / that cow exactly’ [Ob.].

In these examples, Tiberg marked the phrase stress which falls either on the pronoun ‘same’ or on the noun, but not on the demonstrative pronoun; this is the same stress pattern as in Standard Swedish where compounds with pronouns and adjectives used as the first component have stress on the second component, e.g., *den där, halvannan* [Kock 1884: 66].

A phrase with the stressed demonstrative pronoun where *sa* looks like a genuine enclitic:

(51) D. *háɳ sa dą́en* ‘samma dag / on the very same day’ [Ob.].

In the diary, the whole sentence is given: *Korset sättes upp hán sa dą́æn* ‘The cross (on the grave) is put on the same day’ [Tiberg ms 1927: 685]. The stress on the demonstrative pronoun *han* in this phrase is probably due to emphasis.

Elis J. Ahlberg has provided an example from the older dialect of Gammalsvenskby taken from a letter of 1929 from Joh. Utas to N. Tiberg. The letter is written in the dialect using the ordinary Swedish letters with the exception of a bold ***l***, which is [ɭ], a thick *l*; the author of the letter provided the Standard Swedish equivalents of those forms which may be difficult to understand:

(52) *He ha änt a have tarvast bita**l** (betala) he sa ter som ne gära* ‘You should not have paid that as you are doing’ (i.e. Tiberg should not have paid for letters written in the dialect).

Here, *he sa ter* looks like a compound demonstrative pronoun corresponding to Sw. *det där*, i.e. *he sa* = Sw. *det* ‘that’, *ter* (*tēr*) is *där*.

7.2.2. A special case is G. *tæs są́ndar* ‘dessa samma / these exactly’ [Ob.]. In the dialect of Gammalsvenskby, the demonstrative *täs(s)* ‘these’ (pl. of *tän* m., *täs(s)* f., *tät* n.) obligatorily requires the definite form of the noun it qualifies and a weak form of the adjective, e.g., *täss vill trā̈na* ‘these wild trees’ (*vill* is a weak form of *villdär*). The pronoun ‘those’ is used in nominalisation, e.g., *tom uŋŋ* ‘the young, young people’, where *uŋŋ* is a weak form. Here, the use of the weak form of the adjective is obligatory, the phrase ***tom uŋŋar* is ungrammatical. One would therefore expect

the phrase ****tæs sa̱*, where *sa̱* is a weak form. However, in the given example *sa̱ndar* is actually dependent on the plural form *tæs* (not vice versa), therefore it agrees with *tæs* in number and is used in the strong form.

7.2.3. There are a number of examples where 'same' is added to the pronoun 'such'. EstSw dialects possess two pronouns meaning 'such'; one goes back to OSw. *tholikin*[29], the other to OSw. *sliker*. OSw. *tholikin* gave N. *tɷlɾe* which became indeclinable in this dialect, though the neuter is occasionally *tɷlɾet* alongside *tɷlɾe* 'such' [Danell 1905–1934: 28, 265; 1951: 433]; see example 56. In the dialect of Rågöarna, OSw. *tholikin* gave *tɷlɾendær* and *tɷlɾen* (LRg.), *tolɾındær* and *tolɾın* (SRg.)[30], which are declined [Tiberg 1940: 346; Ob.: entry "dylik"], but in combination with 'same' only *tɷlɾe* was recorded by Tiberg on Lilla Rågö: *tɷlɾesá̱* (see example 57).

Attested forms of the pronoun *tɷlɾe*, *tɷlɾe* with *-sā* are N. *tɷlɾe-sá̱* [Danell 1905–1934: 28], *tɷlɾesá̱* [ibid.: 295], *tɷlɾe sa̱* [Isberg 1970: 52], Rk. *tɷlɾe sa̱, tɷlɾesa* [Ob.], LRg. *tɷlɾesá̱* [Tiberg 1940: 347; Ob.]. In the dialect of Ormsö, we find *toḵe-sa̱* or *toke-sa̱* 'sådan / such'[31], which was recorded by Gärdström [ms: 28] as an equivalent of N. *tɷlɾe-sá̱.* These forms are used both attributively and predicatively, they can also be nominalised.

Examples of the attributive use:

(53) N. *tɷlɾe-sá̱ mo̱d* 'på samma sätt / in the same manner' [Danell 1905–1934: 28, 1951: 433]: *sos ha̱d anan hærn soa tɷlɾesá̱ mo̱d som han fo̱st* 'Därpå hade den andre herrn sagt på samma sätt som den förste / Then the second gentleman had said in the same manner as the first' [Danell 1905–1934: 294].

(54) Bv. *han gu̱̽o̱d tɷlɾe sá̱ fa̱ɻ* 'Han gjorde samma fel / He made exactly the same mistake' (the main phrase stress is on *sá̱*) [Ob.].

---

[29] See [Söderwall 1884–1918: II, 717]. In later Swedish, its descendants are *toliken* and *tocken* [SAOB: T 1864].

[30] OSw. *tholikin* > *tholighin* [Wessén 1965: § 73.1] > *tholghin* [ibid.: § 70; Noreen 1904: § 267], which in the dialects of Lilla Rågö and Vippal gave **töl̨gi-* (on the change *o* > *ö* see [Tiberg 1962: 38]) > *töl̨e-* (*tɷlɾe*; on the loss of *g* in this position, see [Hultman 1939: § 210.4]). The vowel *ö* evidences that *o* was originally not intervocalic here (because an intervocalic *o* does not give *ö* in LRg. and Vp.), but stood in front of *l̨* + consonant, which in this case could only be *-gh-* (Elis J. Ahlberg's observation).

[31] O. *toḵe* goes back to *tokken* < *tholkin* < *tholikin* [Wessén 1965: § 76.3, 109].

(55) Fv. *æn tɷɻesa póɻk-hoɻp!* ‘En sådan pojkvalp! / Such a whelp of a boy!’ [Ob.].

(56) Bv. *toɻet-sɑ́ gaɻ* (sic!) ‘the same old (things)’[32], said about something off-putting or contemptible [Ob.]. In this example, *sɑ* clearly intensifies the neuter *toɻet*, rather than being an element of a compound, cf. the next example.

(57) LRg. *tɷɻesɑ́ gɑɻ trɔ́ar* ‘sådana gamla föreställningar / such old beliefs’ [Ob.]. In this example, *tɷɻe* can be interpreted as an attributive plural of the pronoun *tɷɻendær* intensified by *sɑ* (cf. *tɷɻe trɔar* ‘such beliefs’)[33].Unfortunately, there are no available examples from this dialect where *sɑ* would be used with an unambiguosly declined form such as the masc. sg. *tɷɻendær*. For this reason, *tɷɻe* can also be explained as a first component of the compound *tɷɻesɑ́*; in this case it should be qualified as an indeclinable form[34].

Examples of the predicative use:

(58) N. *han ær tɷɻe sɑ sɔm alˌ tɻar dampare* ‘Han är liksom alla andra rytare / He is like all other boasters’ [Isberg 1970: 52].

(59) Bv. *hán ɑ tɷɻe-sɑ́ sɔm hón* ‘Han är likadan som hon / He is the same as she’ [Ob.].

Examples where *tɷɻe-sɑ́* is nominalised (‘sådant / thing(s) like that; such one’):

(60) N. *han ha sɔa tɷɻe-sɑ́ ɔm anafoɻks dɻur* ‘Han har sagt sådant där om andras djur (förtrollat dem) / He has said things like that about other people’s cattle’ (i.e. bewitched it) [Danell 1951: 433].

(61) N. *sto ænt o dɛ́m tɷɻe-sɑ́* ‘Stå inte och prata (“döm”) sånt där! / Don’t be standing and saying things like those!’ [Ob.].

(62) Bv. *hɪd̯_ga lɪl̩ ɯsald lo̯mbe, tɷɻe-sɑ́ kan ɪgɡstæl gɔ́* ‘Det här lilla usla lammet, en sådan stackare kan ingenstans gå / This old small wretched lamb,

---

[32] Note *ɔ* instead of *ɷ* in *toɻe*; it is unclear whether this is a slip of pen or a real form; the vowels *ɔ* and *ɷ* sometimes do fluctuate in the dialect of Nuckö, cf. *boʂt* and *bɔʂt* ‘bristle’ [Danell 1951: 39].

[33] The paradigm of the pronoun *dylik* in the dialect of Lilla Rågö: singular *tɷɻendær, tɷɻen, tɷɻean* m., *tɷɻea* f., *tɷɻeð* n.; non-attributive plural *tɷɻer* m., *tɷɻear* f.; attributive plural *tɷɻe* in all genders [Ob.: entry “dylik”].

[34] Adjectival stems are indeclinable when used as first elements of compounds, e.g., *bro-gɻo̯d* ‘bråd-gjord / quickly made’, where *bro-* is an indeclinable form of an adjective, whose declinable (attributive singular) forms are *brɔan, brɔa, brɔt* [Danell 1951: 51].

such one can go nowhere' (*ga* is an apocopated form of 'gammal' used pejoratively).

Tiberg [Ob.: entry "samma", subentries "dylikt samma", "dyliks samma"] interprets these forms as 'dyliks samma' or 'dylikt samma', i.e. with the adverbs 'dylikt' or 'dyliks' (cf. Sw. *dylikes*) modifying 'samma'. This is not correct, because the nouns in these phrases are in the indefinite form (e.g., *tɷlʏe sa̱ fa̱ɻl*), which is required by 'dylik', whereas 'samma' requires the definite form of the noun. This means that 'samma' is attached to the pronoun 'dylik' here, and the noun is modified by 'dylik' rather than by 'samma'.

7.2.4. As for OSw. *sliker* 'such', it is corresponded by D. *ɻlɻ̱ʊ̱ǽr* m., *ɻlɻ̱ʊ̱ʏ̆* f., *ɻlɻ̱ʊ̱ft* n., pl. attr. *ɻlɻ̱ʊ̱ʏ̆,* non-attr. *ɻlɻ̱ʊ̱ʏ̆ar*, unstressed *ɻlɪʊ̱ʏ̆ær*, *ɻlɪʊ̱ʏ̆*, *ɻlɪt*, pl. *ɻlɪʊ̱ʏ̆*, *ɻlɪʊ̱ʏ̆ar* [Tiberg ms 1931a: 55a (ISOF, № 4560c)][35]; G. *slikär, slīk*, *slüft*, pl. attr. *slīk*, non-attr. *slikar*; N. *ɻɪk̲ɷr*, *ɻɪka*, *ɻɪft* [Isberg 1970: 289]. Most examples of the phrase 'slik samma' were recorded on Dagö: *ɻlɪʊ̱ʏ̆ær sa* m., *ɻlɪk*/*ɻɪk sa* f., *ɻlɪt sa* n., *ɻlɪk*/*ɻɪ̱k sa* attr. pl., *ɻlɪʊ̱ʏ̆*/*ɻlɪk*/*ɻlɪk sá̱nar* non-attr. pl. In the dialect of Nuckö (Bv.), Tiberg recorded only *ɻɪft sá̱* n. 'något sånt där / something like that' [Ob.]. Cf. the following examples from the dialect of Dagö, where 'slik samma' is used attributively:

(63a) *ɻlɪʊ̱ʏ̆ær sa ǽɪʊ̱ʏ̆* (m.) 'en sådan häst / such a horse' [Ob.].

(64b) *ɻlɪʊ̱ʏ̆ær sa lǽɪ̱t, som úɪ̱e ɪ̱ǽr* 'sådan färg, som ullen är av / such colour that the wool is' [Ob.].

(64) *ɻlɪk sa húsɪ̱ʏ̱* (f.) 'en sådan hustru / such a wife' [Ob.].

(65) *ɻlɪt sa bɷ̱́n* (n.) 'ett sådant barn / such a child' [Ob.].

(66a) *ɻlɪk sa ɷ́ʊ̱-gɬa̱sær* (pl.) 'sådana glasögon / such eyeglasses' [Ob.].

(66b) *ɻlɪ̱k sa paƀerɷ́sɪ̱d* (< Est. < Rus.) 'sådana där papyrosser / such papirosas (a kind of cigarettes)' [Ob.].

(66c) *ɻɪ̱k sa æ̱randær* 'sådana föremål / such objects' [Tiberg ms 1925a: 270].

Elis J. Ahlberg has provided an example with a phrase *slöft sat* (neut. sg.) from the same letter as in example 52:

(67) *Män om he går de färstå täs domhäjterna så ha ja kanske ha kont skriv mäjer slöft sat (sånt där)* 'But if it is possible ("if it goes") to understand these stupidities, so I would have been able to write more things like that'.

[35] Also written *ɻɪ̱k, ɻlɪk* by Tiberg; note also the fluctuation ɻ/ɪ.

In the Swedish dialects of Estonia, when a singular noun is modified by two adjectives, the first adjective can be used in a genderless (zero-ending, or indeclinable) form, e.g.:

(68) D. *brønsbɑ̰sn̥ ɻegær som æn stɵr hɵratær maḵ; gɯɻat o svartbrɵgatr̥* ‘„Brunnsbasen“ (a certain insect) creeps („sliker“) like a big hairy worm, yellowish and blackish’ [Tiberg ms 1925b: 366]. The adjectives *stɵr* ‘big’ and *gɯɻat* ‘yellow’ are zero-ending forms, gendered forms would be *stɵran*, *gɯɻatær*. Two years later, Tiberg recorded another description of this insect, in which both adjectives are gendered, i.e. have a masculine ending:

(69) *gɯɻandr̥ o svartær*, *æn hɵradr̥ maḵ* ‘yellow and black, a hairy insect’ [Tiberg ms 1927b: 677].

The zero-ending form of the first adjective is therefore not a strict regularity[36].

In the following sentence, the pronoun ‘slik’ in the phrase ‘slik samma’ is in an indeclinable form which is the same as the stem:

(70) D. *han har hɔndafæ̰l, ɻɪk sa fæ̰l som hɔnd hɑ̰r* ‘He has „dog’s disease“, the same disease that a dog has’ [Tiberg ms 1927b: 678]. This is an interesting example, because neither *ɻɪk* nor *sa* expresses gender in this phrase: *ɻɪk* is indeclinable because it stands in front of the other pronoun, *sa* is indeclinable by nature. The noun *fæ̰l* is masculine in the dialect of Dagö, which means that *ɻɪk* is really a zero-ending form here, the masculine form would be *ɻɪkær*.

When a plural subject is described by ‘slik’ and an adjective, ‘slik’ has a zero ending. A possible reason is that ‘slik’ functions as an attribute of the following adjective and therefore takes the plural attributive form which has a zero ending in EstSw. In the available examples, the construction “*slik* + plural adjective” occurs only in the predicative position:

[36] Note also a specific indeclinable form of the adjective “old”, *gaɻ*, which occurs in the dialect of Dagö as the first of two attributes: *gaɻ griɱt foḵk som uta trɵ ɹæ̰r* ‘Old cruel people which is without faith’ [Tiberg ms 1931: 1308] (the example is provided by Elis J. Ahlberg); *æn gaɻ vaǧær* (or *vaǧran*) *man* ‘en gammal hedersman / an old man of rank’, lit. “an old fine man” [Tiberg 1931a: II, 34]. Declined forms of this adjective in the dialect of Dagö are *gaɱɻan* (and *gaɱæɻ*) m., *gaɱæɻ* f., *gaɱæɻ* n., *gaɱɻar* non-attr. pl. [ibid.: II, 31].

(71) G. *Tom jära* ***slīk*** *stūraftndar häldär rīkar* ‘They are so stuck-up or rich’ (instead of **slikar stūraftndar*; *-ar* is an ending of the non-attributive plural form of adjectives).

(72) G. *Hins-fädrana tū ve änt, före he, än-dom jära svōrar, tom jära änt* ***slīk*** *dūnatar* ‘We didn’t take hens’ feathers because they’re heavy, they aren’t so downy’.

An example from Dagö, where ‘slik’ has a zero ending in front of a non-attributive plural adjective:

(73) *smɑ́hoˈkena bɪgɪ̯as*, *tom stɑ́r lægs lɑ́par pɑ́, ɻlɪk stɑrar som ænt kɑnas bɪgɪ̯as* ‘Small holes are “built” (darned), on big ones patches are put, (if the holes are) so big that they can’t be darned’ [Tiberg ms 1931: 1178].

A zero-ending form of ‘slik’ is also used before the non-attributive plural form of ‘same’ (D. *sɑ̱nar*, G. *sɑ̱ndar*) which, in its turn, only occurs after ‘slik’ in the available materials:

(74) *ɻlɪ̱ǧ sɑ́nar* (non-attributive pl.) ‘just sådana / precisely such (ones)’ [Ob.], *mɪn fɑ̱r gɪ̱ɔ̱ɖ ɻɪk sɑ̱nar* ‘my father made precisely such ones’ [Tiberg ms 1925a: 228].

(75) *kɑ́ɭ̱va fɑ ó uɖær ɻlɪ̱ǧ-sɑ́nar ɪ̯æða* ‘Kalvarna får också äta ur slika-sådana (hökorgar) / The calves also get food from such (hay baskets)’ [Tiberg ms 1933: 31].

(76) *ve hav ɻlɪk sɑ́nar* ‘Vi hade sådana / We had such (ones)’ [Ob.].

(77) *ɪ̯a, ɻlɪk sɑ̱́nar vɑr dom, ɪ̯ʊs̱t ɻlɪk sɑ́nar* ‘Ja, så där såg de ut, just så där / Yes, they were like that, exactly like that’ [Ob.].

(78) G. *slɪk sɑ̱́ndar* ‘just sådana / precisely such (ones)’ [Ob.].

7.2.5. Now let us consider phrases where ‘same’ is attached to adverbs. The are a number of examples from the dialects of Dagö and Vippal, where ‘same’ is added to the adverb *soṟs, soʂ, soʂ* (V. *sœʂ*) ‘so; this way’:[37]

[37] It is related to OSw. *svaledhis*, Sw. *således* [Karlgren ms: 85]. As the intervocalic *-dh-* (*ð*) disappears in most Swedish dialects of Estonia [Hultman 1939: § 198], the phonetic development of this form should have been **ˈsvaˌläiðis* > **ˈsoˌläis* > **soɭäis* (*l* ceased to be perceived as morpheme-initial and turned to a thick *l*) > **soɭes* > **soɭs*. The intramorphemic combination *ɭs* in the dialect of Dagö is either preserved or gives a retroflex (“cacuminal”) *s*, designated *ʂ* in the Swedish Dialect Alphabet: D. *hɑ̱ɭs*

D. *sors‿sa, sorsą́, soṣą́, sorṣa,* V. *sʊ̜ṣa* (< **sʊ̜ṣ-sa*) ‘så, på så sätt; utan vidare, direkt; ändå, utan närmare orsak / so, this way; without further ado, immediately; nevertheless, without any particular reason’. Tiberg recorded the following usage examples:

(79) D. *sors‿sa gl̲ʊ̜rd hon som hʊ̜nd* ‘She behaved exactly like a dog’ [Tiberg ms 1927b: 678].

(80) D. *tom ɻæra sorsą́ gl̲ʊ̜rd* ‘De är gjorda på så sätt / They are made this way’ [Ob.].

(81) D. *kåǧ̊ona l̲adest soṣą́ pɑ ógǧ̊s-golɻve* ‘Kakorna lades utan vidare på ugns-golvet / The cakes were put immediately on the oven floor’ [Ob.].

(82) D. *ɻa gɶ̄r‿e bara sorsą́* ‘Jag gör det utan närmare orsak / I do it nevertheless’ [Ob.].

(83) D. *sorṣa... som* ‘så... som / so... as’: *sorṣa lą́ggær som hą́nde* ‘så lång som en hand / so long as a hand’ [Ob.].

(84) V. *sʊ̜ṣa, ɐn* ‘så..., att / so... that’: *ɻa fą̊ŋast sʊ̜̀ṣa*, *ɐn ɻa knuǧ̊na* ‘Jag blev så rädd, att jag “kneknade” / I was so scared that my legs faltered’ [Ob.].

Karlgren gives G. *so‿ṣa* ‘så/so’, which he explains as *soṣ̲* ‘således’ + the genitive ending *-a* [Karlgren ms: 193]. I believe that it is actually **soṣ̲‿sa̲*, cf. D. *soṣą́.*

In the dialect of Ormsö, Gärdström [ms: 28] recorded *so-s̲a̲* ‘sålunda / thus, in this way’ as an equivalent of N. *so-saṣʈe*. Its first component is *soṣ̲* ‘så / so’[38]. According to Vendell, the adverb *sosa* ‘sålunda, så / thus,

---

‘neck’, *ha̲s̲* ‘id.’ [Tiberg ms 1931a: 57 (ISOF, № 4560a), 1962: 53]. However, in the contemporary dialect of Gammalsvenskby, the retroflex *s* disappeared, having given [ʃ]; *soṣ̲* [Karlgren: ibid.] is now pronounced [soʃ̲]. I suppose that on Dagö, the retroflex *s* also gave *ṣ* in the adverb ‘således’, i.e. **soɻs* > **soṣ̲* > *soṣ̲*. The postalveolar consonants *d, t, s* (< *rd, rt, rs*) are often pronounced as *rt, rt, rs* on Dagö [Tiberg ms 1931a: 53 (ISOF, № 4560a)], due to which the pronunciation *sors* appeared, as though *ṣ* in this word went back to **rs*. V. *sʊ̜ṣ* in **sʊ̜ṣ-sa* (together with LRg. *sö̜ṣ̊ṣ* ‘så / so; this way’ [Tiberg 1940: 331]) developed from **soɻs*; in the dialects of Vippal and Rågöarna *o* > *ö* (*ʊ̜*) before *ɻ* + consonants, cf. *föɻk* ‘people’ [Hultman 1894: § 55; Tiberg 1962: 38]. The change **o* > *ö* therefore indicates that this word originally contained *ɻs* rather than *rs*.

[38] The adverb *soṣ̲, sos* is also common in the dialect of Nuckö; Vendell recorded *sos* in all the dialects covered in his dictionary [Freudenthal, Vendell 1886: 205].

so' occurs in the dialects of Dagö, Gammalsvenskby, Nuckö, and Ormsö [Freudenthal, Vendell 1886: 205]. He also recorded *sossást* 'sålunda / this way' in the dialects of Nuckö and Ormsö [ibid.: 182, 205]; this is probably a superlative.

Interesting forms are *sosan* 'sålunda, så / this way, so' recorded by Vendell in Gammalsvenskby [Freudenthal, Vendell 1886: 205] (unfortunately, we currently have no usage examples of this form) and *so̯ṣan* recorded by Tiberg on Dagö in an interview with Greta Greis; she was a semi-speaker, but I see no reason to doubt the correctness of the following example (it was provided by Elis J. Ahlberg):

(85) *a̯n salmæn ɻær o̯tr̥ so̯ṣan...* 'The second verse ("psalm") is again this way...' [Tiberg ms 1925b: 423].

I explain these forms as a result of elision in **sosa-än*, **soṣṣa-än*, where *än* is a conjunction 'that'. These adverbs did not occur in my interviews, but the phrase *ˈsoṣṣ..., än* 'so much that; to such a degree that; in such a way that' is very common, e.g.:

(86) *Ēra värft ˈsoṣṣ, än-e bū̄na, än-där komm bl̥ū ˈū̄t* 'The ear hurt so much that it was inflamed, that there came out blood'.

Besides, in the contemporary dialect of Gammalsvenskby, we find a very frequent conjunction *soṣän* [ˈsoʃɛn] 'so; so that; in order to'; it could have superseded **soṣṣan*.

In the dialect of Vippal, 'same' is attached to the adverb *tɷlʴes* 'so; this way'[39], i.e. *tɷlʴe̯ṣáma, tɷlʴesáma, tɷlʴe̯ṣá* 'similarly, in the same way' [Ob.]:

(87) *tɷlʴe̯ṣáma gu̯o̯dest á̯gu̯ana mé̯ tɪl smá̯ dé̯u̯lar* 'På samma sätt (som åkrarna) gjordes ängarna också till små lotter (vid "landmälet" 1855) / In the same way (as the fields), the meadows were also made into small plots' (during the "land division" of 1855).

The fact that the form of the adverb is actually *tɷlʴes* rather than *tɷlʴe* is seen from the half-length in *tɷlʴe̯ṣáma, tɷlʴe̯ṣá*, i.e. 'dyliks-samma'.

It is supposed to be a contracted form of *so̯-vɪ̯s* 'this way' [Isberg 1970: 323], *sovɪs* [Danell 1951: 415].

[39] Cf. Sw. *dylikes* 'likaledes' [SAOB: D 2433].

In the dialect of Nuckö (Bv.), there is a form *tæ-ʂ̣á-fære* ‘därför, just därför / for that exact reason’ [Ob.]. The same form was recorded by Tiberg on Dagö: *tær-sá-fere* [Ob.] or *tærsá̠fære* [Tiberg ms 1926: 496]. Here, *sa̠* is inserted into *tærfære* ‘därför / for that reason’[40].

In the following example from Dagö, ‘same’ intensifies the adverb ‘here’:

(88) *han levd hær sa̠* ‘Han bodde här / He lived just here’ [Tiberg ms 1925b: 422].

7.2.6. A special case is the phrase *tolʵı sá̠stı* ‘på samma sätt / in the very same way’ recorded by Tiberg on Stora Rågö:

(89) *mæ for-bæɳına gɻ̊ǫ̊dıst_ı tolʵı sá̠stı* ‘Med fårbenen gjordes det på samma sätt / With the legs of sheep it (*-ı*) was done in the very same way’ [Ob.].

The form *sa̠stı* is clearly an adverb (it does not occur independently in the available materials), *tolʵı* is an indeclinable form related to the pronoun *tolʵındær* (see *Section 7.2.3*). The problem is the etymology of *sa̠stı* and the syntactic role of *tolʵı*. The following explanations can be suggested:

1. *sa̠stı* was derived with the adverb suffix *-ı* from the superlative **sāst* < **sā-ast* (this superlative is not attested on Stora Rågö); *tolʵı* is an adverb that intensifies *sa̠stı* which is the head of the phrase. Another example of *tolʵe* as an intensifier of an adverb is

(90) SRg. *om ónsˌ-loftı_e kvɻ̠́, so e ǫ̠́n tolʵı nǫ̠́ æ̠ɻlda* ‘Om ugnsloftet är vitt, så är ugnen minsann nog eldad / If the inner top of the oven is white (because of the heat), so the oven is fired quite (*tolʵı*) enough (*nǫ*)’ [Ob.: entry “dylik”, subentry “dylikt”].

Tiberg marked this *tolʵe* as “adv. pleonastiskt”, i.e. a pleonastically used adverb. Another form of the adverb ‘dylikt’ is SRg. *tolʵıd* ‘så, så väldigt / so, so much’: *han ha_ʈólʵıd_bróɻ̠* ‘Han har så bråttom / He’s in a great hurry’ [Ob.: entry “dylik”, subentry “dylikt”].

One may hypothesise that the adverb *tolʵıd* ‘dylikt, så / so’ has differentiated into *tolʵıd* and *tolʵı*, with the latter used exclusively as an intensifier. The trigger of the emergence of the form *tolʵı* could be such adverbs as SRg.

[40] Cf. *mæhesaǽɳ* below, where *sa* intensifies **mæ he ǽɳ*.

golı ‘already’, where *-lı* < OSw. *-liga* (Ob.: entry “gårliga”)[41]. Alternatively, the form *tolʵı* in the phrase *tolʵı nꙍ* has replaced *tolʵıđ* under the influence of such phrases as LRg. *tꙍlʵesą́ gą̲lʵ trǫ́ar* (example 57).

2. *tolʵı są́stı* may also have been derived as an adverb from **tolʵısą̲st*, superl. of **tolʵısą́* (this form does not occur in the available materials from Stora Rågö).

3. *tolʵı* is the same adverb as V. *tꙍlʵes* ‘so; this way’ in *tꙍlʵeʂáma, tꙍlʵeʂą́* (see example 80) + the adverbial superlative of *są̲* as an intensifyer, i.e. **tolʵıs są̲stı* > *tolʵı są̲stı*.

4. Elis J. Ahlberg (personal communication) suggests that *są̲stı* is the same form as N. *są̲ʂţe* ‘på samma sätt / in the same way’, see *Section 7.1*. According to Tiberg [1940: 329], the consonant *ʂ* which goes back to *lʵs* (unlike *ʂ* from *rs*) does not give *s* in the dialect of Rågöarna. However, in a later article, he gives SRg. *hass* ‘neck’ alongside LRg. *haʂʂ* [Tiberg 1968: 161, 189]. It cannot therefore be excluded that in the dialect of Stora Rågö, the consonant *ʂ* was being replaced with *s*. In this case, SRg. *są̲stı* and N. *są̲ʂţe* may historically be the same form, corresponding to Sw. *sammaledes*. To confirm this view, we need more data on the development of postalveolar consonants in the dialect of Stora Rågö.

7.3. In the dialect of Runö, there is an example where *sama* is nominalised and is governed by the preposition *ꙍpa* in *ꙍpa sáma* lit. “uppå samma”, i.e. ‘på samma sätt / in the same way’ [Ob.].

8. ‘Same’ in the dialect of Gammalsvenskby

In the younger dialect of Gammalsvenksby, the original pronoun ‘same’ went out of use and never occurred in my interviews. I suppose that the reason for this was its defective paradigm. In this dialect, those adjectival pronouns which can be used attributively are not indeclinable[42] and distinguish three genders in the singular; strong masculine and neuter forms of declined

[41] It should be noted that the adjective “gårlig / ready” in the dialect of Rågöarna has also developed two neuter forms, SRg. *golų̱t*/*golıđ* vs. *golų̱*, LRg. *golet* vs. *gole* [Ob.: entry “gårlig”].

[42] An exception is *sjöl̨va* ‘very’ (*po sjöl̨va brantan* ‘at the very precipice edge’, *üte sjöl̨va krubba* ‘in the very corner’) and *sol̨e* ‘self’, which are indecinable.

adjectives and adjectival pronouns never coincide. One would expect that the form *sā* should have developed a regular paradigm of monosyllabic adjectives with stems in long vowels, i.e. **sāär* m., **sā* f., **satt* n., attributive pl. **sā*, non-attributive pl. **sāar*, weak form **sā*; cf. *nīär, nī, nitt*, pl. *nī, nīar*, weak *nī* 'new' [Mankov 2017: 404]. However, this paradigm has not occurred in the available interviews and materials so far. The reason could be that the plural form **sāar* may be inconvenient because of a hiatus created by two vowels of the same quality[43]. Instead of **sāar*, the forms D. *sānar*, G. *sāndar* were made. Their diachronic structure is not fully clear. Given that D. *sānar* resembles such a plural as *gulʵanar*, it may be argued that *sānar* goes back to ***samanar* where the intervocalic *m* was lost, leading to the disappearance of the form with an intervocalic *m* (if we discard the doubtful form *sama* given by Lagus). Though this explanation looks economical and simple, it implies certain complications. The forms *sānar* and ***samanar* are non-attributive plurals, in this position adjectives are stressed; the loss of *m* in an expressly stressed position is doubtful. The disappearance of the form ***samanar* is also strange, taking into account the fact that *sama* and *sā* coexist in the dialects of Ormsö, Rågöarna, and Vippal. It could be supposed that ***samanar* was replaced with *sānar* under the influence of *sā*, but it is hard to prove.

I suppose that the forms *sānar* and *sāndar* were built on *sā* rather than on *sama*, i.e. only after the latter form had disappeared. The nearest source of *sānar*, *sāndar* could be the pattern of disyllabic adjectives with vocalic stems such as G. *likḷe-nd-är* m., *likḷe* f., *likḷet* n., *likḷe-nd-ar* non-attr. pl. 'happy' (the stem is *likḷe-*). To the plural *sāndar*, the strong masculine singular *sāndär* (recorded by Tiberg as *sa̧ndr̥*) was constructed. The forms *sāndär* and *sāndar* resemble the pronoun *āndär* 'another'[44] and the adjectives *vāndär* 'used to sth; accustomed', whose plural form,

[43] There is an adjective *gḷāär* 'glad', whose non-attributive plural is expected to be *gḷāar*, but this form never occurred in my interviews. Tiberg [Ob.: entry "glad"] recorded a non-attributive plural form *gʵa̧ar* in Gammalsvenskby (*a̧* is an extrashort *a*) and a contracted form *gʵa̧r* on Dagö. There are no other known forms with *ā*+*a* in Gammalsvenskby.

[44] *āndär* is, in its turn, also a secondary form built on *ān* 'another' by analogy with adjectives with stems in *n* (e.g., *grēndär* 'green'); historically, it is not the same form as Sw. *andra*. I will study the pronouns "(an)other" and "self" in a separate article.

recorded in an interview with a knowledgeable speaker, is *vāndar* (strong fem. is *vānd*, neuter did not occur) and *bḷindär*, *bḷind*, *bḷint*, non-attr. pl. *bḷindar*, weak *bḷind* ‘blind’. However, *sāndär* was very different from these adjectives, because such forms as fem. ***sānd*, neut. ***sānt*, weak ***sānd* did not exist. Furthermore, **sāndär* may resemble adjectives with stems in *n* like, e.g., *grēndär* (m.), *grēn* (f.), *gr*[ę]*nt* (n.), *grēnar* (non-attr. pl.), *grēn* (weak) ‘green’, though, again, the resemblance is only limited to the masculine singular, because the forms ***sān*, ***sānar* were not attested in Gammalsvenskby.The neuter form *slöft sat* (i.e. *sāt*?), which occurred in a letter of 1929 (see example 67), cannot be explained as a regular neuter form of monosyllabic vocalic stems, because all of them have a long *t* in the neuter: *bḷott, bräitt, dett, grott*, etc. (= Sw. *blått, brett, dött, grått*). The author of the letter expresses the length of final consonants, e.g., *skick* (*sk* shows the pronunciation [sk] rather than [ʃ/ɧ]), *kann*, *täss*, cf. *lat* (= *lāt*) (fem. sg. of *lātär* ‘lazy’), where *t* is short. The final *-t* in *sat* could therefore be secondarily added to adjust this form to the preceding neuter form *slöft*. Alternatively, as Elis J. Ahlberg suggests, the short *-t* could have been taken from such neuter forms as *likḷet*, the type which *sā* tended towards.

Interestingly, in the dialect of Dagö, Tiberg did not record a specifically masculine singular form (it would have been **sāndr̥*), the only declined form being *sānar*. Like in Gammalsvenskby, it used the pattern of disyllabic vocalic stems but did not go back directly to the disyllabic form **sama*.

It is clear that the paradigm that existed in Tiberg’s time in the dialect of Gammalsvenskby — strong masc. *sāndär* (alongside *sā*), pl. non-attr. *sāndar* and *sā* in other positions — was disproportionate and incongruous: firstly, it did not distinguish between the feminine and neuter and, secondly, used the endings *-ndär* and *-ndar* which never occur with any other monosyllabic stems terminating in long vowels (that the stem is synchronically an open monosyllable was clear to the speakers because of the form *sā*). The paradigm of the pronoun was therefore so bizarre that the language failed to incorporate it into the system of morphology. In this situation, the following scenarios are thinkable: (a) to continue using the existing irregular form, (b) to replace it with some native equivalent, (c) to replace it with a loanword, (d) to replace it with a calque of a foreign word or phrase. In the dialect of Vippal, Rußwurm [ms.: 49] recorded *han*

shjöle ‘the same’[45]; this phrase looks like a calque of Germ. *derselbe* or Rus. *мот же самый* lit. ‘that very self’, i.e. ‘the same’. Unfortunately, this is not a secure example of a calque, because, as Elis J. Ahlberg suggests (personal communication), it may be a form specifically constructed by the speaker to match the input language (Sw. *utfrågningsform*), which in Rußwurm’s case was German[46].

The dialect of Gammalsvenskby has chosen the second scenario. The only expression of the notion ‘same’ came to be the indefinite pronoun ‘one’ (*än* m., *äin* f., *äitt* n.) used in two ways as: (a) free definite article *han(n)* m., *hon(n)* f., *he* n., *tom* pl. + the weak form *äin*; and (b) the strong neuter form *äitt*. Jan Utas (1905–1976), who compiled a large manuscript dictionary of the dialect of Gammalsvenskby, points out that Sw. *samma, detsamma* are corresponded in Gammalsvenskby by the phrase *hann äin* m., *honn äin* f., *he äin* n., literally ‘the one’, where *äin* is a weak form of the indefinite pronoun *än* ‘one’ used after the free definite article. He gives the following examples:

(91) *Hann äin daen somm ja komm häim, do̱ gamm⌊far å* ‘The same day that I came home, grandfather died’[47],

(92) *Äin go̱ jul ott jar! — Tack! He äin (ott jar ō̱)* ‘Merry Christmas to you! — Thanks! The same (to you too)’.

---

[45] He describes *sh* as “weich aspiriert” and similar to Russian *ж* [Rußwurm 1855: 6, § 403].

[46] Tiberg, who studied Rußwurm’s MSs, notes that when Rußwurm asked to give dialect equivalents of such phrases as ‘der große Gott’, ‘des guten Freundes’, ‘dem hohen Himmel’, the speakers either answered in Standard Swedish (*den store Gud*) or gave a mixture of dialect and Standard Swedish (*dett goda wennes, den hauan himmol*). When confronted with ‘des strengen Richters’, ‘den kühnen Feinden’, the speakers failed to provide equivalents. However, such phrases as ‘das kleine Kind’ were translated “correctly”: *he lilch båne = he lɪ̇l bo̱ne* [Tiberg 1943–1944: 221]. This is not surprising, because the dialect speaker was in all likelihood confused when asked to translate phrases which sounded either foreign or ridiculous to him, whereas ‘the little child’ sounded natural and was therefore provided with a genuine dialect equivalent. As for ‘der große Gott’, it is clear that such phrase should be given a Standard Swedish and not a dialect equivalent, because the language of church and religion was Swedish.

[47] In Utas’s representation of the dialect, *o̱* is [uː], *ō̱* [ɔː], *å* [oː], *⌊* is [ɽ], i.e. a “thick” *l*.

(93) *he gär he äin ut* ‘det gör detsamma / it’s the same’.

(94a) *på honn äin gonga* ‘the same time’.

(94b) *på he äin vise* ‘in the same manner’ [Utas ms: 2253].

Kristina Knutas (1876–1958), a speaker of the dialect of Gammalsvenskby, used the same forms in her writing. Cf. the examples provided by Elis J. Ahlberg; the original spelling and punctuation are fully preserved here:

(95) *Å så bläi ja feresåva än ja å har stäl på han äin gåden som dotra* ‘And so I was told that I too have a place at the same farmstead as my daughter’ [Levnadsbeskrivning (ms): 43].

(96) *Ja var grant fräidle än ja slipper tit på han äin gården som min doter* ‘I was quite glad that I can go to the same farmstead as my daughter’ [ibid.: 44].

(97) *To der do äin köda så vare he äin kon dom fi* ‘When there died a cow, so it was the same barley (that) they got’ [ibid.: 27].

(98) *Bona bläj mä äuvana girad uth, o min man he äin* ‘The children got their eyes popped out (“became with the eyes right out”), and my husband the same’ [ibid.: 28].

(99) *Husch ska teta bere gå oh öte mit samwet sukkast he ein* ‘How will it be going, and the same was sighing (?) in my conscience’ [ibid.: 4].

(100) *Å så fi dom gå öte tåm äin gårda, som bläi de brulåps ropa* ‘And so they had to go to the same farmsteads that were called to the wedding’ [Brev på Gammalsvenskbymål (ms): 30].

John Hoas in his vocabulary translates ‘same’ as *he äin* [Hoas ms: 235][48].

By the 21st century, the construction *han, hon, he, tom äin* seems to have become infrequent. It occurred only a couple of times in my interviews, and only in the neuter, *he ˈäin*[49].

Attributive:

---

[48] He also provides the equivalent *he samma*, but it is clearly a Standard Swedish form.

[49] Here it should be noted that Russian also uses a two-word phrase to express the notion ‘the same’: *такой же* or *тот же* (literally ‘such exactly’ and ‘that exactly’). However, G. *he ˈäin* cannot be regarded as its calque and is rather a native formation.

(101) *Tom jära he ˈäin foḷke soṣsom ve* ‘They (the Russians) are the same people as we’.

Nominalised:

(102) *Hon kḷēär kvā-ḍāen po se mäseä́itt he äin* ‘She always puts on the same [clothes] everyday’.

The present-day speakers in Gammalsvenskby use the strong neuter form *äitt* irrespective of the gender and number of the noun; it is always stressed. The following examples occurred in my interviews:

(103) *Näst me jā̄r-e ˈäitt, po kofär tā̄l, än ja toḷar, po svänsk häldär po riss* ‘To me, it’s the same which language I speak, Swedish or Russian’.

(104) *Vatne vār änt kvār ōre ˈäitt po höüläiken* ‘The water wasn’t the same height every year’.

(105) *Īsn jā̄r änt allastä́ll ˈäitt, o de kann brūtas ˈgirm* ‘The ice is not the same everywhere, and you can fall through’,

(106) *Tom jära* (*grād*) *ˈäitt* ‘They are (exactly) the same’.

(107) *Tom jära bōar ˈäitt po vaksn* ‘They are of the same height’.

(108) *Ve hōa ˈäitt rokkar* ‘We have the same dresses’.

Originally, *äitt* was the indefinite pronoun ‘one’ nominalised in the strong neuter form[50]. Most naturally, it was used in phrases like *näst me jā̄r-e ˈäitt*, then it found its way into such phrases as *īsn jā̄r änt allastä́ll ˈäitt* where it does not agree in gender with the noun (*īs* ‘ice’ is masculine) and, finally, it came to be used attributively as an indeclinable adjective in, e.g., *ve hōa ˈäitt rokkar*. In the latter case, one would expect the plural form of the pronoun *än* which should be *äin* in the dialect. However, it is practically not used[51], and such a sentence as **Ve hōa ˈäin rokkar* does not sound correct, which has facilitated the use of *äitt* in similar sentences.

It should be noted that the dialect of Nuckö makes use of strong gender-inflected forms of the pronoun ‘one’ in the meaning ‘the same’: *han*

[50] Of a similar type as, e.g., Sw. *inget* ‘nothing’ in *Det är inget att oroa sig över* ‘There is nothing to worry about’ or *gammalt* in *sedan gammalt* ‘since a long time ago’.

[51] One of the reasons is that it coincides with the strong feminine singular which is also *äin*.

stǫr ǫpa æn̲ fl̥ræk̲ (masc.) ‘Han står på samma plats / He stands on the same place’ [Danell 1951: 108], *vora ɯte æɻt bre̲* (neut.) ‘äta vid samma bord / to eat at the same table (“to be at one bread”) [ibid.: 54], *he æ alt æɻt* ‘det är allt ett, det gör detsamma / it’s all the same, it doesn’t matter’ [ibid.: 3]. This usage of *än* did not occur in my interviews.

The pronoun *sā* never occurred in interviews with present-day speakers of the dialect of Gammalsvenskby. However, it has not disappeared without trace, surviving in the adverb ‘always; all the time’: *mäseǻitt* [-t(ː)] (in interviews with Anna Lyutko and Lidia Utas), *mäseǻint* (in interviews with Melitta Prasolova). This is the main word for ‘always’ in the dialect[52]; its usage examples include:

(109) *Hon striss mäseǻit mä allar* ‘She’s always having rows with everybody’.

(110) *Snērena bindas mäseǻitt ipet näst me* ‘My shoelaces are always untying’.

(111) *Tēr gī mäseǻitt buskan ˈnē-ḍe drikk fron lande* ‘There the cattle used to go down from the steppe to drink’.

(112) *Ja lēsär mäseǻitt grinde ˈfast tjõl̥ nōte* ‘I always lock the gate for the night’.

(113) *Han kl̥üss ˈsundär, umm-de mäseǻitt huggär opǫ́ pō-en* ‘It (the log) will split asunder if you keep cutting on it all the time’.

(114) *Tom jaxt mäseǻitt opǫ́* ‘They’re always making noise’.

(115) *Um-de änt a lēa mäseǻitt, so-de a kā̄nd-de bätrare* ‘If you didn’t lie all the time, you would feel better; *Ja känndär me som mäseǻitt* ‘I feel as always’.

(116) *Ve hāv mäseǻint fisk, brā̄st, o kūka, o torrka* ‘We always had fish — fried, and boiled, and dried.’

This adverb is not found in any other Swedish dialect of Estonia but Gammalsvenskby. The element *sa* is not identifiable on the synchronic level and is only discerned etymologically. The key to understanding this word is the form *mæhesaǽɻn,* recorded by Tiberg [Ob.] alongside the contracted forms *mesaǽɻn, mɪsaǽɻn.* Originally, this is **mä he-sā ˈäin*, literally ‘med det samma ena / with the same one’, i.e. ‘ideligen / continually’. I suppose that previously the dialect possessed the following idioms to express the idea

[52] A cognate of Sw. *alltid* ‘always’ did not occur in my interviews, though Tiberg recorded G. *al̲te*, *altɪ, al-tɪ̯ar*, *al̲tɪæ̯r* [Ob.].

of continuity in time: **mä äitt*, *mä äitta* (lit. ‘with one’), and **mä he äin* (‘with the one’). The first one has a cognate in, e.g., the dialect of Nuckö: *mæɻt, mæ eɻ* “med-ett”, i.e. ‘ständigt, jämt / constantly’ [Danell 1951: 270]; the second was recorded in Gammalsvenskby by Vendell: *määitta*, *mäitta* ‘jämt och ständigt / constantly’ [Freudenthal, Vendell 1886: 151][53]. In the third one, the pronoun *sa* was inserted to intensify *he*, hence *mä he-sā ˈäin*. The forms *mäseä̆itt*, *mäseä̆int* only occurred with *e* in the second syllable; *e* instead of *a* may be due to the change *a* > *e* between two front vowels. The form *mäseä̆itt* is probably a contamination of **mesaä̆in* and **me äitt*. The final *-t* in *mäseä̆int* was added by analogy with adverbs in *-t*.

9. Conclusions

The forms of the pronoun ‘same’ in the Swedish dialects of Estonia are Nuckö *sā*, Ormsö *samu*, Rågöarna *sā* and *samu*, Vippal *sama* and (in compounds) *-sä̆*, Dagö *sā* and *sama*, Gammalsvenskby *sā*, Runö and Nargö *sama*. The monosyllabic form *sā* goes back to OSw. *sama* (masculine acc. sg.) used in the unstressed position and for this reason not subject to the change of the root *a* to *o* in the string *aCa*. The form *samu* reflects OSw. *samu*, fem. acc. sg. (and pl. of all genders). The form *sama* in the dialect of Vippal is probably a contamination of forms which go back to OSw. *samu* (or *sami*) and *sama*, with the root vowel taken from the former and the ending from the latter. The form *samœnd* probably appeared together with N. *allun* ‘all (people), everybody’ and *ārun* ‘other(s)’ by analogy with N. *ingen* ‘no, nobody’ and *nuen* ‘some, somebody’.

The monosyllabic form *sā* appeared due to the loss of *m*, which probably first happened when the pronoun was used as an enclitic or an unstressed element of a compound, and later the shortened form was generalised in several dialects. The disappearance of the intervocalic *m* is not regular in the Swedish dialects of Estonia and takes place in a very small group of words where the originally short *m* stood between two *a*’s. Such forms did not undergo the change *aCa* > *oCa* (this change is regular in these dialects) because of the originally unstressed position which these forms were used in.

[53] *äitta* is a neuter non-attributive form of the pronoun *än*.

The pronoun ‘same’ is indeclinable in the Swedish dialects of Estonia; it is only in the dialects of Dagö and Gammalsvenskby that it developed inflected forms: G. *sāndär* (strong m. sg., used only non-attributively), *sāt* (strong n. sg.), *sāndar* (non-attributive pl.), D. *sānar*. It is suggested that the plural forms *sānar* and *sāndar* appeared first; they are based on the pattern of disyllabic adjectives with vocalic stems (e.g., G. *likḷe-nd-ar* ‘happy’, non-attr. pl.). In the dialect of Gammalsvenskby, the strong sg. *sāndär, sāt* were constructed to this plural form.

As for its syntagmatic behaviour, when this pronoun is used attributively, it invariably requires the definite form of the noun in all Swedish dialects of Estonia. The free definite article is often absent in noun phrases with ‘same’, though this is only true of the dialects of Nuckö, Ormsö, Runö (e.g., N. *sā fläcken* ‘the same place’). We have no examples from the other dialects which would lack the free definite article (cf. LRg. *hann sā fläcken*, where *hann* is the free definite article).

As for its use as an element of compounds, the only example where ‘same’ occurs as the first element is N. *sa̲ft(e)* ‘in the same way’ < * ˈ*sama-ˌläiðis* (cf. Sw. *sammaledes*). There are many examples where ‘same’ is attached to demonstrative pronouns as an emphasising particle meaning ‘here; right, exactly’, e.g., N. *hısn̥ sa̲* and *hısn̥-sá* m. ‘this’ (or ‘this here’), *he sa̲* n. ‘that’, LRg. *han sá* m. ‘that’, *hon sá* f. ‘that’, N. *tɷɬe-sá*, *tɷɬe sa̲* ‘such’, LRg. *tɷɬesá* ‘id.’, O. *to̲ke-sa̲* or *toke-sa̲* ‘id.’, D. *ɻlıǧær sá* ‘id.’, G. *slöft sat* n. ‘id.’ As for adverbs, ‘same’ intensifies the adverbs meaning ‘so’ and ‘here’: D. *sors‿sa, sorsá, soṣá, sorṣa* ‘(exactly) so’, V. *sɷṣa* ‘id.’, G. *so‿ṣa* ‘id.’, O. *so-s̲a̲* ‘id.’, V. *tɷɬeṣáma, tɷɬesáma, tɷɬeṣá* ‘similarly, in the same way’, D. *hær sa̲* ‘just here’.

In the dialect of Gammalsvenskby, the history of this pronoun was particularly dramatic. After failed attempts to incorporate it into the regular morphological pattern, it went out of use and was replaced with the pronoun ‘one’ used in the weak form with the free definite article: *han, hon, he, tom äin*. This phrase was in frequent use in the first half of the 20th century, but by the 21st century, it came to be replaced with the indeclinable form *äitt*, used both predicatively and attributively. The only remnant of the old stem ‘same’ in this dialect is the adverb *mäseäitt* (or *mäseäint*) ‘always’ which goes back to *mä he sa ˈäin*, lit. ‘with the same one’.

Abbreviations

Bv. — Bakväldet, D. — Dagö, EstSw. — Swedish dialects of Estonia, Estonian Swedish, Fv. — Framväldet, G. — Gammalsvenskby, LRg. — Lilla Rågö, N. — Nuckö, Ng. — Nargö, O. — Ormsö, Odh. — Odensholm, OSw. — Old Swedish, R. — Runö, Rg. — Rågöarna, Rk. — Rickul, SRg. — Stora Rågö, V. — Vippal.

References

Appelgren 1997 — S. Appelgren. *Estlands svenskar och svenskbygd. Bibliografi* [Estonian Swedes and their settlements. A bibliography]. (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi, XXXVIII. Estlandssvenskarnas folkliga kultur, 8). Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 1997 (in Swedish).

Blumfeldt 1961 — E. Blumfeldt. Estlandssvenskarnas historia [Estonian Swedes' history]. E. Lagman (ed.). *En bok om Estlands svenskar* [A book about Estonian Swedes]. Stockholm: Kulturföreningen Svenska odlingens vänner, 1961. P. 65–178 (in Swedish).

Danell 1905–1934 — G. Danell. *Nuckömålet* [The dialect of Nuckö]. Stockholm: P.A. Norstedt & söner, 1905–1934 (in Swedish).

Danell 1951 — G. Danell. *Ordbok över Nuckömålet* [A dictionary of the dialect of Nuckö]. (Skrifter utgivna av Kungl. Gustav Adolfs akademien, 27). Uppsala; Copenhagen: A.B Lundequistska bokhandeln; Ejnar Munksgaard, 1951 (in Swedish).

Eriksson 1961 — M. Eriksson. Svensk ljudskrift 1878–1960. *Svenska landsmål och svenskt folkliv*, 1961. Hf. 280 (in Swedish).

Estlandssvenskt material — *Estlandssvenskt material. Dokumentation av estlandssvenskarnas och gammalsvenskbybornas språk och folkkultur* [Material of Swedish dialects of Estonia. Documentation of the dialects of Estonian Swedes and of their folk culture]. Available at: https://www.isof.se/folkminnen/vara-folkminnesarkiv/tematiska-samlingar/estlandssvenskt-material (accessed 04.12.2024; in Swedish).

Freudenthal, Vendell 1886 — A. Freudenthal, H. Vendell. *Ordbok öfver estländsk-svenska dialekterna* [A dictionary of Swedish dialects of Estonia]. Helsinki: Tidnings- & tryckeri-aktiebolagets tryckeri, 1886 (reprinted by Kulturföreningen Svenska Odlingens Vänner, Stockholm, in 1982; in Swedish).

Haugen 1976 — E. Haugen. *The Scandinavian Languages. An Introduction to their History*. London: Faber and Faber, 1976.

Hesselman 1931 — B. I. Hesselman. Studier i svensk formlära. 2. Nominativ och ackusativ i svenska substantiv [Studies in Swedish morphology. Nominative and accusative of Swedish nouns]. *Nysvenska studier: tidskrift för svensk språk- och stilforskning*. 1931. Vol. 11. P. 201–254 (in Swedish).

Hultman 1894 — O. F. Hultman. *De östsvenska dialekterna* [East Swedish dialects]. Helsinki: Tidnings- & Tryckeri-Aktiebolagets tryckeri, 1894 (in Swedish).

Hultman 1939 — O. F. Hultman. *Efterlämnade skrifter, II* [Posthumous works, pt. II]. Helsinki: Svenska litteratursällskapet i Finland, 1939 (in Swedish).

Isberg 1970 — Fr. Isberg. *Supplement till G. Danells Ordbok över Nuckömålet* [Supplement to G. Danell's Dictionary of the dialect of Nuckö]. (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi, XLVII). Uppsala: AB Lundequistska bokhandeln, 1970 (in Swedish).

Kock 1884 — A. Kock. *Språkhistoriska undersökningar om svensk accent, II* [Historical studies of the Swedish stress]. Lund: C.W.K. Gleerup förlag, 1884 (in Swedish).

Kristoffersen 2008 — Gj. Kristoffersen. Level Stress in North Germanic. *Journal of Germanic Linguistics*. 2008. Vol. 3. P. 87–159. DOI: 10.1017/S1470542708000044.

Kuzmenko 1991 — Ju. K. Kuzmenko. *Fonologicheskaya evolyutsiya germanskikh yazykov* [Germanic languages: Phonological evolution]. Leningrad: Nauka, 1991 (in Russian).

Lagman 1979 — E. Lagman. *En bok om Estlands svenskar. 3A. Estlandssvenskarnas språkförhållanden* [A book about Estonian Swedes. Linguistic traits of Swedish dialects of Estonia]. Stockholm: Kulturföreningen Svenska Odlingens Vänner, 1979 (in Swedish).

Lagman 1990 — E. Lagman. *En bok om Estlands svenskar. 3B. Estlandssvenskar berättar. Dialekttexter med översättning och kommentar* [A book about Estonian Swedes. Narratives in Estonian Swedish. Dialect texts with translation and commentary]. Stockholm: Kulturföreningen Svenska Odlingens Vänner, 1990 (in Swedish).

Lundström 1937 — G. Lundström. Nyländsk syntax [Syntax of the dialects of Nyland]. *Svenska landsmål och svenskt folkliv*. 1937. Hf. 3 (in Swedish).

Mankov 2017 — A. Mankov. Gammalsvenskbydialekten: En översikt av morfologin [The dialect of Gammalsvenskby: An outline of its morphology]. J.-O. Östman, C. Sandström, P. Gustavsson, L. Södergård (eds.). *Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10*. (Nordica Helsingiensia 48. Dialektforskning 5). Helsingfors: Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet, 2017. P. 401–412 (in Swedish).

Mankov 2019 — A. Mankov. The Dialect of Gammalsvenskby: an Outline of its Phonology. *Svenska landsmål och svenskt folkliv*. 2019. Vol. 142. P. 67–105.

Mankov 2024 — A. Mankov. On Thick L. *Indoyevropeyskoye yazykoznaniye i klassicheskaya filologiya*. 2024. № 28. P. 1883–1894. DOI: 10.30842/ielcp2306901528119.

Noreen 1904 — A. Noreen. *Altnordische Grammatik II: Altschwedische Grammatik mit Einschluss desAltgutnischen*. Halle: Verlag von Max Niemeyer, 1904.

Rosenkvist 2018 — H. Rosenkvist. Estlandssvenskarna — en historisk och språklig bakgrund [Estonian Swedes — historical and linguistic background]. H. Rosenkvist (ed.). *Estlandssvenskans språkstruktur* [Linguistic structure of Swedish dialects of Estonia]. Göteborg: Göteborgs universitet, 2018. P. 7–31 (in Swedish).

Rußwurm 1855 — C. Rußwurm. *Ueber die Sprache der Inselschweden. Sondernabdruck aus Eibofolke oder die Schweden in den Küsten Ehstlands und auf Runö*. Reval; Leipzig: Fr. Fleischer, 1855.

SAOB — *Svenska Akademiens ordbok över svenska språket* [Dictionary of the Swedish language published by the Swedish Academy, vols. 1–39]. Lund, 1898–2023. Available at: https://www.saob.se/ (accessed 15.10.2025).

Schlyter 1877 — D. C. J. Schlyter. *Glossarium ad Corpus iuris Sueo-Gotorum antiqui. Ordbok till Samlingen af Sweriges Gamla Lagar* [A dictionary of the Old Swedish laws]. Lund: C. W. K. Gleerup, 1877 (in Swedish).

Söderwall 1884–1918 — K. F. Söderwall. *Ordbok över svenska medeltids-språket, I–II* [A dictionary of Mediaeval Swedish]. Lund: Berlingska boktryckeri- och stilgjuteri-aktiebolaget, 1884–1918 (in Swedish).

Tiberg 1940 — N. Tiberg. Rågösvenskan [The dialect of Rågö]. P. Söderbäck (ed.). *Rågöborna* [Swedes of the islands of Rågö]. (Nordiska museets handlingar, 13). Stockholm: Fritzes Kungl. hovbokhandel, 1940. P. 327–356 (in Swedish).

Tiberg 1943–1944 — N. Tiberg. Från den estlandssvenska undersökningen. En samling Rußwurm-manuskript i ULMA [From the studies of Estonian Swedes. A collection of Rußwurm's manuscripts at Uppsala archive]. *Svenska landsmål och svenskt folkliv*. 1943–1944. Hf. 3–4. P. 208–227 (in Swedish).

Tiberg 1962 — N. Tiberg. *Estlandssvenska språkdrag* [Linguistic traits of Swedish dialects of Estonia]. (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi, XXXVIII. Estlandssvenskarnas folkliga kultur, 6). Uppsala; Copenhagen: AB Lundequistska bokhandeln; Ejnar Munksgaard, 1962 (in Swedish).

Tiberg 1968 — N. Tiberg. Estlandssvenska Upsalaundersökningen [Studies of Swedish dialects of Estonia at Uppsala]. E. Nyman (ed.). *Estlands svenskar 25 år i Sverige. Jubileumsskrift. Kustbon 1944–1968* [Estonian Swedes: 25 years in Sweden. Anniversary collection of articles. The Coast Residents, 1944–1968]. Stockholm: Kulturföreningen Svenska Odlingens Vänner, 1968. P. 159–227 (in Swedish).

Vendell 1881 — H. Vendell. *Laut- und Formlehre der schwedischen Mundarten den Kirchspielen Ormsö und Nuckö in Ehstland*. Akademische Abhandlung. Helsinki: J. C. Frenckell & Sohn, 1881.

Vendell 1882–1887 — H. Vendell. *Runömålet. Ljud- ock formlära samt ordbok* [The dialect of Runö. Phonetics, morphology, and dictionary] (Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folkliv. Hf. 19, 26). Stockholm: Kongl. boktryckeriet P. A. Norstedt & söner, 1882–1887 (in Swedish).

Vendell 1904–1907 — H. Vendell. *Ordbok över de östsvenska dialekterna* [A dictionary of East Swedish dialects]. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, LXIV, LXXI, LXXV, LXXIX). Helsinki: Tidnings- & tryckeri-aktiebolagets tryckeri, 1904–1907 (in Swedish).

Wessén 1965: E. Wessén. *Svensk språkhistoria. I. Ljudlära och ordböjningslära* [A history of the Swedish language. Phonetics and morphology]. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1965 (in Swedish).

Sources

Ahlström ms. — S. Ahlström. *Liten ordlista för Ormsömålet*.

Brev från andra Gammalsvenskbybor (ms.) — *Brev från andra Gammalsvenskbybor (andra än Kr. Knutas) till fil. lic. N. Tiberg jämte dels avskrifter, dels översatta av de brev som är på dialekt*. ISOF, № 4572.

Brev på Gammalsvenskbymål (ms.) — *Brev på Gammalsvenskbymål i skilda ämnen*. ISOF, № 4571.

Gärdström ms. — T. Gärdström. *Ormsömålet, parallellupplaga till Nuckömålet*. ISOF, № 1121.

Hoas ms. — J. Hoas. *Swedish-English-Dialect Dictionary. Gammalsvenskby*. 1963(?). ISOF № 36314.2.

Karlgren ms. — A. Karlgren. *Manuskript till ordbok över gammalsvenskbymålet*. ISOF, № 25555.

Lagus 1929 (ms.) — E. Lagus. *Ordsamling från Dagö*. Folkmålskommissionens samlingar 10 b, Institutet för de inhemska språken, Helsinki.

Levnadsbeskrivning (ms.) — *Knutas, Kristina Mikaelsdotter. Levnadsbeskrivning på Gammalsvenskbymål*. ISOF, № 4570.

Ob. — N. Tiberg. *Estlandssvensk kortordbok*. ISOF.

Pöhl ms. 1944 —*Typord för undersökning av de svenska folkmålen. Estland, Lilla Rågö. Enligt meddelande av Rain Pöhl*. ISOF, № 17102.

Pöhl ms. 1950 — R. Pöhl. *Språkliga kommentarer till Tiberg, "Rågösvenskan"*. 1950. ISOF, № 20629.

Rußwurm ms. — C. Rußwurm. [*XXXIV. Ordförteckning med dialektala uppslagsord*][54]. ISOF.

Tiberg ms. 1923 — N. Tiberg. *Anteckningar från en resa till Finland och Estland 24.7.23 — 31.8.23*. ISOF, № 2765 A.

Tiberg ms. 1925a — N. Tiberg. *Anteckningar från en resa till Estland sommaren 1925. 6.6.25 — 24.7.25*. ISOF, № 2765 B–C.

Tiberg ms. 1925b — N. Tiberg. *Anteckningar från en resa till Estland sommaren 1925. 6.6.25 — 24.7.25*. ISOF, № 2765 D–E.

Tiberg ms. 1926 — N. Tiberg. *Anteckningar från en resa till Estland 21.6.26 — 4.8.26*. ISOF, № 2765 F.

Tiberg ms. 1927a — N. Tiberg. *Anteckningar från en resa till Estland. 16 juni 1927 — juli 1927*. ISOF, № 2765 G.

Tiberg ms. 1927b — N. Tiberg. *Anteckningar från en resa till Estland. 16 juni 1927 — juli 1927*. ISOF 2765 H.

Tiberg ms. 1929a — N. Tiberg. *Resa till Estland. 18.6.1929 — 28.7.1929*. ISOF, № 2765 I–J.

[54] This description of the MS was proposed by Tiberg [1943–1944: 215].

Tiberg ms. 1929b — N. Tiberg. *Resa till Estland. 18.6.1929 — 28.7.1929*. ISOF, № 2765 K–L.
Tiberg ms. 1929c — N. Tiberg. *Resa till Estland. 18.6.1929 — 28.7.1929*. ISOF, № 2765 N.
Tiberg ms. 1930a — N. Tiberg. *Dagö*. ISOF, № 2765 O.
Tiberg ms. 1930b — N. Tiberg. *Dagö*. ISOF, № 2765 P.
Tiberg ms. 1931a — N. Tiberg. *Anteckningar om dagösvenskans ljud- och formlära, I–II*. 1931. ISOF, № 4560a–c.
Tiberg ms. 1931b — N. Tiberg. [*Dagbok 1931*]. ISOF, № 2765 Q.
Tiberg ms. 1931c — N. Tiberg. [*Dagbok 1931*]. ISOF, № 2765 R.
Tiberg ms. 1931d — N. Tiberg. [*Dagbok 1931*]. ISOF, № 2765 S.
Tiberg ms. 1932 — N. Tiberg. *Estland 1932. Dagö*. ISOF, № 4585.
Tiberg ms. 1933 — N. Tiberg. *Estland 1933. Dagö*. ISOF, № 6076.
Tiberg ms. 1934 — N. Tiberg. *Estland 1934. Dagö*. ISOF, № 7502.
Utas ms. — J. Utas. *Gammalsvenskby-dialekten: ordförråd, böjningar — som den talades strax före den ryska revolutionen*. ISOF, № 31536.

Получено / received 15.03.2025 *Принято / accepted 2.07.2025*

Acta Linguistica Petropolitana. 2025. Vol. 21.2. P. 241–269
DOI: 10.30842/alp23065737212241269

English accents: attitudes among UK speakers and bilinguals

Svetlana V. Kirilenko
Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia);
svetlanavk@inbox.ru; ORCID: 0000-0001-7902-6032

Abstract. In language attitude research, speakers' preferences within multilingual communities are examined to assess prestige or stigmatization, both of which can influence the sustainability of a variety. Extensive research has examined attitudes toward standard language variants and dialects, shedding light on how speakers of these varieties are perceived. However, studies exploring bilingual speakers' attitudes toward standard language varieties remain relatively scarce. This gap in the literature serves as the foundation for the present study. The primary objective of this research is to provide a detailed overview and analysis of the prevailing attitudes of the ten most widely recognized English accent varieties, along with an examination of prevailing attitudes toward each. A secondary objective is to determine whether bilingual speakers whose first language is not English exhibit accent-related biases similar to those commonly found among UK citizens. The study focuses on two key dimensions of language attitudes: the affective component, which encompasses emotional responses, and the cognitive component. The affective aspect is instrumental in understanding how speakers of various linguistic variants are perceived, whereas the cognitive aspect reflects beliefs about an accent's status and appropriateness. The findings of this study indicate that, for most accents, reactions are predominantly negative, ranging from mildly unfavourable to highly negative. The primary exception is Received Pronunciation (RP), which is widely regarded as the 'correct' accent, with Estuary English occasionally receiving more favourable evaluations. Additionally, the field study analysing the attitudes of educated bilinguals who participated in the survey reveals that, while their perceptions generally align with those commonly observed in the UK, divergences exist in their evaluations of General Northern English, Estuary English, and Multicultural London English.

Keywords: language attitudes, accents of the English language, attitudes of bilinguals, sociolinguistics, language prestige, accent bias.

Акценты английского языка: установки носителей и билингвов в Великобритании

С. В. Кириленко
Институт языкознания РАН (Москва, Россия); svetlanavk@inbox.ru;
ORCID: 0000-0001-7902-6032

Аннотация. Современные исследования языковых установок направлены на изучение предпочтений носителей языка в отношении престижа или стигматизации языковых вариантов. Основная цель данного исследования — представить детальный обзор и анализ десяти наиболее распространенных акцентов английского языка. Дополнительной целью исследования было выявить, разделяют ли билингвы такие же установки по отношению к исследуемым акцентам, как и носители языка в Великобритании. Результаты исследования показали, что хотя билингвы придерживаются сходных языковых установок, все же были выявлены некоторые отличия в восприятии изучаемых акцентов в категориях эмоциональных и когнитивных языковых установок.

Ключевые слова: языковые установки, акценты английского языка, установки билингвов, социолингвистика, престиж языка, предвзятость по отношению к акценту.

1. Introduction

Language attitudes, which persist among individuals, play a crucial role in shaping how speakers use and perceive languages. These attitudes significantly influence the ways in which communities evaluate and assign value to different language varieties. Language attitudes are defined as "subjectively conditioned opinions in relation to any language or language variety" [Kirilenko 2024: 19]. In sociolinguistic research, such attitudes encompass a broad spectrum of opinions, stereotypes, and emotional responses that individuals hold toward various languages, dialects, and accents.

The study of language attitudes has been a subject of extensive research within sociolinguistics. In Russian sociolinguistics, this issue was first addressed by Yu. Desheriyev in his exploration of social attitudes toward languages [Desheriyev 1976] and later expanded upon by A. D. Schweitzer in his analysis of the social stratification of language [Schweitzer 1983].

In contemporary sociolinguistic research, the concept of language attitudes continues to be actively explored in studies on language planning, linguistic identity, language ideology, language preservation, and bilingualism or multilingualism [Dyrkheeva, Tsybenova 2020; Khilkhanova 2022; Nagmatullina, Maksimova 2019].

In general, contemporary research on language attitudes primarily focuses on assessing the extent of favourable or unfavourable perceptions within multilingual communities, aiming to determine levels of linguistic prestige or identify sources of stigmatization that may ultimately contribute to the decline or disappearance of a language variety. Additionally, considerable research has been conducted on attitudes toward the standard variety of a language and its regional or social variations, as "people's reactions to language varieties reveal much of their perception of the speakers of those varieties" [Edwards 1982: 20].

While research on language attitudes among bilinguals including biases and stigmatization toward English accents remains limited, several studies have explored this area. One work in this field is *Investigating Language Attitudes: Social Meanings of Dialect, Ethnicity, and Performance* [Garrett et al. 2003] which examines attitudes toward Welsh-English bilingualism. This study explores how individuals perceive various English accents, particularly within bilingual and multilingual contexts, with a primary focus on educational settings. It looks into how speakers with different linguistic backgrounds evaluate English accents in Wales. While the primary focus of the study is on attitudes toward the Welsh language, a significant portion is dedicated to examining the attributed characteristics of English accents, including perceptions of their linguistic form (e.g., open, full, rounded, clipped, biting accent?), affective associations, social status, normative value, geo-social identity, and distinctions between rural and urban varieties [Garrett et al. 2003: 119–120].

Another contribution is P. Trudgill's sociolinguistic study *Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society* [2000]. Although it does not specifically address bilingual speakers' attitudes, it provides a comprehensive overview of how accents and dialects are perceived in the UK and explores the social implications of such perceptions, particularly in relation to Standard English and its varieties. Trudgill highlights the existence of social class-based accents and their influence on societal attitudes, stating that "our accent

and our speech generally show where we come from, and what sort of background we have" [Trudgill 2000: 2]. The distribution and diffusion of these social accents are explained in relation to social barriers and social distance.

R. Lippi-Green's *English with an Accent* [2012] focuses on linguistic variation in the United States. The study examines how bilingual speakers from diverse backgrounds (e.g., Mexican, Hawaiian, or African American Vernacular English speakers) experience linguistic prejudice and societal pressure to conform to 'standard' English accents. The research highlights how accents are judged within English-speaking societies, noting that "people are judged on the basis of language form rather than language content, every day; without hesitation or contemplation, workers are turned away, children are corrected, people are made to feel small and unimportant in public settings" [Lippi-Green 2012: 333].

Another relevant contribution is found in the field of perceptual dialectology, particularly in the work of D. Preston. His research investigates how non-linguists perceive and evaluate different dialects and accents. While Preston's studies primarily focus on attitudes toward American English accents varieties, his exploration of regional stereotypes and biases aligns with the framework of the present study. His surveys examine how speakers associate particular dialects with social attributes such as 'casual,' 'friendly,' and 'down-to-earth,' and analyse these perceptions through rating scales [Preston 2002].

Finally, J. Jenkins' *English as a Lingua Franca: Attitude and Identity* [2007] examines how non-native speakers perceive and use English accents. She discusses the "(perceived) effects of accent-related experiences (specific and general) a) on self b) on others" [Jenkins 2007: 202]. The research explores how speakers' identities evolve as their exposure to English increases and highlights the pragmatic aspects of accent use, as well as shifting attitudes toward non-native English accents in global contexts.

The objectives of the study

The primary objective of this study was to present a detailed overview and analysis of the ten most widely recognized English accent varieties, along with prevailing attitudes toward each, as documented in linguistic research and related literature. A secondary objective was to deter-

mine whether bilingual speakers of English as a second language exhibit accent-related biases in ways that align with those commonly observed among UK citizens.

The survey targeted educated individuals with prolonged exposure to Standard English and a high level of English language proficiency. One rationale for examining language attitudes within a multilingual community was to assess whether bilingual speakers demonstrate sensitivity to the diversity of English accents in the UK. Additionally, the study sought to draw comparative insights by analysing the extent to which the attitudes of bilingual respondents align with or diverge from those prevalent among UK speakers regarding the selected accents.

2. English accent varieties and language attitudes

Attitudes toward the varieties of the English language in the United Kingdom have been the subject of extensive sociolinguistic research for a considerable period, as have the underlying reasons for negative perceptions of certain English varieties. Common stereotypes are often rooted in linguistic prejudices, social and regional biases, and broader societal attitudes. Certain dialects and accent varieties are frequently associated with lower socioeconomic status, which contributes to their marginalization in popular media. Such varieties are often subject to ridicule in television and film portrayals, reinforcing negative judgments and perpetuating linguistic discrimination.

Major English accents in the UK: pronunciation features and attitudes

The key pronunciation features that distinguish the major English accents spoken in the UK are outlined below, along with the most commonly documented attitudes toward them in linguistic studies, research articles, and related academic literature. While all the examined English varieties also exhibit distinctive grammatical and lexical features, these aspects fall outside the scope of the present study and will not be considered here. The accents are presented in alphabetical order, with Received Pronunciation (RP) appearing last.

Brummie or West Midlands English (West Midlands region)

Brummie English exhibits distinctive vowel shifts and pronunciation patterns, including the realization of the 'a' sound as /aʊ/ and the 'th' sound as /f/ or /v/. The accent also features particular vowel characteristics, such as a short 'u' sound and a long 'a' sound. For instance, words like *coat* are pronounced with a diphthong closer to /ʌʊ/, while *cup* is articulated with a more rounded vowel, often resembling /ʊ/ (closer to *put*). In terms of consonants, the '*-ing*' ending is pronounced with a hard /g/ sound, as in *runnin'g*. Additionally, Brummie English is characterized by a distinctive rising intonation at the end of sentences, and its stress patterns differ from those of Received Pronunciation (RP), which is discussed below.

The Brummie accent has historically been subject to negative stereotypes, often perceived as lacking prestige and sophistication, with speakers frequently judged as less intelligent: "the bias against the Birmingham accent could be because it has traditionally been an industrial city with a large proportion of inhabitants coming from lower socioeconomic classes" [Malarski 2012: 209]. More broadly, in traditional settings, the accent is often met with significant prejudice: "the most stigmatized variety in Great Britain; it scores worst in various accent evaluation studies that consider? criteria like intelligence, prestige or attractiveness" [Malarski 2013: 208].

Estuary English (in the southeast of England, particularly along the Thames Estuary)

Estuary English, a variety of English spoken in the Southeast of England, including London and areas along the River Thames, exhibits several distinctive pronunciation features, retaining some elements of traditional Cockney pronunciation. It is characterized by non-rhoticity and specific vowel and consonant modifications. Notable phonetic features include *th*-fronting, in which the '*th*' sound is pronounced as /f/ or /v/ (e.g., *think* as [fɪŋk] and *this* as [vɪs]); *l*-vocalization, where the /l/ sound, particularly at the end of syllables or words, is realized as a vowel or semi-vowel ([w] or [o]), resulting in pronunciations such as *milk* as [mɪwk] or [mɪok]; and *h*-dropping, where the initial /h/ sound in words such as *house* and *happy* is omitted, producing [aʊs] and [æpi].

Estuary English is widely regarded in the UK as a modern and neutral accent, less socially marked than Received Pronunciation (RP) yet more refined than Cockney. Some linguists suggest that Estuary English is poised to replace RP as the standard English accent [Wells 1997: 45]. In the research literature, this accent is associated with a middle-class identity and is perceived as a compromise between the prestigious RP and more working-class varieties, making it a socially acceptable choice. As P. Coogle notes, "upper- and middle-class young people often feel that a flavour of Estuary identifies them as being more ordinary and less privileged than they really are; women may feel a hint of Estuary helps them to come over as tougher and more positive, and so on" [Coogle 1993: 86]. Among younger generations and in urban areas, Estuary English is embraced as a natural and contemporary mode of speech. However, older generations often express disapproval: "prejudice against Estuary is still rife, particularly among middle-aged and older people" [Coogle 1993: 87].

Geordie or Newcastle English (Newcastle and the surrounding areas in the northeast of England)

The Geordie accent is characterized by relatively elongated vowel sounds compared to the other accents examined in this study. For instance, words such as *school* exhibit a more pronounced 'oo' sound, akin to /u:/. Similarly, words like *face* are pronounced with a longer, more open vowel resembling *faace*. The accent is typically non-rhotic, meaning that the final 'r' in words is not pronounced, although it remains distinct within words, particularly when following a vowel. Geordie pronunciation also includes distinctive lexical variations, such as *you* becoming *ye* or *ya*, *our* rendered as *wor*, and *how* pronounced as *hoo*, culminating in expressions like *Hoo are ye*?. Additionally, the Geordie accent is well known for its distinctive intonation patterns, often described as 'sing-song' or 'musical.' Sentences tend to rise in pitch toward the end, imparting a noticeable rhythmic quality to the speech.

The Geordie accent is generally perceived in the UK as "friendly and warm" [Cihat , Cahit 2020], with positive associations linked to humour, a down-to-earth demeanour, and a welcoming nature. As with many Northern accents, Geordie has historically been associated with the working class,

which has contributed to its reputation for resilience and toughness. However, these perceptions often reflect a class-based bias, leading to the accent being regarded as less refined [Fehringer, Corrigan 2015]. In more formal settings, such as business or broadcasting, individuals with strong Geordie accents frequently experience pressure to 'tone down' their speech to mitigate these biases.

General Northern English (the North of England)

General Northern English is an umbrella term for a variety of northern English accents that have recently undergone dialect levelling: "General Northern English is a pan-regional standard accent associated with middle-class speakers" [Strycharczuk et al. 2020: 1].

Since the mid-1990s, various sociolinguistic studies in the UK have documented a phenomenon known as levelling, whereby distinctions between local accents and dialects gradually diminish. "Levelling is thought to centre on large urban areas, such as Tyneside or London, from which new features diffuse, and within whose reach high degrees of contact and mobility may lead to linguistic homogenization" [Kerswill 2006: 50]. Through this process, individual accent varieties lose their most distinguishing features, and smaller regional dialects converge into a more unified linguistic form, as seen in the development of General Northern English.

Among the most salient phonetic characteristics of General Northern English is the pronunciation of certain vowels. The 'u' in words such as *cup* is pronounced with a shorter vowel sound, closer to /ʊ/ (as in *foot*), in contrast to the standard /ʌ/. Additionally, the 'a' in *bath* is pronounced as a short /a/, rhyming with *cat*. In terms of consonants, General Northern English is non-rhotic, meaning that the final 'r' in words such as *car* is not pronounced. Another feature is *th*-fronting, where /f/ or /v/ replaces 'th' sounds, resulting in pronunciations such as *fing* for *thing*.

Speakers of Northern English accents are often perceived as more down-to-earth compared to those who use the stereotypically posher or more formal Southern English accents, particularly Received Pronunciation [McKenzie et al. 2021]. Among educated speakers, a degree of class or regional bias persists against Northern accents, which are frequently associated with pragmatism and working-class values. However, as the process of lev-

elling accelerates, diminishing the most striking regional features, it has contributed to enhancing the prestige of General Northern English: "while some urban northerners are becoming prouder of their accents, previous research has suggested strong dialects are perceived as less professional" [The Guardian].

Mancunian or Manchester English (Manchester and its metropolitan area)

The Mancunian accent exhibits distinct vowel characteristics, including a short 'a' in words such as *bath* (which sounds like *baff*) and rounded vowels in words such as *go*, where Mancunians use a diphthong, making go sound closer to /gəʊ/, resembling RP. In terms of consonants, *th*-fronting is common, resulting in pronunciations such as *fink* for *think* and *vat* for *that*. Additionally, the 'l' sound in Mancunian English tends to be more distinct in words such as *milk*. *H*-dropping is also a notable feature, exhibiting stable sociolinguistic variation: "*H*-dropping is a case of stable sociolinguistic variation" [Baranowski, Turton 2015: 293].

Historically, the Mancunian accent has been strongly associated with the working-class heritage of Manchester, and attitudes toward it have been shaped by these socio-economic associations, often linking it with lower prestige. However, due to the variation within the Mancunian accent, perceptions of it today are more diverse. As Baratta [2018] notes, it can be perceived as both "posh" and "broad" [Baratta 2018].

Multicultural London English (no specific regional affiliation)

Multicultural London English (MLE) is a sociolect that has recently emerged among young people in London: "real-time data allows us to place the beginnings of MLE to some time in the early 1980s" [Cheshire et al. 2011: 32]. It reflects a blend of linguistic influences from various ethnic and cultural backgrounds, incorporating phonological features from languages spoken by immigrant communities in London, such as Jamaican Patois, West African languages, South Asian languages, and others: "MLE is typically spoken by young working-class individuals living in inner-city neighbourhoods in London" [Ilbury 2023: 5].

Although it is a relatively recent accent, MLE has rapidly expanded and is now one of the most widely used varieties in the UK, driven by the increasing diversity of the country's multi-ethnic population. In 2005, minority ethnic groups accounted for 8 % of the UK population, representing a broad spectrum of cultural, religious, racial, and linguistic backgrounds (see *Table 1*) [UK Census 2021]. This figure has since risen significantly, with nearly 20 % of the population now identifying as part of a minority group (see *Table 1*) [UK Census 2021]. London, in particular, stands out as a linguistically diverse city, where over 300 languages are spoken [We Are London]. However, "official national-level data on language use remains limited, with the census omitting language-related questions, though this may change in the future" [Gibson 2007: 260–261].

Table 1. Office for UK National Statistics – Census 2021

Ethnic Group	2021 (number)	2021 (percent)
Asian, Asian British or Asian Welsh	5 515 420	9,3
Black, Black British, Black Welsh, Caribbean or African	2 409 278	4,0
Mixed or Multiple ethnic groups	1 717 976	2,9
White	48 699 249	81,7
Other ethnic group	1 255 619	2,1

Multicultural London English (MLE), which has its roots in the traditional East End Cockney dialect, is characterized by distinctive vowel shifts, consonant modifications, and varied intonation and rhythmic patterns. MLE speakers exhibit a wider pitch range and more dynamic intonation compared to traditional Cockney or Estuary English. One of its defining features is the rising intonation at the end of statements. Key phonological features of MLE include *th*-fronting, where words such as *this* may be pronounced as [dɪs] and *think* as [fɪŋk]; *l*-vocalization: the /l/ sound, particularly at the end of words or syllables, is realized as a vowel or semi-vowel, e.g., *feel* as [fiːw]; and vowel shifts, where *go* (traditionally /əʊ/) becomes [ɒʊ] or [oʊ], and *face* (traditionally /eɪ/) is [æɪ] or [aɪ].

In terms of public perception, MLE has acquired the colloquial nickname 'Jafaican,' a term that carries a negative connotation, as it implies

that "it sounds black" [Adger et al. 2017]. This accent is often stigmatized as a 'street' or 'slang' variety and is associated with lower socioeconomic status and, at times, with delinquency. Attitudes toward MLE tend to be overwhelmingly negative; according to a 2019 survey, respondents rated it with an average score of 2.2 on a 1-to-5 scale [Kircher, Fox 2019: 859]. Social stereotypes linked to MLE portray it as indicative of "negative characteristics – those of aggression, lack of education and intelligence, and the inability to switch to the standard language" [Martínez 2023: 122].

Scouse or Liverpool English (Liverpool and its surrounding areas)

The Scouse accent, also known as Liverpool English, is among the most distinctive accents in the United Kingdom, originating from the city of Liverpool and its surrounding areas in Merseyside. "The term 'Scouse' is a condensed version of 'lobscouse', referring to a stew enjoyed by sailors" [The History and Origins of the Scouse].

Characterized by unique vowel pronunciations and non-rhoticity, the Scouse accent is often noted for its harsh, nasal tones. It exhibits high front vowels (e.g., *look* is pronounced similarly to *luck*), a diphthong shift (e.g., *go* is pronounced closer to /gəʊə/), and shortened vowel sounds in words such as *cat*. In terms of consonantal features, the *th* sound is frequently replaced with /t/ or /d/, resulting in pronunciations such as *ting* for *thing* and *dis* for *this*. Additionally, the final *r* in words is typically omitted, while the /k/ sound at the end of words like *back* and *work* is more pronounced. The intonation pattern of Scouse is particularly distinctive, featuring a melodic, almost sing-song quality, especially in informal speech. The tendency for pitch to rise at the end of sentences contributes to the accent's dynamic and expressive nature, a feature attributed to Irish influence. Due to historical migration, Scouse exhibits certain phonetic similarities with Irish English [Watson 2007: 352].

Public perceptions of the Scouse accent are largely shaped by its strong association with the working class, leading to persistent stigmatization. "The most commonly used words to describe Liverpudlians were negative words such as 'chav', 'criminal', 'thief'" [Attitudes Towards Accents 2018]. In surveys, the Liverpudlian accent has been ranked as the least attractive

[Poll Brands 2015], with claims that "Scousers have the 'least intelligent and least trustworthy' accent" [Daily Mail 2013]. Despite these widespread stereotypes, many Liverpudlians take great pride in their accent. Scouse is regarded as a significant marker of local identity: "Despite the considerable stigma attached to it, many people in Liverpool have the impression that Scouse, the local accent, is getting stronger" [Juskan 2015: 1].

Southern English (the southeast of England)

Southern English is primarily spoken in the southern counties surrounding London. The standard variety of Southern English is predominantly used by the middle and upper classes.

Phonetically, Southern English is characterized by the presence of rhoticity, meaning that the *r* sound at the end of words is pronounced. Notable phonetic features include *t*-fronting in the pronunciation of *th* sounds, as well as the use of the long vowel /ɑː/ in words such as *bath*. Additionally, the diphthongs /aɪ/ (as in *price*) and /aʊ/ (as in *mouth*) are typically realized as [æʊ] or [ɐʊ], leading to pronunciations such as [*prʌɪs*] and [*mæʊθ*].

Southern English carries a certain level of prestige: "the South East is also associated with 'middle-class speech'" [Janson et al. 2020: 4]. Moreover, it is regarded as "an accent of the South East of England which operates as a prestige norm there and (to varying degrees) in other parts of the British Isles and beyond" [Handbook of the International Phonetic Association 1999: 4]. However, historically, certain non-standard varieties of Southern English have been subject to negative perceptions: "non-standard south-eastern speech is particularly stigmatized [in the past]" [Edwards 1993: 217].

West Country English (southwest of England, including Cornwall, Devon, and parts of Somerset and Dorset)

West Country English preserves several phonological features from its West Saxon and Celtic linguistic heritage. It is distinguished by a strong rhotic accent, in which the *r* sound is pronounced in all positions. One notable feature is the so-called *Bristol L*, referring to the insertion of an *L* sound

at the end of words following a vowel. For example, words such as *window* and *idea* are commonly pronounced as *windle* and *ideal*, respectively.

West Country English is strongly associated with rural life, contributing to widespread stereotypes of its speakers as unpretentious, down-to-earth, and closely connected to the countryside: "West Country speakers are perceived as simple and humble people" [Santika 2016: 35]. More broadly, speakers of West Country English are generally regarded as belonging to a rural rather than an urban environment, a stereotype that extends across all dialects of the region [Montgomery 2007: 248]. Many perceive the West Country accent as warm and friendly, with its slower, melodic speech pattern often described as welcoming and charming.

In popular media, West Country English is frequently employed to evoke humorous stereotypes, as characters who speak with this accent are often depicted as lovable yet bumbling or naïve. A well-known example is Hagrid from the Harry Potter series, who speaks with a West Country accent [Santika 2016].

Received Pronunciation (no specific regional affiliation)

Received Pronunciation (RP) is distinguished by its clear and neutral articulation. Historically, it was promoted as the ideal form of British English, having originated as a standard in the late 19th century. It played a pivotal role in establishing linguistic norms, an influence that continues today. Key phonetic features of RP include non-rhoticity, where the *r* sound is pronounced only when followed by a vowel; the Trap-Bath split, which differentiates between the /æ/ and /ɑː/ vowel sounds; and Yod Coalescence, in which certain consonant and *y* (/j/) sounds merge into a single phoneme. RP is also marked by distinct intonation patterns, such as falling intonation at the end of statements and commands, rising intonation in yes/no questions, and fall-rise intonation in expressions of uncertainty or politeness. A defining characteristic of RP is its restrained and controlled emotional expressiveness.

RP is widely associated with prestige and a high level of education: "it is actually used among young elite speakers in Britain today" [Holmes-Elliott , Levon 2024: 1]. Its pronunciation of vowels and consonants adheres to standard British norms, making it "an instantly recognizable accent often

described as typically British" [British Library]. This clarity has contributed to its prominent role in the media. Unlike regional accents, RP is non-specific to any particular geographical area, meaning it does not reveal a speaker's place of origin. However, it serves as an indicator of social and educational background, as it is the variety most commonly used in secondary and higher education, as well as in official media. Historically, it has been liked to upper layers of society, thus making it a marker of social distinction. Despite its historical prestige, RP is now spoken by only a small percentage of the UK population: "for most of the 20th century, it was the uncontested prestige accent of Britain; estimates are uncertain, but traditional RP, never spoken by more than about 5 % of the population of England, has now fallen to around 2 %" [Crystal 2022]. Research on RP suggests that its speakers are generally perceived as more trustworthy, though sometimes less approachable or friendly compared to those with regional accents [Milroy et al. 2003; Freeborn 1996].

Analysis of accents in relation to social perceptions and prestige

Received Pronunciation (RP) functions as a standard accent, while the other regional accents described above reflect the historical evolution of phonological features shaped by both social and regional influences. Accents that retain more archaic phonetic traits are subject to greater stigmatization, as seen with the West Country English accent which preserves features from West Saxon and Celtic linguistic roots. The extent to which an accent is associated with the working class or lower socioeconomic status also plays a significant role in its stigmatization, as exemplified by the Brummie and Mancunian accents. Social media further exacerbate these biases, frequently portraying speakers with such accents in a humorous or derogatory manner.

The attitudes toward accents vary depending on social contexts. For instance, the Scouse accent is frequently subjected to negative stereotypes, with associations to criminality and a perceived lack of intelligence. Similarly, Multicultural London English (MLE), predominantly used by immigrant groups, has been subject to substantial negative stereotyping as frequently being associated with delinquency, reflecting enduring racial prejudices in societal attitudes. In contrast, accents that lack associations

with industrial or criminal histories tend to evoke less stigmatization. For example, while West Country English is associated with rural simplicity and naivety, likewise, the Geordie accent is typically viewed as welcoming and practical nature.

Accents such as Southern English or Estuary, which share closer proximity both socially and regionally to Received Pronunciation (RP), do not face significant negative stereotyping and are often portrayed as neutral in media representations. This can be attributed to their regional closeness to RP, as both accents originated in the southern regions of England, particularly in the Home Counties surrounding London [Notes from the UK 2021]. Moreover, RP itself emerged from Southern English [Trudgill 1999: 112]. Accents that are associated with the middle and upper classes generally enjoy higher prestige. The connection to the middle class contributes to an accent's elevated status, as seen with Estuary English and General Northern English. The latter has experienced accent levelling in urban areas, which has led to the loss of highly localized features. As it is increasingly spoken by middle-class individuals, General Northern English has gained a higher prestige position.

Simultaneously, there are clear signs that RP is losing its dominant prestige (as noted by Crystal, with only 2 % of the UK population currently using it [Crystal 2022]). It is increasingly viewed as somewhat outdated, especially among educated young people. In contrast, other accents, such as Estuary English, Southern English, and General Northern English, are gaining prominence as these accents step in to fill the perceived gap left by RP. The association of RP with the elite acts as a marker of social distance, signifying the social divide for the middle classes, leading many people, particularly younger individuals, to prefer other accent patterns. This is one of the key reasons why RP is so seldom used in the UK, despite its status as a standard accent of English taught worldwide. Another possible explanation is that UK people, as it is the case everywhere in the world, seek to signal their identity at least through their accents. Given that the UK is a vast territory where English is the predominant language – with Welsh, Scottish Gaelic, and other languages spoken by only a small percentage of the population – there is a strong incentive for individuals to preserve and emphasize regional or social features in their pronunciation.

3. Research data on the attitudes among bilinguals towards the accents of the English language

The questionnaire was distributed among graduates of *City, University of London*, all of whom were international master's degree students, inviting them to participate in the study. All of the respondents resided in London. The survey was administered online via Google Forms, with participants completing it individually. The form included audio recordings in which the same text was spoken in four different accents. These recordings were sourced from the International Dialects of English Archive (IDEA). Participants were asked to evaluate the four selected accents based on their attitudes toward them. They rated the accents using two scales designed to capture both affective and cognitive attitudes. The data of the survey was analysed using SPSS software.

The survey dataset consists of 17 respondents (see *Table 2*), under 30 years old, with a mix of males and females. Their professions vary, including business and management, healthcare, engineering, hospitality, information technology, education, and other unspecified fields. The respondents are all bilinguals. The respondents come from diverse linguistic backgrounds, with native languages including Russian, English, Greek, Hindi, Czech, Turkish, Polish, Danish, Spanish, Italian, Azerbaijani, and Vietnamese. English is commonly spoken with proficiency levels as 'a native speaker' or advanced. The duration of residence in the UK varies, with some having lived in the UK for as short as 1–2 years, while others have been in the UK for up to 10 years or more.

The research encompassed an investigation into two primary components of attitudes: affective, pertaining to emotions, and cognitive, related to opinions. In sociolinguistics, the affective categories of 'friendliness' and 'trustworthiness' refer to the emotional responses individuals have toward different languages, dialects, or accents. These categories are instrumental in understanding how speakers of various linguistic varieties are perceived and how such perceptions influence social interactions, identity, and group dynamics. The cognitive component, by contrast, includes opinions on prestige (whether an accent is regarded as high-status) and correctness (beliefs regarding whether an accent is deemed appropriate or proper).

Table 2. Demographic and linguistic profile of respondents

№	Gender	Professional field	Mother tongue/ Second language	Second language proficiency	UK residency duration / Main residency
1	f	business and management	Russian/English	as a native speaker	1–2 years / Russia
2	m	business and management	Russian/English	as a native speaker	10 years or more / UK
3	f	other	Greek/ English	as a native speaker	1–2 years / Greece
4	m	business and management	Hindi/ English	advanced	1–2 years / India
5	m	other	Czech/ English	as a native speaker	1–2 years / Czech Republic
6	f	information technology	Turkish/ English	as a native speaker	3–5 years / Belgium
7	m	healthcare	Hindi/ English	advanced	3–5 years / EMEA
8	f	hospitality and tourism	Polish/ English	advanced	6–10 years / Poland
9	f	healthcare	Danish/ English	advanced	6–10 years / Denmark
10	m	engeneering	Spanish and Italian / English	as a native speaker	6–10 years / Italy
11	m	business and management	Russian/ English	as a native speaker	10 years or more / UK
12	f	business and management	Greek/ English	advanced	6–10 years / Greece
13	f	healthcare	Russian/ English	as a native speaker	1–2 years / Canada
14	f	other	Croatian/ English	as a native speaker	6–10 years / UK
15	f	education	Azerbaijani/ English	as a native speaker	1–2 years / Azerbaijan
16	f	business and management	Russian/ English	as a native speaker	6–10 years / Internationally
17	f	other	Vietnamese/ English	advanced	6–10 years / Vietnam

Given the voluntary nature of the survey, it was not feasible to gather data on all ten accents discussed in the paper. Including all accents would have resulted in a lengthy questionnaire, which could have led to respondent attrition. Consequently, the scope of the survey was limited to three social and regional accents, which were then compared with the respondents' attitudes toward Received Pronunciation (RP), the recognized standard accent of the English language in the UK.

The first accent selected was intended to primarily reflect social factors, with a regional component. Estuary English is often regarded as a social accent because it is associated with a specific social group or status, particularly in terms of class and professionalism. It is perceived as representing a 'middle-ground' speech variety. However, Estuary English also retains regional elements. Since the survey was aimed at young people, Estuary English was chosen, as "EE is the most widely used for younger voices" [Rosewarne, 2009]. Although Estuary English has its origins in the Southeast of the UK, it has spread to other urban areas across the country. While it retains its regional affiliation, it is primarily a social accent, commonly linked with social mobility and the middle class.

The second accent chosen, General Northern English (GNE), is generally regarded as a more regional accent within the UK. GNE is a collective term encompassing the accents of northern England, which, through a process of levelling, has recently developed unified phonetic features that make it suitable for inclusion in this study. Although GNE is often associated with working-class communities in these regions, it remains predominantly regional. Over time, some elements of Northern English have gained prominence in national and media contexts, particularly as Northern accents are increasingly represented in television, film, and politics. Nevertheless, the accent's association with a specific region of the UK remains stronger than its national recognition.

The third accent selected for this study, Multicultural London English (MLE), no longer has a specific regional affiliation, although its origins lie in the southern part of the UK. MLE is a relatively recent accent variety, and it is perhaps the most stigmatized due to its stereotypical association with multi-ethnic, working-class communities.

3.1. Category of the affective attitude ('friendliness' and 'trustworthiness')

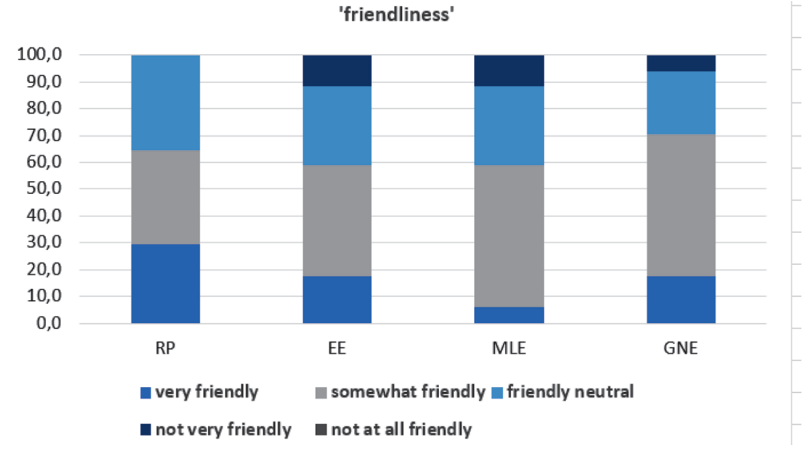

Diagram 1. Category of the affective attitude: 'friendliness'

RP has the highest perception of friendliness with no negative ratings; MLE is viewed less favourably, with the lowest percentage of 'very friendly' ratings and a higher percentage of 'not very friendly' perceptions; both EE and GNE show a more balanced distribution, with GNE slightly more favoured than EE, especially in the 'somewhat friendly' category.

The mean score was calculated for each accent using a weighted average, assigning numerical values from 5 (very friendly) to 1 (not at all friendly). The interpretation of the mean scores revealed that RP (3.94) has the highest mean score, indicating that RP is perceived as the friendliest among the studied accents; the second-highest score has GNE (3.82); EE has (3.65), i.e., a lower mean score; and MLE (3.53) takes the last place, indicating that MLE is perceived as less friendly compared to the other accents, with a higher percentage of neutral or negative ratings.

Received Pronunciation is generally seen as the most trustworthy accent, with nearly a third of respondents viewing it as highly trustworthy. Estuary English and General Northern English are perceived similarly, though many people remain neutral about them. Multicultural London English seems to have the lowest trustworthiness, with fewer people rating it as very trustworthy and some even finding it less trustworthy.

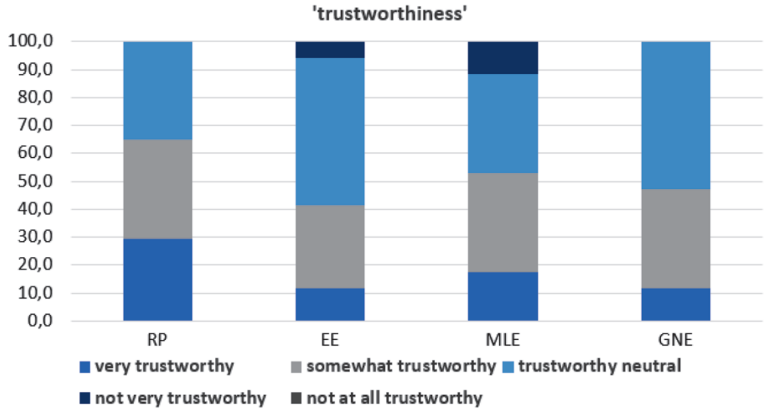

Diagram 2. Category of the affective attitude: 'trustworthiness'

The mean trustworthiness scores reveal that RP is perceived as the most trustworthy accent, with a mean score of approximately 3.94. MLE and GNE both have similar scores, around 3.59, indicating a moderate level of trustworthiness. EE has the lowest mean score of 3.47, so it is it is viewed as slightly less trustworthy compared to the other accents.

3.2. Category of the cognitive attitude ('intelligence' and 'social attraction').

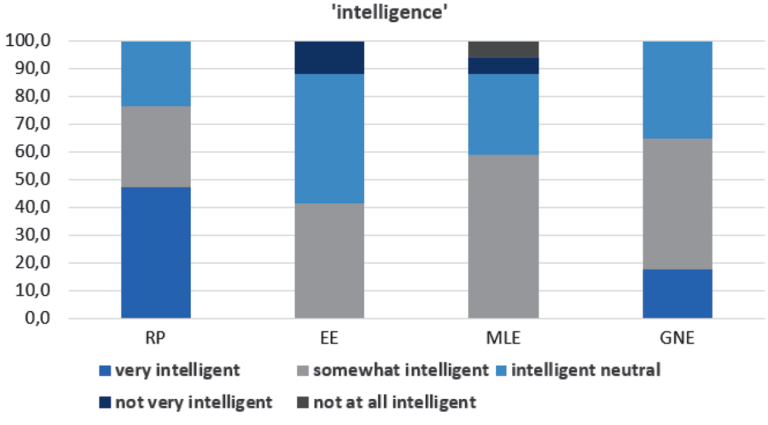

Diagram 3. Category of the cognitive attitude 'intelligence'

The respondents generally share the common attitudes about Received Pronunciation on the cognitive attitude of intelligence. Regarding Estuary English, the majority view it as 'somewhat intelligent' (41.2 %) or neutral (47.1 %), which shows a divergence from the stereotype, as EE seems to be viewed less favourably in terms of intelligence than its common association as a neutral or moderately prestigious accent. As for common stereotypes of Multicultural London English as being low-intelligent, the study results align with those views, with no respondents rating Multicultural London English as 'very intelligent', and the highest percentages viewing it as 'somewhat intelligent' (58.8 %). Notably, it has the highest combined percentages of negative ratings (11.8 % for 'not very intelligent' and 'not at all intelligent'). With General Northern English, the surveyed people have more positive 'intelligence perceptions' than it is visible in traditional stereotypes, where they commonly place GNE below RP.

The mean score was calculated for each accent using a weighted average, assigning numerical values from 5 (very intelligent) to 1 (not at all intelligent); it revealed that RP emerges as the most positively perceived accent in terms of intelligence, with a mean score of 4.24; GNE is next, with a mean score of 3.82; MLE has a mean score of 3.41, indicating mixed perceptions; EE has the lowest mean score at 3.29.

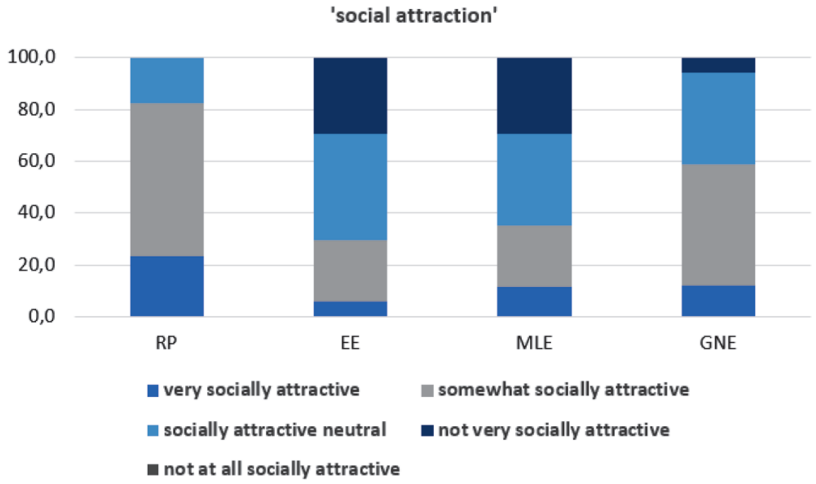

Diagram 4. Category of the cognitive attitude 'social attraction'

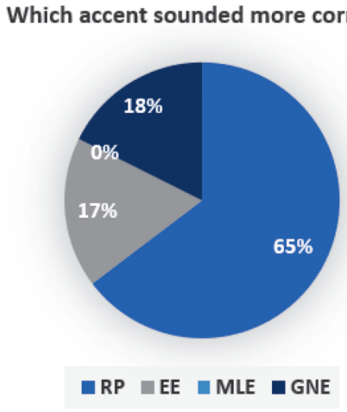

Diagram 5. Correctness of the studied accents in the attitudes of the respondents

The survey confirms RP's prestige and high social attractiveness among the bilinguals that aligns with the common views, with over a majority of participants rating it as socially attractive and with the mean score of 4.05. The general perception of GNE as warm and socially acceptable are shared by most of the respondents. However, the mean score of 3.65 (below RP) indicates that GNE lacks some of the prestige. The attitudes towards MLE in the survey are quite controversial, and a moderate mean score of 3.18 confirms that. There is a split in opinions, with a significant portion viewing it neutrally or negatively which generally matches common societal attitudes. As for EE, the survey results show that EE is not viewed as particularly socially attractive, with a mean score of 3.06. A notable 29.4 % found it 'not very socially attractive'.

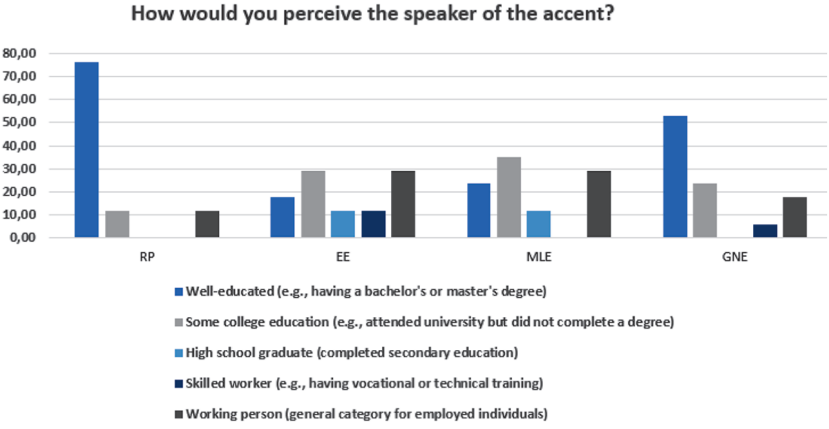

Diagram 6. Educational background and employment status of their speakers in the attitudes of the respondents

The ‘correctness’ in the respondents’ views matches the common stereotypes where RP is the most correct one. Incidentally, EE and GNE have almost the same figures. And MLE was voted as a correct accent by none of the respondents.

As part of the cognitive attitudes’ survey, the respondents were tested on the way they perceive the accents in terms of educational background and employment status of their speakers. The findings show that Received Pronunciation is strongly associated with being well-educated, with 76.47 % of respondents perceiving speakers of this accent as having a bachelor’s or master’s degree; General Northern English is also associated with being well-educated, with 52.94 % perception; Multicultural London English (23.50 %) and Estuary English (17.60 %) are less associated with being well-educated.

Overall, the results from the research more or less align with some common attitudes towards accents in the UK, described earlier in the article. However, there seem to be some notable differences (see *Table 3*).

Table 3. Comparison of attitudes toward UK accents and bilingual attitudes (from the research data)

Accent	Common UK attitudes	Bilingual attitudes (according to the research data)
RP	RP is traditionally associated with prestige, high social status, and education, often viewed as the «standard» British accent. However, it is also perceived by some as elitist or old-fashioned, especially among younger generations. RP speakers are often seen as reserved and unfriendly.	The research data supports the common view of RP as a highly prestigious accent. It is consistently rated highly in terms of intelligence and social attraction, with RP speakers associated with being well-educated and holding prestigious jobs. The high score in ‘friendliness’ contrasts with the common perceptions of RP in the UK, where individuals with this accent are often viewed as less approachable and sometimes even arrogant.
	Estuary English is generally regarded as modern, neutral, and socially acceptable, blending elements of RP with more regional speech patterns. It is associated with middle-class speakers and	Estuary English is perceived as somewhat friendly, but it is less trusted and viewed less favourably in terms of intelligence and social attraction than RP. While EE has a relatively balanced reception in terms of friendliness, it is considered

Accent	Common UK attitudes	Bilingual attitudes (according to the research data)
EE	is used in urban settings, though some older generations still view it with negatively.	less correct, intelligent, and socially attractive compared to RP. Overall, the surveyed bilinguals share views more aligned with those of older UK citizens, rather than the attitudes prevalent among younger generations.
MLE	Multicultural London English is often stigmatized as a «street» accent, associated with lower socioeconomic status, and sometimes linked to negative stereotypes of aggression or lack of education. Despite this, it has gained prominence among younger, urban speakers as a marker of identity and cultural diversity.	Multicultural London English stands out for its lower ratings on friendliness, trustworthiness, intelligence, and social attraction, aligning with negative stereotypes of being less educated or associated with lower socioeconomic status. This accent is viewed as lacking in correctness and social prestige, with a significant portion of respondents perceiving MLE speakers as less intelligent and less socially attractive. The views align with the common perceptions.
GNE	General Northern English: General Northern English is seen as reflecting the working-class heritage of the north. While it has gained more prestige due to dialect levelling and middle-class associations, it still faces bias in more formal settings, where it can be perceived as less refined and more associated with pragmatism and working-class values.	General Northern English enjoys a more positive reception than MLE and EE, with favourable views on intelligence and social attraction, despite lacking the high prestige of RP. It is seen as friendly and warm, with moderate perceptions of intelligence, and is more often associated with higher education with rating closer to RP, which contradicts the common views.

4. Conclusion

The survey results revealed some divergences, which can be attributed to a variety of factors. These include, but are not limited to, shifting attitudes towards General Northern English (GNE) and Estuary English; changes in social dynamics, whereby Estuary English, once considered

prestigious, is no longer viewed as appealing; and the respondents' media exposure, where frequent encounters with Multicultural London English (MLE) may have led them to perceive it as a somewhat progressive accent. Simultaneously, the respondents expressed more conservative views on accents compared to those held by the educated population in the UK. This can be explained by the prevailing stigmatization of certain accent varieties in the UK, which may lead individuals to fear that their speech contains features of those less-prestigious accents. As a result, many respondents may make a conscious effort to speak 'correctly' to avoid such associations. While not all respondents possess a perfect RP accent due to their diverse backgrounds, their desire to sound 'better' contributes to stronger stigmatization of non-prestigious accents like MLE, compared to attitudes within the broader UK population. The preference for GNE as an accent of educated individuals, as indicated by the survey, can be understood through two key factors. First, GNE has undergone dialect levelling, which has stripped it of its most localized features, making it more neutral and less regionally marked. Second, as GNE is widely spoken in the northern regions of England, and all respondents in the survey resided in London, their limited exposure to northern accents may lead them to perceive GNE as modern and prestigious.

The accents of the English language elicit a wide range of reactions, both from those who speak them and from those who are exposed to them. Regional accents, in particular, hold significant meaning for their speakers, serving as symbols of identity for individuals from specific regions of the UK. Concurrently, certain social accents – especially those regional accents that have attained prestige – are often associated with higher social strata, and thus appeal to those who use them. For those exposed to these accents, however, especially if they do not share the same social or regional background or use these accents themselves, the reactions tend to be largely negative, as the review presented in this paper demonstrates, ranging from outright repulsion to mild disapproval. The exception to this trend is Received Pronunciation (RP), which is universally regarded as the 'correct' accent, and, to a lesser extent, the Estuary English accent.

References

Adger et al. 2017 — D. Adger, D. Hall, J. Cheshire. *Multicultural London English and social and educational policies*. Available at: https://meits.org/policy-papers/paper/multicultural-london-english-and-social-and-educational-policies (accessed on 05.10.2024).

Attitudes Towards Accents 2018 — *Attitudes Towards Accents: The Scouse Accent*. Available at: https://www.ukessays.com/essays/languages/liverpool-accent.php?vref=1 (accessed on 07.10.2024).

Baranowski, Turton 2015 — M. Baranowski, D. Turton. Manchester English. R. Hickey (ed.). *Researching Northern Englishes*. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2015. P. 293–316.

Baratta 2018 — A. Baratta. *Let's talk about accent*. Available at: https://www.manchester.ac.uk/about/magazine/opinion/lets-talk-about-accent/#:~:text=Outside%20RP%2C%20all%20British%20accents,general'%20sounding%20accent%20in%20between (accessed on 05.09.2024).

British Library — *British Library.* Available at: https://www.bl.uk/british-accents-and-dialects (accessed on 07.10.2024).

Cheshire et al. 2011 — J. Cheshire, P. Kerswill, S. Fox, E. N. Torgersen. Contact, the feature pool and the speech community: The emergence of Multicultural London English. *Journal of Sociolinguistics*. 2011. Vol. 15 (2). P. 151–196.

Cihat, Cahit 2020 — A. Cihat, E. Cahit. The attitudes towards Geordie regional variety of English among Turkish L2 speakers of English. *I-manager's Journal on English language teaching*. 2020. Vol. 10. No. 2. P. 1–12.

Coggle 1993 — P. Coggle. *Do you speak Estuary? The new Standard English*. London: Bloomsbury, 1993.

Crystal 2022 — D. Crystal. *Received Pronunciation old and new*. Available at: https://www.cambridge.org/elt/blog/2022/05/25/received-pronunciation-old-new/ (accessed on 07.10.2024).

Dailymail 2013 — *Dailymail*. Available at: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2433201/Scousers-intelligent-trustworthy-accent--Devonians-friendliest.html (accessed on 17.08.2024).

Desheriyev 1977 — Yu. D. Desheriyev. *Sotsialnaya lingvistika: K osnovam obshchey teorii* [Social linguistics. Towards the foundations of the general theory]. Moscow: Nauka, 1977.

Dyrkheeva, Tsybenova 2020 — G. A. Dyrkheeva, Ch. S. Tsybenova. Yazykovyye ustanovki i yazykovaya loyalnost nositeley malykh yazykov v usloviyakh natsionalno-russkogo dvuyazychiya (na primere buryat i tuvintsev) [Language attitudes and language loyalty of speakers of minor languages in conditions of national-Russian bilingualism (on the example of Buryats and Tuvinians)]. *Novyye issledovaniya Tuvy.* 2020. No. 1. P. 62–74. DOI: 10.25178/nit.2020.1.5.

Edwards 1982 — J. R. Edwards. Language attitudes and their implications among English speakers. E. Bouchard Ryan, H. Giles (eds.). *Attitudes towards Language Variation*. London: Edward Arnold, 1982. P. 20–33.

Edwards 1993 — V. Edwards. The grammar of Southern British English. J. Milroy, L. Milroy (eds.). *Real English: the grammar of English dialects in the British Isles*. London: Longman Editors, 1993. P. 214–238.

Fehringer, Corrigan 2015 — C. Fehringer, K. P. Corrigan. The Geordie accent has a bit of a bad reputation: Internal and external constraints on stative possession in the Tyneside English of the 21st century. *English Today*. 2015. No. 31 (02). P. 38–50. DOI: 10.1017/S0266078415000097.

Freeborn 1996 — D. Freeborn. *From Old English to Standard English: A Course Book in Language Variation Across Time*. (Red Globe Press) London: Macmillan, 1996.

Garrett et al. 2003 — P. Garrett, N. Coupland, A. Williams. *Investigating Language Attitudes: Social Meanings of Dialect, Ethnicity and Performance.* Cardiff: University of Wales Press, 2003.

Gibson 2007 — M. Gibson. Multilingualism. *Language in the British Isles.* Cambridge: Cambridge University Press, 2007. P. 257–275. DOI: 10.1017/CBO9780511620782.017.

Handbook of the International Phonetic Association 1999 — *Handbook of the International Phonetic Association: A Guide to the Use of the International Phonetic Alphabet*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. DOI: 10.1017/9780511807954.

Holmes-Elliott, Levon 2024 — S. Holmes-Elliott, E. Levon. The jet set: Modern RP and the (re)creation of social distinction. *Language Variation and Change*. 2024. Vol. 36 (2). P. 1–22. DOI: 10.1017/S0954394524000097.

IDEA — *IDEA. International Dialects of English*. Available at: https://www.dialectsarchive.com/ (accessed on 17.08.2024).

Ilbury 2023 — Ch. Ilbury. The Recontextualisation of Multicultural London English: Stylising the 'Roadman'. *Language in Society*. 2023. Vol. 53 (3) P. 1–25. DOI: 10.1017/S0047404523000143.

Jenkins 2007 — J. Jenkins. *English as a Lingua Franca: Attitude and Identity*. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Juskan 2015 — M. Juskan. Selective accent revival in Liverpool. *JournaLIPP.* 2015. No. 4. P. 1–12.

Kershwill 2006 — P. Kershwill. Standard and non-standard English. D. Britain (ed.) *Language in the British Isles*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. P. 34–52.

Khilkhanova 2022 — E. V. Khilkhanova. Yazykovaya ustanovka i yazykovaya ideologiya v zapadnoy i rossiyskoy nauke: o razgranichenii ponyatiy [Language attitude and language ideology in Western and Russian science: on the delimitation of concepts]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 19. Lingvistika i mezhkulturnaya kommunikatsiya*. 2022. No. 3. P. 148–162.

Kircher, Fox 2019 — R. Kircher, S. Fox. Attitudes towards Multicultural London English: implications for attitude theory and language planning. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*. 2019. No. 40 (10). P. 847–864. DOI: 10.1080/01434632.2019.1577869.

Kirilenko 2024 — S. V. Kirilenko. Language attitudes: sociolinguistic aspect. *Research Result. Theoretical and Applied Linguistics*. 2024. No. 10 (1). P. 17–30. DOI: 10.18413/2313-8912-2024-10-1-0-2.

Lippi-Green 2012 —R. Lippi-Green. *English with an Accent. Language, ideology, and discrimination in the United States.* London: Routledge, 2012.

Malarski 2012 — K. Malarski. Intonation in the Perception of Brummie. *Second Language Learning and Teaching*. 2012. Vol. 10. P. 207–217. DOI: 10.1007/978-3-642-24019-5-15.

Malarski 2013 — K. Malarski. Intonation in the Perception of Brummie. E. Waniek-Klimczak, L. Shockey (eds.). *Teaching and Researching English Accents in Native and Non-native Speakers*. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. 2013. P. 207–217. DOI: 10.1007/978-3-642-24019-5_15.

Martínez 2023 — I. M. P. Martínez. Multicultural London English (MLE) as perceived by the press, on social media, and speakers themselves. *Research in Corpus Linguistics*. 2023. No. 11 (1). P. 116–146. DOI: 10.32714/ricl.11.01.05.

McKenzie et al. 2021 — R. M. McKenzie, A. McNeill, M. Huang. *Speaking of Prejudice: The Implicit and Explicit Effects of Regional Accent Bias in the UK*. Northumbria University. Available at: https://www.northumbria.ac.uk/research/research-impact-at-northumbria/cultural-impact/research-reveals-hidden-prejudice-against-northern-english-accents/ (accessed on 05.09.2024).

Milroy et al. 2003 — L. Milroy, M. Gordon. *Sociolinguistics: Method and Interpretation*. Oxford: Blackwell, 2003.

Montgomery 2007 — Ch. Montgomery. *Northern English Dialects: A perceptual approach*. PhD thesis. Sheffield: University of Sheffield, 2007.

Nagmatullina, Maksimova 2019 — L. K. Nagmatullina, O. A. Maksimova. Dinamika izmeneniya yazykovykh ustanovok i tsennostey sovremennoy semi [Dynamics of changes in language attitudes and values of a modern family]. *Vestnik ekonomiki, prava i sotsiologii*. 2019. No. 4. P. 193–199.

Notes from the UK 2021 — Notes from the UK (2021, December 3). What are England's Home Counties? *Notes from the UK*. https://notesfromtheuk.com/2021/12/03/what-are-englands-home-counties (accessed on 05.09.2024).

Poll brands 2015 — *Poll brands Scouse accent one of the least attractive.* Available at: https://www.liverpoolecho.co.uk/news/liverpool-news/poll-brands-scouse-accent-one-9872053 (accessed on 12.05.2024).

Preston 2002 — D. R. Preston. Language with an attitude. J. K. Chambers, P. Trudgill, N. Schilling-Estes (eds.). *The handbook of language variation and change*. (Blackwell Handbooks in Linguistics). Oxford: Blackwell, 2002. P. 39–66.

Rosewarne 2009 — D. Rosewarne. *How Estuary English won the world over.* Available at: https://www.tes.com/magazine/archive/how-estuary-english-won-world-over (accessed on 12.05.2024).

Santika 2016 — R. Santika. An Analysis of West Country Dialect Used by Hagrid in J. K. Rowling's Harry Potter. *Journal of Literature and Language Teaching.* 2016. No. 7 (1). P. 25–35. DOI: 10.15642/NOBEL.2016.7.1.25-35.

Schweitzer 1983 — A. D. Schweitzer. *Social differentiation of the English language in the USA*. Moscow: Nauka, 1983.

Strycharczuk et al. 2020 — P. Strycharczuk, M. López-Ibáñez, G. Brown, A. Leemann. General Northern English. Exploring regional variation in the North of England with machine learning. *Frontiers in Artificial Intelligence*. 2020. No. 3. P. 1–18. DOI: 10.3389/frai.2020.00048.

The Guardian 2020 — *The Guardian. Northern English accents becoming more similar, researchers find.* Available at: https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jul/15/northern-english-accents-becoming-more-similar-researchers-find (accessed on 12.06.2024).

The history and origins of the Scouse accent — *The history and origins of the Scouse accent*. Available at: https://theguideliverpool.com/the-history-and-origins-of-the-scouse-accent/ (accessed on 12.05.2024).

Trudgill 1999 — P. Trudgill. *The Dialects of England* (2nd ed.). Oxford: Blackwell Publishers, 1999.

Trudgill 2000 — P. Trudgill. *Sociolinguistics: an introduction to language and society*. London; New York: Penguin, 2000.

UK census 2021 — UK census 2021. Ethnic group, England and Wales. *Office for National Statistics.* Available at: www.ons.gov.uk (accessed on 08.08.2024).

Watson 2007 — K. Watson. Liverpool English. *Journal of the International Phonetic Association*. 2007. No. 37 (3). P. 351–360. DOI: 10.1017/S0025100307003180.

We are London — *We are London*. Available at: https://www.london.gov.uk/ (accessed on 28.09.2024).

Wells 1997 — J. C. Wells. What Is Estuary English? *English Teaching Professional*. 1997. No. 3. P. 45–47.

Получено / received 08.10.2024 *Принято / accepted 17.09.2025*

Acta Linguistica Petropolitana. 2025. Vol. 21.2. P. 270–286
DOI: 10.30842/alp23065737212270286

The role of extralinguistic knowledge in the derivation of scalar implicatures

Natalia A. Zevakhina
Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences (St. Petersburg, Russia); natalia.zevakhina@gmail.com; ORCID: 00000002-1187-0680

Polina A. Ponomareva
University of Pécs (Pécs, Hungary); polinaponomareva.pp@gmail.com; ORCID: 0009-0002-6853-081X

Sofia V. Krasnoschekova
Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences (St. Petersburg, Russia); krasnoshchekova_sv@iling.spb.ru; ORCID: 0000-0001-8830-5121

Abstract. The paper reports on an experimental study that reveals a difference between two types of under-informative utterances with the quantifier "nekotoryj" ('some') in Russian. The experiment was conducted as an inference task based on [Geurts, Pouscoulous 2009; Val Tiel et al. 2016] with some modifications. The experiment showed that both types of utterances more often have inference-based interpretations rather than logically based interpretations. This finding is in line with the mainstream experimental research on scalar inferences in various languages. At the same time, the experiment demonstrated a twofold difference between the two types of utterances. On the one hand, under-informative utterances like "Some elephants have trunks" yield scalar inferences (scalar implicatures) like "Not all elephants have trunks" to a lesser extent than under-informative utterances like "Some books are on the shelf" (the scalar inference is "Not all books are on the shelf"). On the other hand, the former utterances are processed longer than the latter ones. The reason is that the scalar inferences from the former conflict with the extralinguistic knowledge shared by the speaker and the hearer. The hearer might infer that the speaker does not have this belief and, consequently, the hearer might not draw a scalar inference. However, this reasoning conflicts with extralinguistic knowledge and is time-consuming. Our results contribute to the ongoing debate on utterances with quantifiers within the field of theoretical

and experimental pragmatics and support the contextual theory of scalar inferences. The present study is the first experiment testing scalar inferences in Russian.

Keywords: under-informativity, quantifiers, quantity inferences, scalar inferences, scalar implicatures, experimental pragmatics.

Роль экстралингвистического знания в порождении скалярных импликатур

Н. А. Зевахина

Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург, Россия);
natalia.zevakhina@gmail.com; ORCID: 00000002-1187-0680

П. А. Пономарева

Печский университет (Печ, Венгрия);
polinaponomareva.pp@gmail.com; ORCID: 0009-0002-6853-081X

С. В. Краснощекова

Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург, Россия);
krasnoshchekova_sv@iling.spb.ru; ORCID: 0000-0001-8830-5121

Аннотация. В статье излагаются результаты экспериментального исследования, которое выявляет различие между двумя видами недоинформативных высказываний (under-informative utterances) с кванторным словом *некоторый* в русском языке. Эксперимент представляет собой инференционное задание (inference task), которое было впервые использовано в экспериментальной прагматике в работе [Geurts, Pouscoulous 2009], см. также работу [Val Tiel et al. 2016]. В предлагаемой работе инференционное задание используется с некоторыми модификациями. Результаты эксперимента показали, что оба вида высказываний чаще имеют импликатурные интерпретации (inference-based interpretations), чем логические (logically based interpretations). Это согласуется с результатами экспериментов, посвященных скалярным импликатурам и проведенных на материале различных языков. При этом результаты эксперимента продемонстрировали, что различие между двумя видами высказываний двояко. С одной стороны, недоинформативные высказывания вида *Некоторые слоны имеют хоботы* порождают скалярные импликатуры (scalar inferences) вида ‘Не у всех слонов есть хоботы’ в меньшей степени, чем недоинформативные высказывания вида *Некоторые книги на полке*, которые порождают скалярные импликатуры вида ‘Не все книги на полке’. С другой стороны, высказывания первого вида обрабатываются дольше, чем высказыва-

ния второго вида. Причина кроется в том, что скалярные импликатуры из высказываний первого вида конфликтуют с экстралингвистическим знанием, которым обладают говорящий и слушающий. Слушающий может сделать умозаключение о том, что говорящий не верит, например, в то, что у некоторых (но не у всех) слонов есть хоботы, однако это умозаключение вступает в конфликт с экстралингвистическим знанием. Подобное рассуждение времязатратно, поэтому требуется больше времени на его обработку. Результаты эксперимента подтверждают контекстуальную теорию скалярных импликатур. Насколько нам известно, это исследование является первым экспериментом, которое тестирует скалярные импликатуры в русском языке.

Ключевые слова: недоинформативность, кванторные слова, количественные импликатуры, скалярные импликатуры, экспериментальная прагматика.

1. Introduction

1.1. Implicatures as pragmatic meanings

Let us start with some preliminary remarks on the notion of meaning. Formal pragmatics has its roots in formal (i.e. logical, truth-conditional) semantics dealing with propositions. Since formal semantics merely aims to answer the question of whether a given proposition is true or false in a given world/situation, it typically neglects the lexical semantics of words in a given sentence. Pragmatics is viewed as a "wastebasket" (cf. [Bar-Hillel 1971]) primarily dealing with the meanings left over after formal semantics operations. To illustrate, the Russian conjunction *no* 'but' is formally/logically a conjunction of two propositions with an additional meaning of contrast between them. The contrastive meaning of *no* is delegated to pragmatics since it goes beyond the truth-conditional semantics.

The quantifier *some* is logically compatible with the quantifier *all*. To illustrate, take the utterance *Mike ate some cookies*. The speaker of this utterance can also say: *Mike ate some cookies, if not all*. This continuation is quite natural, since the set of the worlds where the original utterance is true also includes the set of the worlds where its continuation is true. In this sense, *all* logically entails *some*, but not vice versa. The speaker cannot say something like *Mike ate all cookies, if not some*. This would sound unnatural, or infelicitous. The reason comes from the same observation: *all* logically entails *some*, but not vice versa.

Take another example: *If you pass some exams, we will go to the cinema*. The antecedent of this conditional is logically compatible with a situation where the hearer passed all exams, since in that case the speaker and the hearer will go to the cinema. However, the antecedent of the utterance *If you pass all exams, we will go to the cinema* is not logically compatible with the situation where the hearer passed some (but not all) exams, since in that case the speaker and the hearer won't go to the cinema.

If the speaker utters (1a), the hearer might infer that the speaker does not believe that all books are on the shelf. Assuming that the speaker is competent about whether all books or not all books are on the shelf, the hearer can conclude that the speaker believes that not all books are on the shelf, cf. (1b), see more in [Geurts 2010]. This line of reasoning is motivated by the idea that the quantifier *some* has two meanings: 'some and possibly all' and 'some but not all'.

(1a) Speaker's utterance: *Some books are on the shelf.*

(1b) Hearer's implicature: *'Not all books are on the shelf.'*

H. P. Grice pointed out that the "senses are not to be multiplied beyond necessity" [Grice 1989]. This citation is a modification of Occam's razor. This means that it is reasonable to have one meaning for the quantifier *some* 'some and possibly all', while the other meaning, i.e. 'some but not all', is pragmatically derived, e.g., via the Gricean principle of cooperation and maxims, see below.

According to [Horn 1989], the negation 'not all' can be defined as metalinguistic, or pragmatic, since it does not change the logical (true/false) value of a sentence. The logical negation of (1a) would be *No books are on the shelf*. Metalinguistic, or pragmatic, negation is also referred to as denial[1]. Even though metalinguistic negation is an essential component of implicature derivation, it may also be used in other contexts that are not implicature-based (e.g., *Some books are not on the shelf because all are*). When an implicature is construed on metalinguistic negation, it is referred to as strengthening, or exhaustification (e.g., 'some and possibly all' → 'some but not all').

[1] An anonymous reviewer made a general remark on the metalinguistic negation. It is used to refer to the denial of what is not appropriate to be uttered.

Linguistic expressions have a basic (lower-bound) meaning, with another (upper-bound) meaning derived from the basic one via the implicature mechanism, cf. [Grice 1975]. Implicature / inference is what the speaker means by producing a linguistic expression. According to [Grice 1975], the speaker's intended meaning may differ from the literal meaning of an expression. Implicatures are derived by virtue of the Cooperative Principle (make your contribution such as is required) and the Maxims of Conversation which are instantiations of the Cooperative Principle: the Maxim of Quality (be truthful), the Maxim of Quantity / Informativeness (be informative), the Maxim of Relation / Relevance (be relevant), the Maxim of Manner (be clear, brief, and orderly, avoid ambiguity), cf. [Grice 1975]. The mechanism of implicature derivation is complex and usually involves several maxims. The implicature (1b) of utterance (1a) is derived via the maxims of Quality, Quantity, and Relation. To derive the inference in (1b), the hearer should believe the speaker to be sincere and truthful (Maxim of Quality), and the content of utterance (1a) to be relevant (Maxim of Relation). One of the meanings of utterance (1a) is that expressed by (1b). The speaker might have said the alternative: *All books are on the shelf*. However, she did not do so, presumably because she did not believe the alternative to be true. Consequently, she believes that (1b) is true (Maxim of Quality). Maxim of Quantity plays a key role to be discussed in the following section.

1.2. Scalar implicatures

[Horn 1972] introduced scalar implicatures illustrated by (1a)–(1b) above. See also [Horn 2009] and [Matsumoto 1995]. Scalar implicatures involve scales (e.g., <*some*, *all*>, <*or*, *and*>). Producing an utterance with a less informative (or weaker) scalar item yields denial of a more informative (or stronger) scalar item, that is, an implicature. Informativity, or quantity of information, can be formulated in terms of sets of possible worlds (situations). A set of worlds for an utterance with a less informative scalar item is larger than a set of worlds for an utterance with a more informative item. To illustrate, the set of worlds where (1a) is true is larger than the set of worlds where its alternative *All books are on the shelf* is true. Suppose that the whole number of books (that is, all the books) in a given context

equals 10. Then ‘some books’ can be any number from 2 to 10 books (that is, *some* can mean ‘some and possibly all’). Therefore, the number of situations where *some* (from 2 to 10) books are on the shelf is larger than the number of situations where *all* books are on the shelf. Scalar implicatures are a variety of quantity implicatures derived primarily via the Maxim of Quantity. Apart from quantifiers, there are other scales like, e.g., *<warm, hot>*, see [Van Tiel et al. 2016].

The present study examines sentences with the Russian quantifier *nekotoryj* ‘some’ interpreted with an upper-bound meaning ‘nekotorye, no ne vse’ (‘some but not all’), and such sentences yield scalar inferences. As pointed out in [Paducheva 2018; Pekelis 2025], the quantifier *nekotoryj* in the plural form has the implicature-derived meaning ‘not all objects possess some property P’. In [Graschenkov 2009], the quantifiers *nekotorye, mnogie, vse* belong to one scale (the Horn scale).

Sentences with the quantifier *some* and their counterparts in other languages have been extensively studied in experimental pragmatics since the seminal paper [Noveck 2001] and based on the other well-known paper [Smith 1980]. This resulted in establishing several regular patterns. The following list covers some of them (see [Dolgorukov et al. 2021] for more). Firstly, unlike adults, children tend to interpret *some*-sentences with lower-bound interpretations (that is, ‘some and possibly all’), see [Noveck 2001; Huang, Snedeker 2009; Papafragou, Musolino 2003] among many others. Lower-bound interpretations are defined as logical and differ from upper-bound interpretations (that is, ‘some but not all’) being derived with the help of the implicature mechanism. This suggests that children are more logical than adults, and their capability to understand implicatures develops through years.

Secondly, [Breheny et al. 2006] demonstrates a significant effect of interaction between syntactic structure and information structure. In this experimental study of Greek, the critical items were either like (2a) or like (2b). The anaphoric phrase *the rest* in the second sentence was read faster in contexts with *some*-phrases in subject positions (presenting old information) than in contexts with *some*-phrases in object positions (presenting new information), even though the object positions of *some*-phrases were linearly closer to the anaphoric phrase compared to the subject positions.

(2a) *Some of the consultants had a meeting with the director. The rest did not manage to attend.*

(2b) *The director had a meeting with some of the consultants. The rest did not manage to attend.*

Thirdly, according to [Bonnefon et al. 2009], there is a significant effect of face/politeness. Sentences with positive face like (3a) yielded more scalar implicatures than sentences with negative face like (4a); cf. the implicatures in (3b) and (4b).

(3a) Speaker's utterance: *Some people loved your poem*.

(3b) Hearer's implicature: 'Some but not all people loved my poem'.

(4a) Speaker's utterance: *Some people hated your poem*.

(4b) Hearer's implicature: 'Some but not all people hated my poem'.

This suggests that the hearer seems to be pessimistic and uncertain about her performance even if, according to the speaker, the audience appreciates it. On the contrary, the hearer seems to be optimistic about her performance even if, according to the speaker, the audience is critical.

Fourthly, some of the cognitive effects (e.g., the cognitive overload and priming effect) influence the computation of scalar inferences; see [Bott, Chemla 2016; De Neys, Schaeken 2007; Rees, Bott 2018]. Let us consider the role of the priming effect. [Bott, Chemla 2016] distinguished weak vs. strong priming for sentences like (5).

(5) *Some of the symbols are diamonds*.

In their experiment, the strong priming visual context provided with the sentence "Some of the symbols are clubs" included two cards: one with all the clubs, the other with some of the clubs. The weak priming visual context provided with the sentence "Some of the symbols are stars" included two cards: one with all the stars, the other with different symbols (other than stars). After a priming (either weak or strong) visual context was presented to the participants of the experiment, a target visual context for sentence (5) was presented to them that included two cards: one with all the diamonds, and the other with the phrase *Better picture?* asking to choose a picture that would fit the sentence best. When shown the weak priming

visual context, the participants chose the card with all the diamonds, and the card with the phrase, when confronted with the strong priming visual context.

Fifthly, quantifiers more often yield upper-bound interpretations (e.g., 'some but not all') compared to other scalar items (e.g., adjectives); see [Van Tiel et al. 2016]. The factors behind the diversity of scalar items in different lexical classes include the lexical scales measured on the basis of association strength, grammatical class, word frequencies, semantic relatedness, and the distinctness of the scale-mates operationalized on the basis of semantic distance and boundedness.

1.3. Contextual vs. Default Theories of Scalar Implicatures

There are two theoretical views on how scalar implicatures are derived: contextual and default. The question is whether a scalar implicature is derived after a whole utterance is produced or after a given scalar item is produced.

The contextual theory provides theoretical and experimental evidence for the former view, whereas the default theory provides theoretical and experimental evidence for the latter view. The contextual theory also investigates the factors that facilitate or impede scalar implicature derivations, partially listed in *Section 1.2* above. Some processing factors to add to this list come from [Breheny et al. 2016] which found that contexts that facilitate the implicature derivation take longer to process than those that do not.

The default theory claims that scalar implicatures are computed in syntactically embedded contexts (cf. (6a)) and in contexts embedded under a quantifier (cf. (6b)) to similar rates as in non-embedded contexts (cf. (6c)).

(6a) *John thinks that the girl in the picture has some balloons*.

(6b) *All girls in the picture have some balloons*.

(6c) *The girl has some balloons*.

In other words, according to the default theory, implicature derivation is not dependent upon a given context. An implicature is computed automatically, by default, with the help of lexical substitution. A weaker scalar item is substituted with a stronger scalar item and is accompanied with metalinguistic / pragmatic negation. According to the default theory, not only 'Not

every girl in the picture has all the balloons', but also 'None of the girls in the picture have all the balloons' is a possible reading. The contextual theory defines the latter reading as impossible since implicatures cannot be generated in embedded contexts.

See more about the two theories in [Katsos 2008; Katsos, Cummins 2010].

2. Present Study

Returning to [Noveck 2001], a research question arises whether utterances with the quantifier *some* are heterogeneous with respect to, on the one hand, the (greater / lesser) computation of scalar inferences and, on the other hand, the (faster / longer) processing of this computation. The reason comes from the fact that utterances like (7a) are universal. Indeed, all elephants have trunks in the real world. Therefore, one of the interpretations of (7a) is logical, or literal: all elephants have trunks. A set of worlds where all elephants have trunks is a subset of worlds where some elephants have trunks. However, the utterance can be considered as infelicitous if the implicature is computed: some but not all elephants have trunks, and thus this interpretation of the sentence can be rejected. Utterances like (7b) are not universal. Therefore, (7b) can be interpreted either as some and possibly all books are on the shelf (logical interpretation) or as some but not all books are on the shelf (implicature-based interpretation).

(7a) *Some elephants have trunks*.

(7b) *Some books are on the shelf*.

Henceforth, we refer to utterances like (7a) as utterances of type 1 and to utterances like (7b), as utterances of type 2. We formulate the hypotheses of the present study in *Section 2.1*.

The present study was designed as an inference task; see [Geurts, Pouscoulous 2009] where this methodology was used for the first time in the field of experimental pragmatics. According to [Geurts, Pouscoulous 2009], the inference task boosts the rates of implicature computation, unlike the verification task. We assume that this is helpful for the purposes of the present study, since we see a clearer difference between the two types of under-informative utterances.

2.1. Hypotheses

Hypothesis 1 is that scalar inferences from type 1 utterances are computed to a lesser degree than scalar inferences from those of type 2. Hypothesis 2 is that computation of scalar inferences from type 1 utterances is more time-consuming than that of scalar inferences from utterances of type 2. The reasoning behind these two potential differences lies in the idea that computation of scalar inferences from utterance of type 1 might be in conflict with extralinguistic knowledge. When interpreting (7a), the hearer might wonder whether the speaker believes that not all elephants have trunks regardless of the fact that all elephants do have trunks in the real world. The hearer might infer that the speaker does not have this belief and, consequently, the hearer might not draw a scalar inference. The reasoning about this potential conflict is time-consuming. In contrast, for utterances of type 2 no conflict arises and, consequently, the hearer draws a scalar inference and, presumably, this takes shorter time than the computation of scalar inferences from utterances of type 1. To illustrate, upon hearing utterance (7b), the addressee might consider the alternative *All books are on the shelf* that does not conflict with the extralinguistic knowledge. The addressee might believe that the speaker means *Not all books are on the shelf*. The addressee draws the scalar inference. This line of thought adheres to the contextual theory of scalar inferences as opposed to the default theory (see [Geurts 2010] for more). According to the default theory, scalar inferences (and other types of implicatures) are computed automatically. The default theory predicts no difference among implicature types.

2.2. Methods and Procedure

In order to verify the hypotheses, we conducted an experimental study testing (for the first time) Russian utterances with the quantifier *nekotoryj* 'some'. The experiment was designed as an inference task, as shown in (8) below, with critical items construed in consistence with [Van Tiel et al. 2016].

(8) *Andrey govorit:*
"U nekotorykh derev'ev est' korni."
Sdelaete li vy otsjuda vyvod, čto u vsekh derev'ev est' korni?
Da / Net

‘Andrew says:
“Some trees have roots.”
Would you infer from this that all trees have roots?
Yes / No’

To answer the questions, the participants were to choose *yes* (the key “D”) or *no* (the key “K”). *Yes*-responses would suggest that the participants did not draw scalar inferences, whereas *no*-responses would suggest that the participants drew scalar inferences. Our goal was to measure, using DMDX on a computer, the participants’ reaction times needed to choose a response. The participants were presented with full contexts. According to the hypotheses formulated in *Section 2.1*, we expected that the reaction times would be longer for utterances of type 1 (e.g., *Some trees have roots*), as these do not seem to trigger computation of scalar inferences, and shorter for utterances of type 2 (e.g., *Some flowers are on the table*), which seem to involve such computation.

Two comments are needed here. Firstly, the questions the participants had to answer targeted logical, non-implicature-based information. Therefore, the questions did not contain negation (an alternative question might look like *Could you infer from this that not all trees have roots?*). Secondly, the questions did not refer to Andrew’s utterances (an alternative question might be like *Could you infer from this that, according to Andrew, all trees have roots?*). The goal was to target the participants’ extralinguistic knowledge independent of that involved in Andrew’s utterances. So, we could investigate the participants’ behavior in response to the robust questions presented. The idea was that this might boost logical, non-implicature-based responses and prompt more visible results.

Our sample included 20 *nekotoryj*-sentences that do not normally trigger scalar inferences and 20 *nekotoryj*-sentences that normally do. A half of the 40 filler sentences yielded true answers (e.g., *Palka sognuta. Sdelaete li vy otsjuda vyvod, čto palka neprjamaja? ‘The stick is bent. Would you infer from this that the stick is not straight?’*), while the other half triggered false answers (e.g., *Ručka sinjaja. Sdelaete li vy otsjuda vyvod, čto ručka ne korotkaja? ‘The pen is blue. Would you infer from this that the pen is not short?’*). All the 40 critical items were distributed among 2 experimental lists (20 critical items per list) and counterbalanced with the 40 fillers

(20 fillers per list). 15 participants were allocated to each list, that is, 30 people took part in the experiment (19 females, the age range of all participants was 17–60 y.o., with 63 % in the age range of 17 to 20 y.o.). The stimuli and fillers were randomly presented to each participant, with no answers excluded from statistical analysis.

2.3. Results

The statistical analysis was performed via the programming language R (see [R Core Team 2013]). Two tests were applied: the Wilcoxon signed-rank test and the chi-square distribution. The results demonstrated that $\chi^2 = 83.091$ ($df = 1$, $N = 600$), $p < 0.0001$, see *Table 1*. This suggests that the proportion of *yes*-responses for critical items of type 1 was greater than that of *yes*-responses for critical items of type 2. Consequently, the proportion of *no*-responses for critical items of type 2 was greater than that of *no*-responses for critical items of type 1. This confirms our Hypothesis 1.

Table 1. Distribution of responses between the two types of critical items

	***Yes*-responses**	***No*-responses**
Critical items of type 1	100	200
Critical items of type 2	12	288

The average reaction times to *no*-responses for critical items of type 1 only was 7367,48 ms with a standard deviation of 6413,94 (with a sample size of 200), whereas the average reaction times to *no*-responses for critical items of type 2 only was 5674,83ms with a standard deviation of 4121,09 (with a sample size of 288). The Wilcoxon singed-rank test showed significantly faster reaction times to critical items of type 2 compared to those of type 1: $W = 33759$, $p = 0.00121$. This confirms our Hypothesis 2.

2.4. Discussion

Confirming both hypotheses, the results of the experiment showed that utterances with the quantifier *nekotoryj* ‘some’ reveal diversity between

sentences of type 1 and of type 2. The main reason for the diversity is a conflict with extralinguistic knowledge found in utterances of type 1. The implicatures may have been impeded by this conflict, even though derived from utterances of type 1 with a quantifier that, according to [Van Tiel et al. 2016], typically produces high rates of implicature derivation in comparison to other scales (adjectives, nouns, verbs). Moreover, the conflict with extralinguistic knowledge is time-consuming and, as expected, is processed longer than implicature derivation, which takes some time as well; see [Breheny et al. 2016] and *Section 1.3* above for more. This adds a conflict with extralinguistic knowledge as yet another factor to influence implicature derivation.

Thus, the diversity of utterances with the quantifier *some* demonstrated in the present study confirms the contextual theory. Our critical items were not computed automatically. They showed diversity with respect to both the rates and processing times of implicature derivation.

3. Conclusion

The experiment showed that both types of utterances more often have inference-based rather than logically based interpretations. This is in line with the mainstream experimental research on scalar inferences in various languages. The inferences for utterances of type 1 are computed to a lesser extent and take longer to process than those for utterances of type 2. This provides evidence for extralinguistic knowledge being a factor determining scalar inference derivation. From the theoretical viewpoint, the results support the contextual theory of scalar inferences and argue against the default theory of scalar inferences.

Appendix

Critical items of type 1:

U nekotorykh slonov est' khoboty.
'Some elephants have trunks.'
U nekotorykh derev'ev est' korni.
'Some trees have roots.'

U nekotorykh knig est' stranitsy.
'Some books have pages.'
U nekotorykh okon est' stjokla.
'Some windows have glass.'
U nekotorykh ptits est' kljuvy.
'Some birds have beaks.'
U nekotorykh košek est' uški.
'Some cats have ears.'
U nekotorykh televizorov est' ekrany.
'Some TVs have screens.'
U nekotorykh mašin est' dvigateli.
'Some cars have motors.'
U nekotorykh tsvetkov est' lepestki.
'Some flowers have petals.'
U nekotorykh ljudej est' skelety.
'Some people have skeletons.'
U nekotorykh kholodil'nikov est' dvertsy.
'Some fridges have doors.'
U nekotorykh stran est' flagi.
'Some countries have flags.'
U nekotorykh karandašej est' grifeli.
'Some pencils have leads.'
U nekotorykh domov est' etaži.
'Some houses have floors.'
U nekotorykh sumok est' ručki.
'Some bags have handles.'
U nekotorykh samoljotov est' kryl'ja.
'Some planes have wings.'
U nekotorykh nožej est lezvija.
'Some knives have blades.'
U nekotorykh kurtok est' rukava.
'Some jackets have sleeves.'
U nekotorykh rastenij est' stebli.
'Some plants have stems.'
U nekotorykh stul'jev est' nožki.
'Some chairs have legs.'

Critical items of type 2:

U nekotorykh kotov est' pjatna.
'Some cats have spots.'
U nekotorykh kružek est' risunok.
'Some cups have a picture.'
U nekotorykh brjuk est' karmany.
'Some trousers gave pockets.'
U nekotorykh kruassanov est' načinka.
'Some croissants have a filling.'
U nekotorykh botinok est' šnurki.
'Some shoes have laces.'
U nekotorykh tarelok est' skoly.
'Some plates have splinters.'
U nekotorykh batončikov žoltaja upakovka.
'Some sweets have a yellow wrapper.'
U nekotorykh butylok est' kryški.
'Some bottles have caps.'
U nekotorykh posetitelej est' para.
'Some visitors have a spouse.'
U nekotorykh veščej est' brak.
'Some things have a defect.'
U nekotorykh tsvetov est' gorški.
'Some flowers have pots.'
U nekotorykh divanov est' poručni.
'Some sofas have handles.'
U nekotorykh stakančikov est' trubočki.
'Some glasses have straws.'
U nekotorykh tetradej est' obložki.
'Some copybooks have covers.'
U nekotorykh telefonov est' knopki.
'Some phones have buttons.'
U nekotorykh mašin est vmjatiny.
'Some cars have dents.'
U nekotorykh knig est' kartinki.
'Some books have pictures.'

U nekotorykh škol est' dvor.
'Some schools have yards.'
U nekotorykh noutbukov est' diskovod.
'Some laptops have a drive.'
U nekotorykh kukol est' plat'ja.
'Some dolls have dresses.'

References

Bar-Hillel 1971 — Y. Bar-Hillel. Out of the pragmatic wastebasket. *Linguistic Inquiry*. 1971. Vol. 2 (3). P. 401–407.

Bonnefon et al. 2009 — J.-F. Bonnefon, A. Feeney, G. Villejoubert. When some is actually all: scalar inferences in face-threatening contexts. *Cognition.* 2009. Vol. 112 (2). P. 249–258.

Bott, Chemla 2016 — L. Bott, E. Chemla. Shared and distinct mechanisms in deriving linguistic enrichment. *Journal of Memory and Language*. 2016. Vol. 91. P. 117–140.

Breheny et al. 2006 — R. Breheny, N. Katsos, J. Williams. Are generalised scalar implicatures generated by default? An on-line investigation into the role of context in generating pragmatic inferences. *Cognition.* 2006. Vol. 100. P. 434–463.

De Neys, Schaeken 2007 — W. De Neys, W. Schaeken. When people are more logical under cognitive load: dual task impact on scalar implicature. *Experimental psychology*. 2007. Vol. 54. P. 128–133.

Dolgorukov et al. — V. Dolgorukov, N. Zevakhina, D. Popova. *Vvedenie v lingvisticheskuyu pragmatiku* [Introduction to lingusitic pragmatics]. Moscow: Editorial URSS, 2021.

Geurts 2010 — B. Geurts. *Quantity implicatures*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Geurts, Pouscoulous 2009 — B. Geurts, N. Pouscoulous. Embedded implicatures?!? *Semantics and Pragmatics*. 2009. Vol. 2. No. 4. P. 1–34.

Graschenkov 2009 — P. Graschenkov. Dreyf kvantora kak svidetelstvo suschestvovaniya partitivnoy proektsii v imennoy gruppe [Quantifier drifting as evidence for the partivive projection in noun phrases]. K. L. Kiseleva, V. A. Plungian, E. V. Rakhilina, S. G. Tatevosov (eds.). *Korpusnye issledovaniya po russkoy grammatike* [Corpus studies in Russian grammar]. Moscow: Probel, 2009. P. 297–425.

Grice 1975 — H. P. Grice. Logic and conversation. P. Cole, J. Morgan (eds.). *Syntax and semantics*. Vol. 3. Speech Acts. NY: Academic Press, 1975. P. 43–58.

Grice 1989 — H. P. Grice. *Studies in the way of words*. Cambridge MA: Harvard University Press, 1989.

Horn 1972 — L. R. Horn. *On the semantic properties of logical operators in English*. PhD thesis. Los Angeles: UCLA, 1972.

Horn 1989 — L. R. Horn. *A natural history of negation*. Chicago: Chicago Press, 1989.

Horn 2009 — L. R. Horn. WJ-40: implicature, truth, and meaning. *International Review of Pragmatics*. 2009. Vol. 1. P. 3–34.

Huang, Snedeker 2009 — Y. Huang, J. Snedeker. Semantic meaning and pragmatic interpretation in five-year olds: Evidence from real time spoken language comprehension. *Developmental Psychology*. 2009. Vol. 45. No. 6. P. 1723–1739.

Katsos 2008 — N. Katsos. The semantics / pragmatics interface from an experimental perspective: the case of scalar implicature. *Synthese*. 2008. Vol. 165. No. 3. P. 385–401.

Katsos, Cummins 2010 — N. Katsos, C. Cummins. Pragmatics: from theory to experiment and back again. *Language and Linguistics Compass*. 2010. Vol. 4. No. 5. P. 282–295.

Matsumoto 1995 — Y. Matsumoto. The conversational condition on Horn scales. *Linguistics and Philosophy*. 1995. Vol. 18. P. 21–60.

Noveck 2001 — I. Noveck. When children are more logical than adults: experimental investigations of scalar implicature. *Cognition*. 2001. Vol. 78. P. 165–188.

Paducheva 2018 — E. V. Paducheva. Mestoimenie [Pronoun]. *Materials of the project of corpus description of Russian grammar* (http://rusgram.ru). 2018. Available at: http://rusgram.ru/new/chapter/pos/pronoun/ (accessed on 01.10.2025).

Papafragou, Musolino 2003 — A. Papafragou, J. Musolino. Scalar implicatures: experiments at the syntax-semantics interface. *Cognition*. 2003. Vol. 86. P. 253–282.

Pekelis 2025 — O. Pekelis. The Russian pronoun nekotoryy in light of typological expectations. *Studi Slavistici*. 2025. Vol. 1. P. 20–40.

R Core Team 2013 — R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. 2013. Available at: http://www.R-project.org/ (accessed on 01.10.2025).

Rees, Bott 2018 — A. Rees, L. Bott. The role of alternative salience in the derivation of scalar implicatures. *Cognition*. 2018. Vol. 176. P. 1–14.

Smith 1980 — C. L. Smith. Quantifiers and question answering in young children. *Journal of Experimental Child Psychology*. 1980. Vol. 30. P. 191–205.

Van Tiel et al. 2016 — B. Van Tiel, E. Van Miltenburg, N. Zevakhina, B. Geurts. Scalar diversity. *Journal of Semantics.* 2016. Vol. 33. No. 1. P. 107–135.

Получено / received 10.03.2025 *Принято / accepted 30.04.2025*

Этика научных публикаций

Журнал «Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований» (далее — ALP) — научное периодическое издание, не имеющее политической, идеологической, религиозной или иной направленности; деятельность журнала связана исключительно с академической наукой. Все участники редакционного и издательского процесса (авторы, рецензенты, редакторы и члены редколлегии) обязаны учитывать это и следовать указанным ниже этическим стандартам, основанным на рекомендациях Комитета по этике научных публикаций (COPE). Каждый участник издательского процесса должен принять все разумные меры для предотвращения недобросовестной практики в публикационной деятельности (плагиата, изложения недостоверных сведений и неправомерного использования научных результатов в интересах тех лиц, которые не участвовали в их получении).

Авторское право и открытый доступ

В соответствии с Будапештской инициативой по открытому доступу к научным публикациям (Budapest Open Access Initiative, BOAI) журнал ALP обеспечивает свободный доступ к опубликованным материалам, руководствуясь принципом поддержки глобального обмена знаниями. Какие-либо сборы за публикацию в журнале ALP с авторов не взимаются.

Обязанности авторов

Автор гарантирует, что рукопись, подаваемая для публикации в журнале ALP, является оригинальным текстом, и подтверждает свои исключительные авторские права на эту публикацию. В случае совместной работы материалы для публикации может подать один из авторов, указав всех соавторов и предоставив необходимую и достоверную информацию о них.

Автору следует указать организации и учреждения, предоставившие финансовую поддержку или оказавшие содействие в создании рукописи, при наличии таковых. При необходимости первый автор должен быть готов уточнить сведения о вкладе каждого из соавторов в содержание статьи.

Автор обязан в полном объеме указать все источники информации, используемые в работе, включая источники (опубликованные и неопубликованные) и исследовательскую литературу (в том числе собственные ранее опубликованные работы). Автор обязан соответствующим образом оформить ссылки на использованные в работе труды или утверждения других авторов. **Любая форма плагиата неприемлема**. Автоплагиат, т. е. попытка повторной публикации собственной ранее опубликованной работы без существенных изменений, также неприемлем. Подача рукописи работы одновременно более чем в один журнал для публикации недопустима. Научный архив автора, на котором основано исследование и работа, должен быть при необходимости доступен к рассмотрению на период не менее двух лет.

В случае нарушения любого из перечисленных выше правил редколлегия может отказать в публикации рукописи в любое время, в том числе на этапе предварительного рассмотрения, без привлечения рецензентов, а также отказать автору в публикации его работ в течение трех последующих лет. Если после публикации статьи обнаружено нарушение автором вышеуказанных правил, редколлегия имеет право произвести ретракцию статьи, поместив указание на это на сайте журнала.

Внесение автором любых изменений в текст, прошедший этап рецензирования и принятый к публикации, допустимо только с согласия редколлегии.

Автор обязуется не размещать в открытом доступе любые принятые к публикации, но еще не опубликованные материалы. В случае нарушения этого правила редколлегия вправе снять рукопись с публикации, а также отказать автору в публикации его работ в течение трех последующих лет.

Ответственность за достоверность информации и соблюдение профессиональной этики

Представляя рукописи для публикации в журнале ALP, автор несет ответственность за тщательную проверку информации, содержащейся в работе, во избежание неточных ссылок или отсутствия необходимых ссылок на источники. Если в процессе редактирования материалов, принятых к публикации, автор обнаруживает ошибки или неточности, он должен незамедлительно уведомить редколлегию и доработать статью или, при наличии существенных ошибок, требующих полной переработки текста, отозвать рукопись.

В журнале ALP не допускается клевета. Автор должен избегать личных нападок, пренебрежительных замечаний и обвинений в адрес других ученых.

Если после публикации обнаружено нарушение вышеуказанных правил, редколлегия имеет право опубликовать опровержение в следующем выпуске, а также отказать автору в публикации его работ в течение трех последующих лет.

Процесс рецензирования

Представленные рукописи оцениваются по принципу двойного анонимного рецензирования; это означает, что все материалы направляются рецензентам в анонимной форме (файлы и метаданные не содержат информации об авторах).

Члены редколлегии или другие участники процесса публикации не имеют права сообщать рецензентам имен авторов до принятия рукописей к публикации.

Если рецензент узнает автора рассматриваемой статьи и обнаруживает конфликт интересов, он должен сообщить об этом редколлегии и отказаться от рецензирования.

Имя рецензента может быть раскрыто автору редколлегией только по просьбе самого рецензента и только после принятия окончательного решения относительно публикации представленной рукописи.

Рецензия должна быть объективной и беспристрастной, личная критика в адрес автора не допускается. Все комментарии и рекомендации по улучшению работы должны быть высказаны в корректной форме, а замечания аргументированы. Рецензенты могут рекомендовать автору проработать дополнительную литературу, касающуюся темы представленной рукописи и отсутствующую в списке использованной литературы. Рецензент обязан обратить внимание редколлегии на любые признаки плагиата. Рецензирование работы должно быть завершено в установленный журналом срок.

Организация работы редколлегии

Редколлегия журнала ALP является высшим руководящим и контролирующим органом журнала. Окончательное решение о принятии к печати или отклонении рукописи принимается редколлегией коллективно после процедуры двойного анонимного рецензирования. Рукописи членов редколлегии, представленные для публикации в журнале ALP, рассматриваются на общих основаниях.

Все конфликты, возникающие между участниками редакционного и издательского процесса, должны решаться при непосредственном вмешательстве редколлегии.

Обязанности членов редколлегии

Редколлегия журнала обеспечивает:

— предварительное рассмотрение рукописей авторов;
— выбор рецензентов для экспертизы в соответствии с их научными интересами;

— соблюдение конфиденциальности в процессе двойного анонимного рецензирования.

Главный редактор координирует работу редколлегии и принимает решения по ключевым вопросам, а также дает разрешение на печать выпуска и его публикацию в сети Интернет. Входя в состав редколлегии, главный редактор гарантирует строгое соблюдение всех этических стандартов, изложенных в настоящем документе.

Члены редколлегии должны соблюдать беспристрастность и объективность по отношению ко всем участникам редакционного и издательского процесса вне зависимости от расы, пола, сексуальной ориентации, религиозных убеждений, этнической принадлежности, гражданства или политических предпочтений. Материалы, представленные для публикации в журнале ALP, рассматриваются исключительно с точки зрения их научной ценности с соблюдением принципа двойного анонимного рецензирования.

Конфликт интересов рецензентов и авторов представляемых рукописей недопустим.

Все нарушения изложенных выше принципов должны тщательно расследоваться на заседании редколлегии, которая при необходимости обязана публиковать исправления, разъяснения и извинения, если были допущены нарушения этических или научных норм.

Язык публикаций

Журнал ALP принимает рукописи статей на русском, английском, французском и немецком языках. Если язык статьи не является для автора родным, рекомендуется, во избежание возможных недоразумений, проконсультироваться с компетентным носителем соответствующего языка.

Все метаданные статей представлены на веб-сайте журнала на русском и английском языках.

Publication Ethics

The "Acta Linguistica Petropolitana" Journal (ALP) is an academic periodical with no political, ideological, confessional, or other agendas, dedicated solely to academic activities. All the editorial / publishing process participants (authors, reviewers, editors, or Editorial Board members) are expected to follow the ethical standards below based on recommendations by the Committee on Publication Ethics (COPE). Each participant is expected to make all reasonable efforts to avoid malpractice in his/her publishing activities including plagiarism, misrepresentation, or misuse of research findings to the benefit of those not involved in the research.

Copyright and Open Access

In consistence with the Budapest Open Access Initiative (BOAI) and the principle of free global knowledge exchange, ALP ensures open access to its publications. ALP contributors are exempt of any dues.

Contributor's responsibilities

Contributors guarantee that their contributions are original manuscripts under their exclusive copyright. For co-authored contributions, only one of the authors may submit the manuscript listing all the coauthors and providing their relevant accurate personal information.

The contributor is expected to indicate all agencies/entities, if any, which have provided financial or other support for the manuscript. Where necessary, the first contributor should be able to specify each co-author's contribution into the manuscript.

The contributor should provide a full list of all information sources (both published and unpublished) and the literature (including his / her previously published works) used in the manuscript. The contributor should provide appropriate reference to other works or quotations used in the manuscript. Any form of plagiarism is unacceptable. Equally unacceptable is self-plagiarism, i.e. attempts at republishing own previously published work without substantial modification. Concurrent submission of the same work to ALP and any other publication is unacceptable. The contributor's research records for the submitted work should remain accessible upon request for at least two years.

A violation of any of the above may lead the Editorial Board to reject the contribution at any time, including before review, as well as to reject all future submissions by the present author in the next three years to follow. If any violation of the rules above comes to light following the article's publication, the Editorial Board may retract the article, placing the relevant notice on the Journal's website.

Any changes by the contributor to his / her already peer-reviewed and accepted for publication text are only possible on the Editorial Board's consent.

The contributor agrees not to make publicly available any accepted but not published materials. A violation of this requirement may serve as a ground for the Editorial Board to reject both the contribution and all other contributions by the same author in the next three years to follow.

Responsibility for unreliable information or non-compliance with professional ethics

Authors submitting their manuscripts to ALP are responsible for detailed verification of all the information contained therein to avoid inaccuracy or omission of references to sources. On detection of mistakes / inaccuracies when editing the manuscript accepted for publication, the author must immediately notify the Editorial Board and either update the text or withdraw the contribution where substantial errors require its complete revision.

Defamation is unacceptable in ALP. The contributor is expected to avoid personal criticism, disrespectful remarks, or accusations against other scholars.

If any of above violations come to light after the publication, the Editorial Board may publish a disclaimer in its subsequent issue and reject any of the author's contributions in the next three years to follow.

Review Procedure

All submitted manuscripts are evaluated based on a double-blind peer review where neither the author, nor the reviewer knows the other's name. The files, including metadata, sent to reviewers contain no information about the author(s).

Neither Editorial Board members nor other publication participants are allowed to disclose the authors' names to reviewers before the submission is accepted.

The reviewer recognizing the author of the paper under review and identifying a conflict of interest is obliged to inform the Editorial Board of the case and forego the reviewing.

The Editorial Board may only disclose the reviewer's name to the contributor at the reviewer's own request and only following the final decision as to (non)acceptance of the submitted manuscript.

The review should be impersonal, impartial, and avoid personal criticism of the contributor. All comments or suggestions for improving the manuscript should be polite, and comments well-reasoned. Reviewers may recommend the author to study additional literature pertaining to the contribution's topic but lacking from the "Literature" list. The reviewer is expected to point out any evidence of plagiarism to the Editorial Board. The review should be completed within the time frame established by the Journal.

Editorial Board

The ALP Editorial Board is the top supervisory and control body of the Journal. The Editorial Board is responsible for the final collective decision to accept or reject manuscripts following their double-blind peer review. Manuscripts by Editorial Board members, submitted for publication in ALP, are reviewed under the common procedure.

All conflicts among the editing and publishing participants are resolved through direct intervention of the Editorial Board.

Duties of Editorial Board Members

The Editorial Board provides for:

— preliminary consideration of contributions;
— selection of reviewers based on their areas of expertise;
— provision of confidentiality for the double-blind review procedure;

The Editor-in-Chief coordinates all Editorial Board activities and makes key decisions, including on the publication of ALP issues in paper and online formats. As an Editorial Board member, the Editor-in-Chief guarantees strict compliance with all ethical standards outlined in this statement.

All editors guarantee impartial and impersonal treatment of all participants in the editorial/publishing process regardless of race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnicity, nationality, or political opinion. All materials submitted for publication in ALP are considered solely based on their scholarly merit via the double-blind peer review procedure.

Any conflict of interest between reviewers and contributors is unacceptable.

The Editorial Board will thoroughly examine any violation of the principles above and, where necessary, publish corrections, clarifications, or apologies for any breach of ethical or academic norms.

Publication Languages

The ALP Journal accepts manuscripts in Russian, English, French, or German. Where a paper is not in the contributors' native language, they are advised to consult a qualified native speaker to avoid any possible misapprehensions.

The Journal presents all published papers' metadata on its website in Russian and English.

Научное издание

Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований. 2025. — Т. 21. Ч. 2. — 296 с.

Подписано к печати 30.09.2025
Формат 60×90 1/16
Усл. печ. л. 18,5. Тираж 500 экз.
Институт лингвистических исследований РАН
199053, Санкт-Петербург, Тучков переулок, 9
info@iling.spb.ru https://iling.spb.ru

Печатается с оригинал-макета, изготовленного в ИЛИ РАН
Оригинал-макет подготовил *О. В. Шакиров*

Корректор — *Е. В. Артемьева*

Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии «Поликона»
190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 13
9450922@gmail.com

Материалы выпуска доступны в электронном виде по ссылке:
https://alp.iling.spb.ru/ru/issues.html

Распространяется бесплатно

Дата выхода в свет: 30.11.2025 г.